

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
Под общей редакцией академика В. П. ВОЛГИНА

ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ СЕН-СИМОНА

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР. МСМЛХІ

DOCTRINE DE SAINT-SIMON EXPOSITION PREMIERE ANNEE 1828—1829

Настоящее издание русского перевода
«Изложения учения Сен-Симона» вновь
просмотрено и исправлено Э. А. Желубовской
Предыдущий перевод был сделан И.А.Шапиро

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНРИ ДЕ СЕН-СИМОНА
1760—1960

Веб-публикация: библиотека [Vive Liberta](#) и [Век
Просвещения](#), 2010

В. П. Волгин. Социальное учение раннего сенсимонизма
ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ СЕН-СИМОНА

Введение

Лекции

Лекция 1. **О необходимости нового социального учения**

Лекция 2. **Закон развития человечества. Проверка этого
закона на фактах истории**

Лекция 3. **Концепция. Метод. Историческая классификация**

Лекция 4. **Антагонизм. Всемирная ассоциация. Убывание
первого, последовательные успехи второй**

Лекция 5. **Отступление, касающееся общего развития
человеческого рода**

Лекция 6. **Последовательное преобразование эксплуатации
человека человеком и права собственности**

Лекция 7. **Структура собственности. Организация банков**

Лекция 8. **Современные теории собственности**

Лекция 9. **Общее, или нравственное, воспитание.**

Специальное, или профессиональное, образование

Лекция 10. **Общее, или нравственное, воспитание
(продолжение)**

Лекция 11. **Специальное, или профессиональное,
образование**

Лекция 12. **Законодательство**

Лекция 13. **Введение в вопрос о религии**

Лекция 14. **Возражения, вытекающие из притязания
позитивных наук на иррелигиозность**

Лекция 15. **Отступление, касающееся сочинения ученика
Сен-Симона, Огюста Конта, под названием «Третья
тетрадь катехизиса промышленников»**

Лекция 16. **Письмо о трудностях, ныне препятствующих
принятию нового религиозного верования**

Лекция 17. **Религиозное развитие человечества. Фетишизм,
политеизм, еврейский и христианский монотеизм**

КОММЕНТАРИИ

Базар, Анфантен, О.Родриг. Биографические справки (три
очерка)

Издания и переводы «Изложения»

Примечания

Литература о сен-симонизме

Указатель имен

Ссылки на тематические материалы:

[В.Волгин. Сборник работ «Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в.»](#)

[В.Волгин. Французский утопический коммунизм XVIII-XIX вв.](#)

[В.Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в.](#)

[В.Волгин. Социальные и политические идеи во Франции перед революцией](#)

[В.Волгин. Сен-Симон и сен-симонизм](#)

[В.Волгин. Революционный коммунист 18 в. Жан Мелье и его "Завещание"](#)

[А.Иоаннисян. Коммунистические идеи в годы Великой французской революции](#)

[В.Волгин. Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX в.](#)

[В.Волгин. Этьен Кабе](#)

[Е.Кожокин. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до 1848](#)

[ВВЕДЕНИЕ](#)

[I. РАБОЧИЕ ФРАНЦИИ в ЭПОХУ КОРПОРАЦИЙ и МАНУФАКТУР](#)

[II. УЧАСТИЕ РАБОЧИХ в ВЕЛИКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ](#)

[III. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ПРОЛЕТАРИАТ в ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.](#)

[IV. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ в 30-40-е года XIX в.](#)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)

[БИБЛИОГРАФИЯ](#)

ВВЕДЕНИЕ

Когда в 1825 г. был основан «Le Producteur»¹, Сен-Симона не было уже в живых. Восхищенные возвышенным учением, — из-за которого на нашего учителя обрушилось столько неприятностей, презрения и оскорблений,— мы посвятили себя распространению его. Уже тогда мы сознавали всю важность этой великой миссии, мы предвидели препятствия, которые нам придется преодолеть. Уверенные в том, что на нас будут смотреть сначала как на мечтателей, что наиболее просвещенные умы бросят на нас с высоты своего величия несколько сострадательных и, быть может, гневных взглядов, мы решились пойти против мнения людей, которые, видя современное общество разделенным на два лагеря, не поймут наших намерений и будут относиться к нам, как к перебежчикам. Мы знали, что так как мы отказываемся носить звание либералов и ультра², то наши политические воззрения покажутся сначала непонятными. А между тем нашим желанием было — освободить чувства, науки, промышленность от

уз, препятствующих их прогрессу. Но наряду с этим мы должны были показать, что необходимы новые узы, дабы в порядке сочетать усилия, дабы направлять всю общественную деятельность к одной цели. Вот тут-то и должны были растеряться люди, которым слово *освобождение* напоминает только бунт, как и те, которых приводят в дрожь разговоры об общественном управлении: представители отсталых воззрений должны были обзвать нас радикалами, революционерами, тогда как от людей, защищающих взгляды, именуемые новыми, но для нас отошедшие уже в область прошлого, мы могли ожидать, что они обзовут нас египтянами, ультрамонтанами, иезуитами!

Трудности, которые нам предстояло побороть, могли бы нам показаться непреодолимыми, если бы мы не располагали опытом прошлого, если бы нам не было известно, что свет, озаряющий великое столетие, т. е. столетие, в котором появляется новое светило, всегда расстраивает зрение людей, издавна привыкших к мраку. У христианства добросовестных гонителей было еще больше, чем мучеников: христианам предстояло освободить раба, уничтожить прямую эксплуатацию человека человеком; вот почему современные им ультра обходились с ними как с революционерами *. Христианская община подготавливала общече-

ловеческую ассоциацию; она нашла своих либералов в раздиравших ее схизмах⁴. Мы, считающие, что эксплуатация человека человеком, хотя и не прямая, все еще существует; мы, утверждающие, что папское единство породило протестантскую оппозицию только потому, что католицизм не охватывал всех форм человеческой деятельности и к тому же не был создан непосредственно в целях прогресса,— как могли мы не ожидать подобных же препятствий?

Наше положение казалось тем более трудным, что Сен-Симон оставил очень небольшое число учеников и что его доктрину изучили лишь весьма немногие лица⁵. Поэтому наш первый труд должен был иметь своей главной целью — указать наиболее выдающиеся особенности этой новой философии тем мыслителям, которые, примкнув когда-нибудь к нам, сумеют образовать школу. Мы решили тогда предпринять издание периодического сборника под названием «*Le Producteur*», в котором кратко излагались бы в научной форме основные положения доктрины. Избрав такой путь, мы тем более подвергали себя риску не быть понятыми людьми, которые будут нас читать, как читают какой-нибудь учебник Сорбонны или газету; это значило также чрезвычайно затруднить не только редактирование нашего журнала, но и его финансовое устройство.

Что касается финансовой стороны, то мы не скрывали от себя невозможности того, чтобы

* *Judaeos assidue rebellantes, incitante Christo, ab urbe expulit (Suetonius)*³.

наши личные усилия были вознаграждены значительной подпиской; мы знали, что в течение нескольких лет, по меньшей мере, доход от нее не покроет даже расходов по печатанию. Мы обратились к нескольким банкирам, которые прежде под влиянием постоянных ходатайств Сен-Симона поддерживали его первые труды, а также к другим лицам, считавшим себя обязанными в качестве наших друзей содействовать успеху идей, в отношении которых мы выказывали столько любви и преданности.

Было основано командитное товарищество на паях. Чтобы приурочить «Le Producteur» к привычкам публики, мы сочли необходимым принять форму еженедельного издания и посвящать часть журнала статьям по технологии и промышленной статистике. Вскоре, однако, мы убедились в неудобствах этого плана: с одной стороны, принятый нами формат благоприятствовал склонности публики заниматься играючи самыми серьезными материями; с другой, статьи по технологии, часто составлявшиеся лицами, почти совершенно чуждыми нашему учению, могли ввести в заблуждение серьезные умы, не возбуждая в то же время живого интереса у поверхностных читателей, ради развлечения которых мы к тому же не видели необходимости приносить ни малейшей жертвы.

Мы были почти принуждены начать таким образом, ибо необходимо было прежде всего собрать вокруг себя достаточно большое

число сотрудников, чтобы заручиться шансом найти среди них помощников, которые дали бы нам впоследствии возможность предпринять более точное изложение доктрины нашего учителя. Это соображение побудило нас также оплачивать сотрудничество в журнале, ибо нам было неизвестно, что прежде всего надо понять идеи и в особенности любить их, для того чтобы безвозмездно отдавать им свое время. Но скоро мы почувствовали себя достаточно сильными, чтобы не прибегать больше к этому средству и усердным трудом шести лиц поддерживать издание журнала⁶. А между тем задача эта была весьма трудная: никто из нас не пользовался великолепной привилегией — иметь возможность жить, не работая; всех нас, напротив, отрывали от наших философских умозрений совершенно чуждые им занятия. «Le Producteur» стал тогда появляться ежемесячно тетрадами в 12 печатных листов и всецело посвящался более подробному и более методическому изложению некоторых важных пунктов философии Сен-Симона. Крупные явления, какие представляет промышленное и научное развитие человечества, были использованы нами в особенности для того, чтобы продемонстрировать общие воззрения школы на будущее, которое эти явления возвещают и с необходимостью предопределяют.

Наши усилия вскоре увенчались тем успехом, который мы предвидели: многие удо-

стоили нас как мечтателей снисходительным отношением; другие оказали нам честь, отнеся к разряду тех безусых юнцов, которые хотят командовать миром. Все остальные воззрения, какими бы наименованиями они себя ни украшали, казались встревоженными; в особенности сочли нас заслуживающими их ударов последователи XVIII столетия. Но в этом своеобразном сражении происходило замечательное явление: наши лозунги мало-помалу переходили в лагерь наших противников.

Один философ XVIII столетия, д'Аламбер, заметил уже как-то, что новаторов вначале клеймят именем мечтатели, а кончают обвинением их в плагиате; он мог бы добавить, что после того как эти предосторожности приняты, их идеями завладевают, все еще продолжая нападать на источник этих идей. Все это случилось с нами, но мы радовались, так как видели в этом естественный ход распространения того учения, проводниками которого мы являлись.

Мы добились важнейшего результата, на какой могли рассчитывать: образовалась школа Сен-Симона; нас обозначали этим именем даже лица, нападавшие на наши идеи, и мы очень ценили это обозначение, именно в виду аномалии, которую оно теперь выражает. Наши философские нравы как и наши политические страсти приучили нас за последние несколько столетий видеть в учителе тирана, деспота и устанавливать в области науки систему инди-

видуального суверенитета, которая подразумевает борьбу между всеми умами; каждый претендует находить в самом себе учителя и ученика при помощи двойного откровения и взаимодействия совести и разума, мистических божеств современной онтологии. Наши молодые философы отыскивали даже слово, отлично изображающее эту интеллектуальную анархию: спросите их, к какой школе они принадлежат, и они ответят вам: мы принадлежим к эклектической школе. Это равносильно тому, как если бы они заявили: мы не принадлежим ни к какой школе; и они совершенно правы, ибо ни одна из старых философских систем, разрабатываемых ими, не соответствует нынешнему состоянию цивилизации. Человек основывает школу и дает ей свое имя только тогда, когда создает новую систему, обобщающую все подвергшиеся наблюдению факты и дающую, таким образом, направление новым наблюдениям. Это замечание, применимое к научным специальностям, как и к философии, и позволяющее нам говорить о школе Ньютона или о школе Сократа, распространяется также на политические системы: власть основывать общество дана только людям, умеющим находить связь между прошлым и будущим человеческого рода и таким образом координировать его воспоминания с его чаяниями, другими словами — умеющим связывать традицию с предвидениями и в равной мере удовлетворить жалобы и желания всех. Если, например, Григорий VII создал

общественный порядок средневековья, если Магомет основал ислам, то это произошло оттого, что тот и другой живо чувствовали общие потребности руководимых ими масс.

Вернемся к «Le Producteur». Новый способ издания, принятый нами, позволил нам произвести настолько значительную экономию, что никогда периодический орган не издавался с меньшими затратами. Тем не менее приближался момент, когда средства наши начали иссякать. Убежденные в необходимости продолжить развитие идей, на которых мы начали фиксировать внимание публики, правда, немногочисленной, но привыкшей к серьезному изучению, мы приложили все наши усилия к тому, чтобы побудить двух лиц, оказывавших до сих пор наибольшую денежную помощь трудам Сен-Симона, как и нашим, поддержать также «Le Producteur». Мы доказали им сначала, что максимум ежегодных расходов журнала и, следовательно, вероятной жертвы, которая потребует, если считать, что число подписчиков не возрастет, составит весьма скромную сумму: едва пять тысяч франков *. Затем мы старались заста-

* Эти подробности казались нам необходимыми, чтобы дать понятие о всякого рода трудностях, с которыми сопряжены первые шаги любого нового учения. Как бы слабо ни было впечатление, произведенное изданием «Le Producteur», однако среди его читателей, даже среди тех, которые не приняли развиваемых в нем принципов, не найдется теперь ни од-

вить их понять, что если мы не в состоянии сделать этот расход, столь незначительный для миллионов, но слишком тяжкий для людей, живущих исключительно своим трудом, то жертва, которую мы берем на себя, обязываясь продолжать безвозмездно редактирование журнала, пока доходы от него не станут покрывать расходов, может дать представление о самоотверженности, которую наше учение способно внушить. Наши хлопоты не имели успеха, и издание «Le Producteur» было приостановлено.

Тяжелый труд, который нам пришлось взять на себя, чтобы изложить совершенно новую систему идей и избавить наших читателей от многих трудностей, испытанных нами самими при ее усвоении, помешал нам заметить, что мы слишком понадеялись на свои силы, вообразив, что сумеем продолжать работать так, как мы работали в течение целого года. Отдых стал для нас необходим; всем нам дали почувствовать это более или менее серьезные болезни, которые против нашего желания все равно приостановили бы нашу деятельность.

Впрочем, мы были вскоре несколько вознаграждены за огорчение, которое причинила нам эта приостановка. Так как печать перестала быть для нас средством общения с

ного, который не считал бы, что журнал поставил на обсуждение крупные идеи и что он потому заслуживал внимания серьезных умов, поддержки людей, которых интересует прогресс человечества.

публикой, то лица, заинтересовавшиеся идеями школы, поспешили войти в сношение с нами; завязалась поистине апостольская переписка с новопосвященными; они призвали дух Сен-Симона, чтобы тот направил их среди смятения, вызванного в их чувствах и идеях новой доктриной, которая поколебала все их предрассудки и вызвала в них полное перерождение. Скоро каждый из нас окружил себя некоторыми из числа столь часто встречаемых ныне людей, которые устали от умственной и нравственной пустоты политических и философских доктрин, проповедуемых в салонах, чувствуют отвращение к прошедшему, утомлены настоящим и призывают к неизвестному им будущему, требуя от него разрешения великих проблем, выдвигаемых поступательным шествием человеческого рода.

Таким образом, после того, как мы в течение некоторого времени обращались к публике через «Le Producteur», мы могли затем лично влиять на тех из наших читателей, которые приняли некоторые из общих воззрений школы и горячо желали завершить свое посвящение. Возникли собрания, на которых один из нас продолжал развивать наше учение⁸. В разных пунктах были созданы центры пропаганды; раздавались с надлежащим выбором сочинения Сен-Симона, «Le Producteur» и наша переписка, снабженные разъяснениями, которых требовали добросовестные и основательные собеседования,—короче, устное слово служило нам еще лучше,

чем печатное, и число преданных сторонников нового учения быстро возрастало. В настоящий момент каждый из нас может поздравить себя с тем, что привлек к школе большее число последователей, чем насчитывал Сен-Симон у своего смертного одра.

Эти преимущества не мешали нам, однако, сознавать, насколько важно было бы пользоваться для распространения нашего учения печатным словом, особенно с тех пор, как база школы расширилась и упрочилась. Во время приостановки «Le Producteur» некоторые из нас опубликовали сочинения, в которых были развиты важные, но преимущественно отдельные части философии Сен-Симона. Эти отдельные работы не могли, однако, выполнить задачу, которую мы себе ставили. Требовалось продолжить развитие учения в целом, начатое в общих чертах нашими первыми печатными изданиями.

К тому же устного изложения было уже недостаточно для того количества лиц, которые изучали наши идеи; переписка отнимала драгоценное время и становилась также слишком обширной; она требовала весьма частого повторения одних и тех же идей разным лицам, ибо нередко нас просили из разных мест об одних и тех же разъяснениях. Наконец, мы были уверены, что продолжающееся существование школы и ее явные успехи возбуждают любопытство наших старых противников, которые раньше так мало вникали в учение, с которым мы их знакомили, что,

сообщая о приостановке «Le Producteur», они с радостью похоронили его; у некоторых из них явилась даже мысль, что, отказавшись от этого увлечения молодости и разочаровавшись в иллюзиях, которые породил в наших умах Сен-Симон, мы под влиянием размышления вернулись к более здравым идеям. Между тем они ежедневно с удивлением узнавали о фактах обращения к нам некоторых из их соратников; они сами сообразовали признать, что доктрина, излагаемая в «Le Producteur», в самом деле содержит некоторые хорошие идеи. Они отважились признать — о, диво! — что этот безумец Сен-Симон создал достаточно сильных учеников. Иные стали находить довольно странным, что если наше учение — только смесь мечтаний, пусть даже остроумных, то каким образом школа вербует своих сторонников главным образом среди людей, менее всего склонных к мечтаниям, т. е. среди тех, кто посвятил свою жизнь изучению позитивных наук, между тем как, напротив, фразеры, краснобай, словом, так называемые литераторы, явно не фигурируют в наших рядах. Другие, наконец, признали достоинства некоторых наших принципов: например, чрезвычайную полезность метода, указанного нами для классификации человеческих поступков при изучении истории; на основании доказательств, которые мы представили при помощи этого метода, они приняли даже некоторые из наших важнейших воззрений на прошлое и будущее человечества. Все эти настроения убеждали

нас, что мы приближаемся ко второму кризису, угрожающему новаторам, что скоро мы будем свидетелями того, как из споров, которые вызовет новое публичное появление нашего учения, исчезнут нападки вроде тех, какие направлялись против личности Сен-Симона, исчезнут более или менее ничтожные шутки, в изобилии расточавшиеся по нашему адресу, исчезнет, наконец, то легкомыслие, с каким люди высказываются об идеях, до того как они дали себе труд ознакомиться с ними и изучить их, изучить с тем большей тщательностью, чем они новее.

Мы решили поэтому вновь обратиться к публике через печать. Положение школы изменилось: мы чувствовали себя более сильными, чем в момент смерти Сен-Симона; более сильными, чем в момент прекращения печатания «Le Producteur». Мы не были больше поставлены перед тяжелой необходимостью искать поддержки у людей, которые по соображениям, чуждым самой доктрине, способствовали ее распространению. Наши широкие связи давали нам почти уверенность в том, что у нас будет достаточно большое число читателей, чтобы не испытывать никакого беспокойства относительно средств на покрытие наших расходов. Мало того, число лиц, примкнувших к нам во имя успеха доктрины нашего учителя, было уже достаточно велико, чтобы гарантировать безостановочное продолжение нашей работы, за какой бы труд мы ни взялись; школа имела уже вид сплочен-

ной, сильной ассоциации, все члены которой объединены одной могучей благородной идеей. Это единодушие напоминало нам трудности, даже неприятности, которые нам пришлось испытать, когда едва зародившаяся школа Сен-Симона употребляла столько тщетных усилий, чтобы не быть осужденной на молчание. Теперь, напротив, мы были воодушевлены одним и тем же настроением; все мы питали одни и те же желания, одни и те же надежды; мы обращали свои взоры к одной и той же цели — исполнению судебных человеческих, нравственному, интеллектуальному и промышленному возвышению будущих поколений.

Все эти подробности должны главным образом дать представление о материальных препятствиях, которые встречало до сих пор учение Сен-Симона и над которыми оно восторжествовало. Они покажут также, как создавался личный состав школы, и в этом отношении нам особенно хотелось бы, чтобы наши читатели разделили то горячее чувство, которое мы испытываем при виде ассоциации, созданной с таким трудом и борющейся против предрассудков и неприятели, всегда противопоставляемых старыми привычками и старым воспитанием новым идеям. Несомненно, что рвение, воодушевляющее нас, самопожертвование, которому мы чувствуем себя способными отдаться, — придают странную физиономию нам, живущим в обществе, которое не испытывает живой симпатии ни к

какому начинанию, имеющему общее значение, которое умеет страстно отдаваться только чисто личным интересам, высчитывает денежные выгоды даже от таких действий, которые должны были диктоваться только самыми нежными чувствами, — словом, в обществе, которое всецело отдалось эгоизму. Не финансового успеха желает школа; мы не надеемся также увидеть, по крайней мере в течение долгого времени, быть может, всей нашей жизни, как превратились в признательность и любовь пренебрежительное легкомыслие и враждебность, которые мы больше чем когда-либо возбудим против себя, когда дряхлеющие репутации и реакционные интересы, пока еще достаточно могущественные, почувствуют себя предметом более открытой атаки с нашей стороны.

Мы знаем, какова участь людей, сражающихся оружием прошлого против настоящего; страдания, которые они испытывают во имя благородной преданности, возбуждают в нас сострадание. Но мы знаем также удел, обетованный тем, кто первые указуют своему веку путь к длительному будущему: им одним мы отдаем свою любовь.

Наша задача не закончена, нам остается изложить ход работ школы.

Мы уже сказали: первые четыре тома «Le Producteur» были почти исключительно посвящены развертыванию исторических рядов, относящихся к промышленным и научным фактам, откуда следовали соображения отно-

сительно политической Организации ученых и комбинаций, благоприятствующих наиболее крупным усилиям промышленности. Мы далеко не исчерпали этого обильного источника наблюдений: мало было высказано еще идей относительно порядка научных работ, энциклопедической связи наук, относительно политических учреждений, должностующих объединить науки с промышленностью или заставить их служить развитию социальных чувств; едва могли быть намечены также — причину мы объясним ниже — великая проблема воспитания и столь же обширная проблема постоянного совершенствования наук.

Точно так же при рассмотрении вопроса о кредите и банках, об отношениях, которые надлежит установить между руководителями промышленных работ и людьми, их выполняющими, мы принуждены были прежде всего расчистить почву, на которую стали; с этой целью мы старались доказать факт постоянного уменьшения влияния военных, т. е., эксплуатации человека человеком, и одновременно успехи мирных работников, т. е., эксплуатации земного шара промышленностью. Эти предварительные необходимые труды лишили нас возможности рассмотреть в целом великолепную проблему материальной организации общества, иными словами — структуры собственности. Наконец, в этой второй серии работ мы встретились с тем же препятствием, которое помешало нам, как мы

уже сказали, разрабатывать самые общие вопросы научного порядка.

Объясняя причины, сдерживавшие таким образом нашу мысль в известных границах, мы дадим представление о новом пути, какой должна была пройти школа со времени «Le Producteur», чтобы завершить в самых общих чертах изложение учения, которое охватывает явления человеческой деятельности, обусловленные чувствами, как и явления, представляемые поступательным ходом наук и промышленности.

При помощи того же метода, который мы применяли для изучения научного и промышленного прогресса общества, можно также научно рассмотреть развитие изящных искусств, понимая этот термин в том смысле, который мы ему придали, т. е. применяя его ко всякому выражению симпатий и антипатий человека и к страстям человеческого рода. Исторические факты, которые должны быть классифицированы под этим наименованием, также допускают установление правильных рядов, и законы этих последних выражают в новой форме социальное будущее. В старом «Le Producteur» мы уже заявили о всей важности этой части учения Сен-Симона, но мы сообразовались с примером нашего учителя: мы полагали, что должны начать с установления научных основ его учения и постарались связать с ними прежде всего наиболее осязательные факты, — те, которые, очевидно, сохранили наибольшее влияние, так как они

относятся к столь могущественным ныне материальным интересам,— т. е. промышленные факты.

Таким образом, школа имеет перед собою почти совершенно новое поле для разработки: тут глазам нашим представляется множество развалин великих памятников, свидетельствующих о нравственном совершенствовании человечества. Чувства, пробуждаемые поэзией, выражаемые словом, пением, гармонией, живописью, ваянием, архитектурой, соединяющиеся все в величественной пышности культа,— эти чувства оставили следы, которые легко видеть в истории. В каждую эпоху цивилизации законодательство носит на себе их отпечаток, они находят свое проявление в усовершенствованиях языка, в обычаях и развлечениях народа, в страстях его повелителей.

Так как в старом «Le Producteur» мы едва коснулись вопросов, относящихся к этому новому порядку работ, то мы были лишены возможности придать фактам, которыми занимались, ту степень обобщения, которая необходима для того, чтобы дать почувствовать всю их важность в развитии человеческого рода. Но это абстрагирование позволило нам избежать путаницы, которая могла произойти от одновременного влияния двух принципов, если не противоречивых, поскольку они ведут к одной и той же цели, то, по крайней мере, весьма различных, ибо они приводят к ней двумя разными путями: мы говорим о рассуж-

дении и симпатии, другими словами — о науке и поэзии. Так, например, нам представляется очевидным, что если противники торговли неграми, стремящиеся уничтожить рабство в колониях, стараются доказать, что с точки зрения интересов материального производства рабство означает плохой расчет, то другие люди в Европе пришли к тому же результату иным путем: рабство прекратило здесь свое существование благодаря другим средствам, или, по крайней мере, другие средства весьма способствовали нашему избавлению от него. Коротко говоря, расчет или рассуждение, наука в ее применении к материальным интересам не является единственным побуждающим мотивом человеческих поступков; мы действуем и под влиянием симпатий, пробуждаемых и поощряемых изящными искусствами; мы рассудительны, но в то же время страстны; мы руководствуемся своими интересами, но умеем, однако, отдаваться порывам благороднейшего самопожертвования.

Школа должна была, таким образом, показать, какие поступки, внушенные страстями, благоприятствовали или мешали поступательному движению общества; она должна была исследовать различные формы, в которых проявляются в каждую эпоху цивилизации человеческие симпатии. Семейные чувства, чувства, которые привязывали гражданина к отечеству, и которые в настоящее время должны объединять человека со всем человеческим родом, наконец, чувства, побуждающие суще-

ство, одаренное жизнью, изливать ее на все окружающее — таковы новые источники, из которых мы должны были черпать.

Затем нам нужно было вернуться к результатам, к которым нас привело в «Le Producteur» рассмотрение промышленных и научных фактов. Науки и промышленность должны были предстать перед нами главным образом как средства, при помощи которых человека можно поставить в условия, наиболее благоприятные для развития его чувств привязанности к слабым, покорности по отношению к сильным, любви к общественному порядку, преклонения перед всемирной гармонией. Нашими руководителями становились поэты, главным образом те, которые пророчески воспевали будущее, а также и те, которые, будучи лишены новых вдохновений, прославляли прошлое; мы должны были изучить чувства, порожденные их пылким увлечением или те, которые они тщетно пытались воскресить. Нам нужно было раскрыть постоянное влияние женщин на смягчение наших нравов и до какой нравственной высоты они поднялись из положения униженных рабынь. В особенности мы должны были дать почувствовать, какую роль готовит им будущее, когда, окончательно освобожденные от варварского ярма, наложенного на них грубыми страстями, они будут признаны типичными представительницами той симпатической силы, которая сначала пробудила ужас перед человеческими жертвоприношениями, затем разбила

цепи рабства и, наконец, произнесла великодушное слово — филантропия.

Этого беглого изложения достаточно, несомненно, чтобы показать, какое огромное поле открывалось перед нами. В круг вопросов, охватываемых нашим учением, входят все явления человеческого общества в их высших обобщениях, и именно на этом основании мы сначала претендовали для него на прекрасное наименование философии*, столь щедро расточаемое в наши дни.

Мы привыкли слышать, как знаменитым историком называют компилятора незначительных фактов, содержащихся в старых хрониках; точно так же именуют глубоким публицистом человека, который предвидит падение какого-нибудь кратковременного министерства и рождение министерства, которое сменит его, чтобы самому умереть на следующий день. Но наши философы встречают еще более снисходительное отношение к себе, к ним предъявляются минимальные требования.

* Ему предназначено еще другое, более великое наименование, которое поочередно принимали и от которого потом отказывались все учения, направлявшие путь народов, а именно название религии. Так, философы Греции и Италии, после долгих блужданий почувствовавшие, наконец, пустоту своих бесконечных споров, присоединились все к голосу Христа, и таким путем была основана христианская религия. В последние три столетия христиане, отказавшись от своего единоверия, отложились от церкви, чтобы образовать философские школы, которые в свою очередь угасают, подобно школам Афин и Рима, и бессознательно направляются к новой Церкви.

В самом деле, чтобы прослушать курс юридических или медицинских наук, чтобы получить самые незначительные университетские степени по физико-математическим или словесным наукам, нужно сначала выдержать экзамен по философии. Следовательно, чтобы быть философом, нет надобности ни знать принципы законодательства и естественных наук, ни размышлять о социальном влиянии поэзии. Мало того, поговорите с нашими философами о кредите, о займах, о народонаселении, о таможенных пошлинах; попытайтесь узнать, что они думают о некоторых наиболее интересных вопросах промышленного порядка, как, например, об организации труда, структуре собственности, о корпорациях и т. д. — наиболее самоуверенные ответят вам какими-нибудь общими местами отсталой науки, другие скажут наивно: мы не изучали политической экономии.

Для нас история, общественная наука и философия имеют другое значение. Цель, которую они перед собой ставят — не забавлять скучающую публику рассказыванием каких-нибудь исторических анекдотов; не заинтересовывать ее политическими событиями минутного характера или — еще лучше — развлекать ее бесплодными, несовершенными, отсталыми дискуссиями о приемах деятельности и механизме умственных способностей; они должны уверенно раскрывать перед человечеством его будущее, подтвердить его прошлым человечества, показать ему, какие успехи

уже достигнуты и какие ему еще остается осуществить, наконец, внушить ему страстный интерес к этой благородной цели его трудов, к этой великой награде за его усилия, к этому сладостному вознаграждению за его долгие страдания.

Мы знаем, конечно, что, придавая нашим работам этот возвышенный характер, мы своим энтузиазмом вызовем усмешку у скептиков наших дней; они будут удивлены, увидев вокруг себя подобную экзальтацию, которую они не способны понять, ибо им неведомо то, что могло бы возбудить ее в них самих. Между тем все они восхищаются Сократом, который умер за свои верования, хотя сами они, подобно Галилею, бросились бы на колени, чтобы отречься от своих. Пусть поразмыслят одно мгновение о Сен-Симоне, нашем учителе, об этой жизни, исполненной жертв и даже унижений, о невозмутимом спокойствии, с каким он перед самой смертью беседовал с нами о будущности человеческого рода. Быть может, они почувствуют тогда, что мог явиться новый Сократ, что человечество могло еще раз быть свидетелем столь же великого явления, наконец, что откровение новой философии должно снова озарить мир.

Умонастроение людей, к которым мы обращаемся, не позволило еще нам до сих пор предпринять догматическое преподавание доктрины; нам пришлось подвигаться шаг за шагом, подходить к мыслителям нашего времени с их же позиции (так к нам самим

подходил Сен-Симон), чтобы привести их затем на нашу. Нам пришлось употребить в отношении их то самое оружие, которым они так ревностно пользуются,— а именно, критику; пришлось внушить им отвращение к их анархическим верованиям, заставить их почувствовать нравственные, интеллектуальные и физические страдания, которыми обременены массы в эпоху неурядицы, подобную нашей, страдания тем более, жгучие, чем более благородной душой, возвышенным умом и могучей энергией обладает человек. В особенности мы должны были изложить перед ними основания, дававшие нам право вскоре обратиться к ним с речью о любви, о поэзии, о религии, а для этого нужно было стать твердой ногой на почву науки и промышленности*, повести борьбу с предрассудками ученых и экономистов нашего времени, атаковать догматы растленной политики, которая долго была необходима для разрушения порочного социального порядка и теперь еще необходима в качестве преграды против движения вспять, но чья чисто отрицательная сила не в состоянии внушить чувств энтузиазма и самопожертвования в настоящее время, когда все подверглось отрицанию даже в низших слоях общества.

Такова цель книги, которую мы выпускаем ныне в свет; она содержит резюме публичных

* «Если я придаю какое-то значение науке,— говорил Лейбниц,— то потому, что она дает мне право требовать молчания, когда я говорю о религии».

лекций, читанных в прошлом году (1829)⁹. Чтобы дать читателю возможность уловить их последовательность и, таким образом, облегчить их чтение, мы помещаем здесь самое краткое их изложение.

Лекция первая

Эта лекция посвящена характеристике при-
скорбного положения, в котором находится
сейчас европейское общество: порваны все
узы привязанности, повсюду жалобы или
опасения, нигде не видно радостей и надежд;
недоверие и ненависть, шарлатанство и хит-
рость господствуют в общих отношениях и
проявляются также в частном быту. Эту
неурядицу мы констатируем в политике, раз-
деляющей нас во имя власти и свободы; в нау-
ках, лишенных взаимной связи, разъединен-
ных, как и люди, их разрабатывающие;
в промышленности, где на алтарь ожесточен-
ной конкуренции приносится столько жертв,
где обману и недобросовестности воздвигают-
ся великолепные храмы; наконец, в изящных
искусствах, которые бесцветно прозябают,
лишенные широких, благородных вдохнове-
ний, и находят в себе новые силы только
для того, чтобы чернить, чтобы поносить
этот мир, который их оскорбляет и пугает.
Ввиду этого страшного кризиса мы призы-
ваем человечество к новой жизни, мы спра-
шиваем у этих разобщенных, обособленных,
борющихся между собой людей, не наступило

ли время открыть новый союз любви, учения и деятельности,— союз, который должен объединить их, заставить их шествовать мирно, в порядке, любовно к общей судьбе и придать обществу, самому земному шару, всему миру единение, мудрость и красоту, благодаря чему вопли отчаяния, вырывающиеся теперь у таланта, могли бы смениться гимном благодарности.

Лекция вторая

Возможно ли подобное будущее? Раскрывая великую книгу преданий, мы видим, что человеческое общество действительно шествует непрерывно к будущему, которое ему возвещает теперь Сен-Симон. Мы видим, как оно шествует через эпохи порядка и неурядицы, воздвигая и разрушая каждый раз все более и более совершенное здание, где вырабатываются и подготавливаются его мирные судьбы. Тогда взор наш переносится с большим спокойствием на современный кризис, на который мы указывали ранее; мы видели, что в прошлом за подобными кризисами, за моментами неурядицы, анархии, эгоизма, безбожия следовали иерархия, самопожертвование, вера,— одним словом, новый порядок. Нам известно, например, что божеества Олимпа, их жрецы и римский патрициат пали под ударами философов и вольноотпущенников, подобно тому как наша католическая вера, ее служители и наше феодальное дво-

рянство получили смертельный удар от наших ученых, наших законовевов и буржуа, от нашего третьего сословия. Но ведь ученики Христа не усомнились в будущем человечества, почему же ученики Сен-Симона не должны верить в нее?

Лекция третья

Какова же эта новая манера рассматривать историю, заставить, так сказать, прошлое поведать нам будущее человечества? Какую ценность имеет доказательство, представляемое нами в подтверждение наших мечтаний о будущем? Сен-Симон задумал новую науку, науку столь же позитивную, как и все науки, заслуживающие этого названия,— это наука о роде человеческом. Ее метод тот же, что и метод, применяемый в астрономии и физике; факты размещаются в ней рядами однородных членов, связанных между собою в порядке общности и частности так, чтобы можно было выявить их тенденцию, т. е., показать закон нарастания и убывания, которому они подчинены.

Лекция четвертая

Первое применение этой науки подтверждает тенденцию рода человеческого ко всемирной ассоциации,— другими словами, к постоянному убыванию антагонизма, которое последовательно выражается словами: семья,

каста, город, нация, человечество. Отсюда следует, что общества, образовавшиеся первоначально для войны, имеют тенденцию слиться в одну мирную всесветную ассоциацию.

Лекция пятая

Общая картина развития человеческого рода, включающая еврейский монотеизм, греко-римское многобожие и христианство вплоть до наших дней, с очевидностью обнаруживает этот закон прогресса. Иерусалим, Рим цезарей и Рим христианского мира — вот три великих города — инициатора человеческого рода. Моисей, Нума, Иисус породили народы, ныне вымершие или умирающие. Кто будет родоначальником грядущей породы людей? Где он, город прогресса, который вознесется в славе на развалинах городов умиловивления и искупления? Где он, новый Иерусалим?

Лекция шестая

Человек эксплуатировал до сих пор человека. Господа, рабы; патриции, плебеи; сеньоры, крепостные; земельные собственники, арендаторы; бездельники, труженики — такая прогрессивная история человечества до настоящего времени. Всемирная ассоциация — вот наше будущее. Каждому по его способности, каждой способности по ее де-

лам — вот новое право, которое заменит право завоевания и право рождения; человек не будет больше эксплуатировать человека; человек, в товариществе с другим человеком будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть.

Лекция седьмая

Это новое право, право способности, которыми будут заменены право более сильного и привилегия рождения, — находится ли оно в согласии с законами природы, с божественной волей, со всеобщей пользой? Природа, бог, польза некогда позволяли человеку иметь рабов; позже они ему это запретили; они предоставили ему крепостных, но цепи крепостных разбиты; они позволяют ему еще жить в праздности, потом труженика, слезами детей и стариков. Но Сен-Симон явился, чтобы сказать человеку: «Твоя праздность противоречит природе, она нечестива, вредна для всех и для самого тебя, ты должен трудиться».

Люди! формируйте мирную армию, не говорите: это невозможно; мы были храбрыми на полях сражений, еще недавно все вы умели становиться под начальство полководца, размещаться иерархически, признавать руководителей, маршировать в строю, соблюдая порядок, экономию и, в особенности, проникаться энтузиазмом. И куда же вы так стремились? Опустошать мир, приносить повсюду

слезы, кровь, смерть! Следуйте за мной, стройтесь в ряды, признайте новых вождей, будьте опять мужественны, ибо вам предстоят великие и благородные труды; следуйте за мной — я несу с собою жизнь.

Лекция восьмая

Что же скажут нам теперь наши легисты, публицисты, экономисты? Докажет ли нам их наука, что богатство и нищета навсегда останутся наследственными; что безделие может приобретаться безделием; что богатство есть неотъемлемое достояние праздности? Докажет ли она нам также, что сын бедняка свободен, как и сын богатого? Свободен! Когда не имеешь хлеба! Что оба они равноправны? Равноправны! Когда один имеет право жить, не работая, а другой, если он не работает, имеет лишь право умереть!..

Они неустанно повторяют нам, что собственность есть фундамент общественного порядка; мы также провозглашаем эту вечную истину. Но кто будет собственником? Праздный ли, невежественный и безнравственный сын умершего или человек, способный достойным образом выполнять свою общественную функцию? Они утверждают, что все привилегии рождения теперь уничтожены. А что такое наследование в пределах семьи? Что такое переход состояния от родителей к детям без всякого другого основания, кроме кровного родства, как не самая безнравствен-

ная из всех привилегий, привилегия жить в обществе, не работая, или быть вознаграждаемым в нем свыше своих трудов?

Жалка была бы та наука, которая поддерживала бы крепостничество, которая запретила бы Христу проповедовать братство людей из опасения, что его слово будет услышано рабом; жалка была бы наука, которая в еще более отдаленную эпоху восхваляла бы справедливость людоедства!

Да, у всех наших политических теоретиков глаза обращены к прошлому, даже у тех, или в особенности у тех, которые считают себя достойными будущего. И когда мы возвещаем им наступление царства труда, когда мы говорим, что царство праздности кончилось, они третируют нас, как мечтателей, они заявляют нам, что сын всегда наследовал своему отцу, подобно тому как язычник сказал бы, что свободный человек всегда имел рабов. Но человечество провозгласило устами Христа: Да не будет больше рабства! Устами Сен-Симона оно восклицает: Каждому по его способности, каждой способности по ее делам, конец наследованию!

Лекции девятая, десятая, одиннадцатая

Но распределение орудий и продуктов промышленности — не единственная задача правительства будущих обществ: существует еще

другое распределение, которое требует отеческих забот от руководителей человечества. Нужно внушать всем людям, развивать, культивировать в них чувства, познания, привычки, которые сделали бы их достойными членами проникнутого любовью, упорядоченного и сильного общества; нужно подготовить каждого из них сообразно его призванию, чтобы он приносил обществу свою дань любви, ума и силы; словом, необходимо воспитание, которое охватило бы всю жизнь каждого существа, его общее назначение и специальную профессию, его общественные привязанности, как и привязанности домашнего очага, тогда как в наши дни оно состоит только в обучении без определенной цели, беспорядочном, не считающемся с индивидуальными склонностями и общими нуждами. Воспитание — самый важный аспект социального порядка, и будущее требует от нас, чтобы мы заложили основы его воспитания.

Мы должны были показать прежде всего прискорбную пустоту наших обществ в этом отношении. Затем, бросив беглый взгляд на органические эпохи прошлого, мы показали, что в те периоды развития человечества, когда общество сознает за собой известное назначение, люди высшего порядка, им управляющие, чувствуют важность и находят способы передавать нарождающимся поколениям и укреплять в действующем поколении свою любовь к общей судьбе, увеличивать путем повседневной культуры нравственную, ум-

ственную и физическую силу масс для того, чтобы непрерывно приближать их к предмету своих надежд. В самом деле, сравним воспитание, получаемое нами в настоящее время, с воспитанием народов древности, которые складывались для целей войны, основывались на войне, разрастались путем войны, и мы получим возможность утверждать, что наше общество не основано на мире, что у него нет никакой базы, что оно не знает за собой никакой цели, действует без предвидения, без надежды на будущее и единственно из ненависти к прошлому. Оно борется против старой системы воспитания, которая бесспорно не подходит более для его будущего, и оно старается ее разрушить, но бессильно одолеть ее, ибо не знает глубокого основания ее долгого существования, не умеет распознавать огромного прогресса, достигнутого благодаря этому христианскому воспитанию, которым само общество вскормлено и которое оно сумеет отбросить лишь тогда, когда достигнет еще большего прогресса. Общество нападает на иезуитов, — это превосходно: значит слова Паскаля и Вольтера не пропали даром. Но ему не приходит в голову, что иезуиты могут исчезнуть не раньше, чем будет задумано и осуществлено учреждение, распространяющее общие верования более высокого свойства, чем верования католические, провозглашающие догмат более широкий, чем католический догмат, осуществляющие культ более совершенный, чем католический культ.

Поднять всех людей на более высокую ступень как людей, т. е. как существа общественные или религиозные*, направить каждого из них к функции, к которой его влечет призвание,— таковы, повторяем две различные стороны воспитания: оно должно быть или общим, или профессиональным. Все члены общественного организма — люди, но все они также — художники, ученые или промышленники, другими словами, все они симпатизируют, рассуждают или действуют, и этот тройной аспект человеческого существования дает основание провести тройственное деление в общем и профессиональном образовании. Такова концепция, которая должна служить основой воспитания в будущем и главные черты развития которой мы здесь вкратце указали.

Лекция

двенадцатая

Высказав наши взгляды на воспитание, мы, естественно, подходим к рассмотрению другой области политического порядка, важное значение которой непосредственно бросается в глаза. Если бы воспитание достигало цели, которую оно, согласно нашему мнению, должно себе ставить, если бы оно прививало всем людям готовность содействовать общественному прогрессу — каждый в меру своей любви,

* Для нас оба эти термина — лишь синонимы, ибо, как вы увидите далее, мы расширяем значение того и другого.

своего разума и силы — то законодательство* стало бы бесцельным. Но в действительности это не так. Найти, по выражению нашего учителя, демаркационную линию, отделяющую хорошие поступки от дурных, есть одна из самых возвышенных сторон функции законодателя; применять это нравственное правило — один из главных актов того, кто управляет. Таким образом, законодательство и отправление правосудия являются необходимым дополнением воспитания того органа, которому оно вверено. Собственно говоря, наказания и награды представляют собою только один из аспектов воспитания.

Законодательство, как и все человеческие действия, подвержено переменам, развитию, зависит от состояния цивилизации общества; это значит, что оно подчинено чередованию органических и критических эпох, отмеченные нами во всей истории прошлого. В органические эпохи политический вождь является одновременно законодателем и судьей, он со-

*Законодательство, лишенное своего предупредительного характера, ярко свидетельствует, по нашему мнению, о варварстве и невежестве народа, который ему подчинен; для нас недостаточно, чтобы законодательство ставило своей задачей подавлять и предупреждать зло, наказывать порок или ставить ему препятствия; необходимо, чтобы оно предписывало и внушало добро, чтобы оно поощряло и воспитывало добродетель. Здесь, как и в дальнейшем ходе изложения, мы говорим только о законодательстве в принятом теперь смысле, т. е. репрессивном, карательном, принудительном.

здает регламентацию порядка и определяет ее применение; он—живой закон, орган социального одобрения и порицания; именно он венчает славой или клеймит позором. Напротив, в критические эпохи закон есть мертвая буква, лишенная нравственной силы; правосудие и справедливость становятся во мнении людей двумя разными вещами; законодатель издает законы и судьи выносят свои приговоры не потому, что они руководят народами, что они предвидят и удовлетворяют их нужды, что они окружены любовью, почитанием и повиновением. Римский патриций, средневековый сеньор и епископ уступают место магистратуре, парламентам, черпающим свою силу только в том, что они помогают народу низвергнуть своих старых вождей, порвать узы повиновения, ставшие невыносимыми, разложить прежний общественный строй. Законодательство и отправление правосудия служат тогда либо орудием сопротивления гнету старой иерархии, либо средством для угнетения народа,— другими словами, в них постоянно находят проявление антагонизм, существующий между правителями и управляемыми, борьба, характеризующая в наших глазах эпоху критики или распада ассоциации.

Для нас законодательство есть регламентация порядка; законодатель, таким образом, есть человек, который любит социальный порядок и наилучшим образом знаком с ним, а, следовательно, и с целью ассоциации; это человек, наиболее способный направлять об-

щество к осуществлению его судеб. А так как, по Сен-Симону, человеческая деятельность преследует тройную цель, так как дело идет о нравственном, умственном и физическом прогрессе, то регламентация порядка должна охватывать эти три аспекта общественного развития. Точно так же судейская корпорация должна состоять из трех специальных степеней юрисдикции, имеющих целью регулирование нравственного, научного и промышленного движения.

Таким образом, какого бы рода работы ни имелись в виду, какова бы ни была степень их важности, всегда именно начальник одобряет и осуждает, хвалит и порицает, поощряет и сдерживает; именно он отдает приказания, он судит.

Мы знаем, подобного рода догмы способны задеть за живое людей, которые, поверхностно читая нас, забудут, что для нас не существует начальника по праву завоевания или по праву рождения, а исключительно по праву моральных, интеллектуальных и индустриальных способностей; что в обществе, как мы его себе представляем, каждый человек, который судит своих подчиненных, имеет также старших начальников, которые его судят, и судят в особенности со стороны его начальственных отношений к подчиненным. Таким образом, чтобы понять нас, следует предварительно перенестись мыслью и надеждой в совершенно новое общество, всецело отличное от существующего и от существовавших раньше; не-

обходимо видеть наперед будущее общество. Люди, способные сделать этот первый шаг к будущему, очень скоро примкнут к нам, чтобы осуществить его. Правда, тогда правящие не будут больше в состоянии войны с управляемыми, нации — с нациями, индивид — с обществом, но мы не требуем, кажется, большого усилия симпатии и разума, когда требуем предположить на минуту, для того, чтобы понять нас, что человек есть существо в высшей степени общественное и что если война и была одним из необходимых условий его развития, то она может когда-нибудь перестать быть необходимой для его дальнейшего прогресса.

<i>Лекции</i>	<i>тринадцатая,</i>
<i>четырнадцатая,</i>	<i>пятнадцатая,</i>
<i>шестнадцатая</i>	<i>и семнадцатая</i>

Предшествующие лекции имели целью главным образом подготовить умы к тому, чтобы при изучении развития человеческого рода пользоваться теми рациональными навыками и методами, применение которых, по мнению всех людей, занимающихся серьезными исследованиями, дает в области наук неоспоримое право на общественное доверие. Мы сделали несколько широких применений этих методов к важнейшим событиям истории, расположив последние в ряды однородных членов, подчиненных законам, которые в разных аспектах выражают движение челове-

чества. Так, на чисто рациональном основании существующей между фактами прошлого связи мы установили ослабление военного духа и военных навыков и развитие идей и потребностей мирной ассоциации, установили на протяжении эпох весьма различного характера: одних,— когда создается несовершенный общественный строй, и других,— когда этот строй разлагается, чтобы уступить место не столь несовершенному строю, более цельному и более обширному обществу. Достаточно зная предрассудки людей нашего века, мы понимали, что было бы бесполезно и опасно звать просто к их симпатии, по крайней мере на первых порах; они хотят разума, науки, они требуют так называемых наглядных пояснений, доказательств, и мы вынуждены были представить им таковые, рискуя даже при этом, что дадим им повод назвать нас теоретиками, идеологами, с риском утомить их своими формулами и оказаться непонятными для людей, которые полагали, что смогут читать нас без труда. Мы воздержались от того, чтобы заявить: когда вы не захотите больше, чтобы часть человеческой семьи жила в праздности за счет труда другой части этой семьи; когда вы не захотите больше, чтобы дети этой привилегированной части одни могли пользоваться благодеяниями образования и таким образом развивать свои способности; когда вы не захотите больше, чтобы значительная часть благородных сердец, умов высшего порядка, сильных

и способных людей была деморализована, притуплена, ослаблена — одни праздностью, другие подневольным и противоестественным трудом; когда вы не захотите больше иметь перед своими глазами подобное зрелище, — оно исчезнет. *Наш язык был бы в этом случае несомненно более ясен, но в наши дни он был бы гораздо менее убедителен.* Нам пришлось абстрагироваться, по возможности, от симпатий, которые мы питаем к возмещаемому нами будущему, и представить это будущее как необходимое следствие, как неизбежное действие, как роковой результат прошлого.

Если эти предосторожности диктовались нам предубеждениями нашей эпохи против всего, что проникнуто энтузиазмом (а как могли мы не быть воодушевлены, — мы, которые видим уготованное человечеству счастливое будущее?), если, повторяем, нам приходилось считаться с притязаниями нашего резонерствующего века, когда мы говорили ему о законодательстве, воспитании, о структуре собственности, когда мы нападали на его философские и политические догматы, — то какая осторожность требовалась от нас, когда мы собрались, наконец, вступить на раскаленную почву религиозных верований!

Последние пять наших лекций всецело посвящены постановке следующей проблемы: есть ли у человечества религиозная будущность? Для этого нам нужно было прежде всего показать неосновательность обычного отказа вступить даже в обсуждение этого

огромного вопроса, отказа, в основе которого лежит ненависть по отношению ко всем религиям прошлого, ненависть, господствующую еще, если не на верхах нынешнего поколения (мы разумеем молодежь), то, по крайней мере, среди дряхлых учеников Вольтера и энциклопедистов, среди современных наших метафизиков и физиологов, которые анализируют дух и расчленяют материю, не заботясь о связи, соединяющей их или, вернее, о жизни, лишь проявлениями которой служат тот и другая.

Мы должны были, таким образом, реабилитировать религиозное чувство и различные задуманные и основанные по его внушению учреждения, должны были показать с этой целью влияние, которое они в течение более или менее обширных периодов последовательно оказывали на прогрессивное движение человечества к всемирной ассоциации. Но в то же время эта реабилитация должна была положить конец всяким ретроградным попыткам: напоминая о благодеяниях религий прошлого, мы указывали также на бессилие, которым все они теперь поражены, ибо ни одна из них не постигла еще бога во всей полноте его атрибутов и потому не могла дать человеку и обществу совершенного и окончательного закона.

Мы отсылаем читателя к самой книге, дабы он мог оценить различные формы нашей полемики против иррелигиозности нашего века, иррелигиозности вполне обоснованной, если

она выступает как простое отрицание всех верований прошлого, но являющейся при-
скорбным и нелепым кощунством, если она
претендует на господство над будущим, ибо
в таком случае это будущее оказалось бы
лишенным энтузиазма, поэзии, любви,— од-
ним словом, всего, что связывает человека с
человеком, с обществом, со всем окружающим
миром.

Уверенные в том, что мы ответили здесь на
все трудности, представившиеся нам в свое
время, когда слово нашего учителя вырвало
нас из-под власти доктрин, которые господ-
ствуют ныне над умами и которые мы сами
долго изучали и исповедовали, мы считаем се-
бя сейчас вправе потребовать, чтобы и нас
изучили прежде, чем высказаться о нас. У нас
просили книгу, где было бы вкратце изложе-
но все наше учение — вот она ¹⁰.

ЛЕКЦИИ

1828—1829

Лекция

*первая**

О НЕОБХОДИМОСТИ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ

Господа, рассматриваемое в целом общество
представляет в настоящее время два лагеря.
В одном окопались немногочисленные защит-
ники религиозной и политической организа-
ции средневековья; в другом выстроились
под малоподходящим названием «привержен-
цев новых идей» все те, кто либо активно со-
действовал низвержению старого обществен-
ного здания, либо приветствовал его низвер-
жение. И вот к этим двум армиям мы при-
ходим со словами мира и возвещаем об уче-
нии, проповедующем не только ужас перед
кровью, но и ужас перед борьбой, каким бы
именем эта последняя ни прикрывалась. Анта-
гонизм между светской властью и властью
духовной; оппозиция во имя свободы, конку-
ренция для наибольшего блага всех,— мы
не верим в бесконечную необходимость всех
этих орудий войны; мы не признает за

* Прочитана 17 декабря 1828 г.

цивилизированным человечеством такого естественного права, в силу которого оно было бы обязано и осуждено раздирать на части свое собственное чрево.

Мы не сомневаемся в том, что наше учение будет властвовать над грядущими временами более полно, чем верования древности властвовали над своей эпохой, чем католицизма над средневековьем; более могущественное чем предшествовавшие ему учения, оно распространит свое благотворное действие на во точки земного шара. Появление его будет, несомненно, встречено с крайним нерасположением, распространение его натолкнется, конечно, на многочисленные препятствия; мы готовы рассеять первое и уверены, что рано или поздно одолеем вторые, ибо торжестве обеспечено, когда идешь в ногу с человечеством, и никто не властен освободить человечество от подчинения закону совершенствования.

Пережив только что период, изобиловавший неурядицами и раздорами, мы видели как сомкнулась бездна, поглотившая и старые верования и старую политическую власть переставшую быть законной, ибо она не соответствовала более требованиям нового общества. Казалось бы поэтому, что сердца скорее усталые, чем удовлетворенные, должны были любовно принять закон, который когда-нибудь объединит их всех. Но воспоминания о недавней смертельной борьбе и революционность, которую продолжают сохранять все

чувства, отдаляют день единения. Наше строптивое настроение, наша полная подозрительная ненависть беспрестанно вызывают перед нами призрак деспотизма. В совокупности общих для всех людей верований и действий наша гордыня способна видеть лишь новое ярмо, подобное тому, которое только недавно было сброшено ценою стольких слез, крови и жертв. Все, что имеет своим очевидным назначением восстановление порядка и единства, принимает в наших омраченных недоверием глазах видимость попытки к движению вспять.

Эта непрекращающаяся анархия, в которой бьется человеческий род, это всеобщее ослабление социальных связей как будто пугают некоторых мыслителей, но в то же время большинство из них под влиянием несовершенных научных идей полагает, что для создания общего для всех учения не установлено еще достаточного количества фактов, не собрано еще достаточно наблюдений. Для нас проблема решена. Перенесясь мысленно за узкий круг настоящего и проникая взором в прошедшее, мы увидели, что факты положительно осаждают, одолевают нас своей многочисленностью. После этого для нас стало несомненным, что наступила пора для новой концепции, которая должна охватить и объяснить специальные труды, накопленные в течение стольких лет. Эту концепцию мы выдвигаем сейчас с той уверенностью, которую дает глубокое убеждение. Если она неверна, если она только увеличивает число

уже существующих бесплодных систем, то она не возбудит ничего сочувствия и оставит народы погрязшими в эгоизме. Но если она правильна, если она представляет собой обильный источник, откуда наши потомки будут черпать счастье, в котором отказано нам, то сочувственный порыв, вызванный ею во всех сердцах, явится блестящим доказательством ее законности.

Однако было бы неправильно судить с ценности нашей концепции по тому впечатлению, которое она может произвести на первых порах даже на самые возвышенные умы, ибо при нынешнем их настроении ее популярности мешает одно препятствие: это — пренебрежительное недоверие ко всякого рода общим идеям, внушаемое ограниченными навыками, которые создаются при изучении специальностей. Философские учения принято вообще считать пораженными бессилием, на них смотрят, как на простые упражнения в умственной гимнастике, и в доказательство их бесплодности старательно перечисляют множество философий, появляющихся, мол, во все времена. В этих словах есть доля истины и доля заблуждения, которые важно отделить друг от друга, прежде, чем продолжить изложение.

Да, они бессильны, конечно, эти спиритуалистические и материалистические мечтания, появляющиеся во все критические эпохи, одинаковые по существу, хотя и различные по форме. Да, они бесплодны, эти афоризмы

моралистов, не вызвавшие никогда ни одного акта самопожертвования и не давшие обществу ни одного порядочного человека. Но ведь собрание изречений, сентенций и отдельных наблюдений нравственного порядка, кое-какие системы, касающиеся функции интеллектуальных способностей, их сущности и результатов их деятельности — все это не философские концепции. Название это можно прилагать лишь к идее, которая охватывает все виды человеческой деятельности и дает разрешение всех общественных и индивидуальных проблем. Достаточно сказать, что число философских учений, достойных этого названия, было не больше числа общественных порядков, пережитых человечеством; между тем явление нормального общественного порядка встречается только дважды в той серии цивилизации, к которой мы принадлежим и события которой следуют непрерывной цепью* вплоть до наших дней — в древности и в средние века. Новый общественный порядок, возмещаемый нами для будущего, ставит третье звено в этой цепи: оно не будет тождественно с предыдущими, но представит поразительные аналогии с ними в отношении порядка и единства. Оно сменит различные периоды кризиса, переживаемого нами в течение трех веков; наконец, оно

* Ниже мы укажем, какой исторический период мы подвергли наблюдению, и объясним также, почему мы пренебрегли более ранними фактами.

предстанет перед нами как следствие закона развития человечества.

Этот закон, открывшийся гению Сен-Симона и проверенный им на длинном ряде исторических явлений, показывает нам, что обществу свойственны два различных, чередующихся друг с другом состояния: одно, называемое нами органическим, когда все факты человеческой деятельности классифицированы, предусмотрены и упорядочены общей теорией, когда цель общественной деятельности ясно определена; и другое, которое мы именуем критическим состоянием, когда прекратилась всякая общность мысли, всякое совместное действие, всякая координация, когда общество представляет собою лишь скопление обособленных, борющихся друг с другом индивидов.

Каждое из этих состояний занимало два периода истории. Органическое состояние предшествовало той эре греков, которую именуют философской эрой и которую мы более точно обозначим названием критической эпохи. Позже появляется новое учение, оно проходит через различные стадии разработки и усовершенствования и устанавливает, наконец, свое политическое господство над всем Западом. С учреждением церкви начинается новая органическая эпоха, которая заканчивается в XV веке, в момент, когда деятелями реформации был дан первый сигнал к критике продолжающейся вплоть до наших дней.

Критические эпохи представляют два от

личных друг от друга периода. В продолжение первого преобладает коллективная деятельность, ограничивающаяся вначале кругом наиболее сочувствующих ей людей, но вскоре распространяющаяся в массах; ее цель у одних — сознательной, у других — инстинктивной, является разрушение установленного порядка,— порядка, возбуждающего, однако всеобщую неприязнь. Накопившаяся ненависть прорывается, в конце концов, наружу и скоро от старого учреждения остаются одни развалины как свидетельство того, что здесь было некогда гармоническое общество. Второй период охватывает промежуток времени отделяющий разрушение старого порядка от построения нового. В этой стадии и анархия теряет свой бурный характер, но становится более глубокой; тогда наблюдается полное расхождение между чувствами, рассуждениями и действиями.

Таково переживаемое нами состояние неувренности, которую апостолы свободы не сумели ни ослабить, ни смягчить. Они предпочитают рассматривать как окончательную ту ублюдочную систему гарантий, которая была создана на скорую руку, чтобы удовлетворить критические и революционные потребности прошлого века. Они изображают как предел социального совершенства все эти декларации прав человека и гражданина и конституции, на них основанные. Они уверяют, что именно ради этого великого завоевания (*ridiculus mus*)² мир переживал муки родов в течение

нескольких веков. Если им указывают на всеобщее тягостное положение, то они в ответ заверяю!, что оно зависит от преходящих и случайных причин. Борьбу народов и их правителей они считают условием существования человечества. Наконец, они находят, что в настоящее время, когда недоверие приняло регулярный характер, обществу нечего больше ожидать. В пользу новых теорий они приводят факт быстрого развития наук, крупное значение, приобретенное промышленностью, и если они скромно хранят молчание о той стороне человеческого бытия, которая одна способна говорить сердцу и волновать его, если они ничего не говорят об изящных искусствах, то потому, что смотрят на них исключительно как на отдохновение, как на ряд приятных или производящих сильное впечатление образов, полезная задача которых — чаровать досуг роскошной и тягостной праздности.

Бросим поэтому беглый взгляд на науки, промышленность и изящные искусства и посмотрим, в какой мере эти три великих органа общества, рассматриваемого как коллективное существо, выполняют свои функции с той легкостью и в особенности с той гармонией, которые поддерживают здоровье и силу общественного организма и облегчают развитие, которому он подлежит. Мы сможем тогда лучше определить, каково влияние современного на строения умов на индивидуальные и общественные отношения.

Науки

Наш век проникнут благоговейным восхищением перед успехами наук, достигнутыми на его глазах; он самодовольно ссылается на большое число своих ученых и если удостаивает некоторого воспоминания прошедшее, то лишь для того, чтобы противопоставить тень свету, сон — пробуждению и таким образом еще ярче выставить свои собственные заслуги. Рассмотрим, по возможности короче, настолько ли обоснована эта претензия, как это можно подумать с первого взгляда.

Научная деятельность делится на две отрасли: совершенствование теорий и их приложение. Заметим сначала в общей форме, что большинство ученых почти полностью пренебрегает первой из этих отраслей в пользу второй. Что касается весьма многочисленных ученых, которые непосредственно двигают науку, то все они идут по пути, проложенному в конце XVI века Бэконом. Они нагромождают опыты, расчленяют всю природу, обогащают науку новыми деталями, прибавляют более или менее любопытные факты к фактам, наблюдавшимся ранее; почти все они проверяют*, почти все вооружены микроскопом, для того чтобы и самые незна-

* В дальнейшем нам еще предоставится случай указать на важное значение, которое мы придаем проверке посредством фактов, но в то же время мы покажем, что она составляет только часть работы ученого.

чительные явления не ускользнули от их внимательного исследования. Но кто же они — те ученые, которые классифицируют и координируют эти беспорядочно нагроможденные богатства? Где они, — те, которые приводят в порядок колосья этой обильной жатвы? Там и сям можно видеть кой-какие снопы, но они разбросаны по обширному полю науки, и вот уже более столетия как не появлялось ни одного крупного теоретического воззрения*. Если спросить, какая связь существует между притяжением небесных светил и притяжением молекулярным, какая общая концепция относительно порядка явлений направляет исследования ученых, ставят ли они себе цель изучение неодушевленных тел, или тел организованных (согласно принятой классификации), — то вам не только не дадут ответ; на подобного рода вопросы, но отыскание такого ответа, по-видимому, никого даже не беспокоит. Научные работы делили и подразделяли — и это, без сомнения, очень разумно, — но вместе с тем разорвали связь, соединявшую их и дававшую им общее направление; с тех пор каждая наука, радуясь тому, что она называла своим освобождением, пошла своей особой дорогой. Из того, что старая концепция перестала отвечать современным откры-

тиям, сделан был вывод, что надо отдаться исключительно исследованиям, основанным на наблюдении, и начали воздвигать одни разрозненные колонны вместо того, чтобы правильно строить здание.

Но нам возразят: существуют ведь академии, в которые призваны люди, давшие своими открытиями доказательство своей высокой одаренности; надо полагать, что поле науки возделывается ими в самых широких размерах и надлежащим образом. Да, несомненно, академии существуют, и все их члены — люди обширных познаний; каждый владеет какой-нибудь отраслью науки, а некоторые даже несколькими. Здесь не место разбирать вопрос, не обуславливалось ли иной раз избрание кандидата духом групповщины, проникшим в эти общества; мы наблюдаем здесь одно из современных зол, на котором не будем особо останавливаться. Но мы скажем об этих ученых обществах то, что сказали о самих науках: ни одна крупная теория не приводит в гармонию их трудов. Входящие в их состав члены собираются в одном и том же зале, но, не имея никакой общей идеи, они не принимают никакого общего труда; все они носят одинаковые костюмы, но одна лишь вывеска имеет характер единства, внутренней же симпатии, которая влекла бы их друг к другу, нет. между ними. Каждый особняком занимается исследованиями, без сомнения, весьма полезными и интересными, не заботясь, однако, о том, может ли осветить его изыска-

* Ньютон умер в 1727 г. Закон Берцелиуса и Деви (Devu) распространяется, по-видимому, только на неорганические тела.

ния какая-либо смежная наука*. Некоторые физики отказываются от объяснения Ньютона в ПОЛЬЗУ объяснения Гюйгенса и физическая отрасль науки участвует, так сказать, одна этой перемене. Что касается наук о морях, как и наук политических, то они даже не представлены в нашей Академии⁴.

В результате этого порочного устройства ученых корпораций, отсутствия интеллектуальной иерархии, самая почтенная академия не считает своей неперемнной задачей определение того, какие научные приобретения сделаны и какие еще остается сделать; постановку проблем, которые важно решить, оценку полученных результатов и усилий, которых они потребовали,— одним словом, быстрый и планомерное руководство работами в целях совершенствования. Она может, пожалуй, предложить несколько мизерных премий, чтобы получить решение того или иного, в проса, но если публика не откликается на призыв как это иной раз бывает, то решение проблемы откладывается на неопределенный срок, и шаг, без сомнения, необходимый, ибо

* Один из самых разительных примеров в этом роде дала химия: многие органы человека и животных были подвергнуты анализу без участия какой бы то было физиологической теории, и несомненно, что а продолжительные, трудные и подчас неприятные работы могут при такой обособленности дать только несовершенные результаты. Мы приводим этот пример лишь как один из многих других в том же роде.

так значилось в программе, остается не совершенным*.

Таковы различные причины, которым надлежит приписать бесплодность наших академий. Очевидно, их основание было связано скорее с намерением дать вознаграждение и место отдохновения людям, с честью прошедшим научное поприще, чем создать работающие ассоциации, призванные организовать и централизовать научные усилия. Поэтому мы и видим, что лишенные действительного начала, не будучи авторитетны распределять труд и судить о его плодах, они получают лишь незначительные результаты даже тогда, когда в их состав входят высоко одаренные люди. Чего же можно ожидать от этих академий, когда они состоят почти исключительно из ученых, посвятивших себя трудам о частных и в особенности практике?

То, что происходит на наших глазах, есть следствие отмеченного выше не порядка. При отсутствии официального учета установленных открытий отдельные ученые ежедневно

* Академия наук дошла, наконец, до того, до чего она должна была быть доведена ее порочной организацией: так как научные открытия давно уже совершаются помимо нее, то она не решается больше руководить учеными, направлять их на те пути, на которых должны быть одержаны новые успехи; она фактически вышла в отставку с того момента, как не побоялась раскрыть свое бессилие, предложив премии за лучшие научные труды, без указания соискателям определенного объекта, определенного вопроса, подлежащего разрешению.

рискуют повторить опыты, уже произведенные другими, а между тем осведомленность этом отношении избавляла бы их от опытов, нередко столь же утомительных, сколь бесполезных и тем самым облегчала бы им движение вперед. Прибавим, что у них нет такого чувства полной уверенности, мысль о конкуренте преследует их; другой, быть может, собирает жатву с того же поля, что и они, и, как говорится, предупредит их; надо прятаться, спешить, делать торопливо и врозь работу, требующую медлительности и содействия ассоциации. Словом, со всех точек зрения мы видим неудобства, вытекающие из организации, предоставляющей совершенствование научных теорий индивидуальным попыткам. Академия не управляет прогрессом она довольствуется тем, что регистрируют его.

Мы уже сказали, что большинство ученых посвятило себя практике. Там, где их существование не обеспечено социальной предсказательностью, такой отказ от чисто теоретических работ понятен, ибо для того, чтобы отдалиться им, нужно, чтобы случайность происхождения дала человеку и богатство, и высокую одаренность — два условия, весьма редко осуществляющиеся в действительности. Нельзя сказать, чтобы действительность не вознаграждала иной раз ученых, будучи в выс-

шей степени некомпетентным; оно старается использовать их в школе, на факультетах, в арсеналах и т. д., всегда

отнимая у них практикой время, весьма ценное для теоретических занятий. Остается, следовательно, благородный и великий источник синекур; но кому же захочется купить такой ценой преимущество спокойной работы? Какой возвышенный ум согласится получить должность, которой он не выполняет, когда он сознает за собою настоящие права быть оцененным? К чему оскорбительное слово *милость* там, где все должно выражаться словом *справедливость*? Сверх того, в обмен за милость чуждая науке власть требует от ученого, приниженного до роли просителя, полного политического и морального рабства; ему приходится выбирать между своей любовью к науке, т. е. к прогрессу человеческого разума, и любовью к самому себе.

Нам скажут, надо полагать, что общество получает достаточные компенсации за указанные неудобства: ученые, вынужденные ради существования отдаваться прикладным наукам делают, несомненно, чудеса в этом направлении. Такая мысль естественно приходит на ум, но если мы проверим ее на фактах, то найдем, что служебные обязанности в общем плохо выполняются и чудес нигде не видно. К работе, которую человек не любит, применяются отвращение и скука; жизнь протекает в сожалениях, и высокие дарования проходят по земле и гаснут, принося обществу лишь малую долю тех услуг, которые они могли бы оказать. Предположите, что способному инженеру поручено измерить, со-

считать и разбросать по большой дороге гряды камней: весьма вероятно, что эта работа будет выполнена им хуже, чем каким-либо второстепенным работником, а гораздо более важная задача, к которой он, возможно, был призван, так и останется невыполненной. Поскольку мы ведем сейчас речь о прикладных науках, то не очевидно ли, что первое самое большое приложение науки следовало бы сделать к преподаванию? Однако между ученой корпорацией и корпорацией преподавательской существует полное расхождение, не боясь согрешить против истины, можно сказать, что они говорят на разных языках. Не принимается никаких общих мер к тому чтобы научный прогресс по мере его достижения переходил непосредственно в область воспитания; нет, наконец, широкой и надежной лестницы, по которой можно было бы спускаться с высот теории к практике.

Таким образом, отнюдь не желая умалить значение людей, которые своими неустанными трудами возымели большие заслуги перед существом, хотя им и далеко до Декартов, Паскалей, Ньютонов и Лейбницев; не имея стремления поносить их труды, нередко предполагающие незаурядное дарование, — мы вынуждены, однако, признать, что ни одна крупная философская мысль не доминирует в современных научных концепциях и не координирует их. Во всей этой массе мы не можем обнаружить ничего, кроме богатой коллекции частных фактов; это — музей прекрасных

медалей, еще ожидающих руки, которая классифицирует их. Путаница в умах захлестнула самые науки, и можно сказать, что они являются прискорбное зрелище полной анархии, кажем в заключение, что именно в отсутствии единого социального воззрения следует указать корень зла и что с открытием единого мировоззрения будет найдено средство против зла.

Промышленность

Чудеса промышленности превозносились, быть может, еще больше, чем чудеса науки; попытаемся дать оценку усилиям, которые были предприняты в этом направлении.

Как и в отношении наук, мы и здесь не анем отрицать ни одного из достигнутых пехов. Ясно, что науки, получившие в последнее время прикладное направление, должны были осветить некоторые отрасли технологии; столь же очевидно, что, пользуясь ими трудами наших предшественников, мы должны были превзойти их. Вопрос заключается, следовательно, не в том, имеются ли промышленности завоевания; мы приветствуем их не менее, чем кто бы то ни был. Для нас важно другое; исследовать, не могло ли ее движение по пути улучшений происходить гораздо быстрее, чем оно происходит в действительности. Нам приходится, таким образом рассмотреть три главных аспекта промышленности: 1) технологическую часть;

2) организацию труда, т. е. распределение трудовых усилий для целей производства соответственно с нуждами потребления, 3) отношения между работниками (*travailleurs*) и владельцами орудий производства.

При современном высоком уровне технологии и промышленности последняя должна бы представлять собой в технологическом отношении вывод из первой, непосредственное приложение ее данных к материальному производству, а не простую совокупность приемов,

более или менее подтвержденных опытом. Между тем ничего не предпринимается для того, чтобы заставить промышленность сойти с узких путей, по которым все еще движется, и поднять промышленную практику на высоту научной теории. В этой области также все предоставлено ненадежным случайностям индивидуальных знаний, ли не единственным средством, употребляемым промышленниками для оценки и сопоставления производств, нередко являются многолетние, часто убыточные опыты, которые каждый из них принужден начинать в ... так как вследствие конкуренции каждый заинтересован в том, чтобы держать в свои открытия и таким путем сохранить собою монополию на них. Если между теорией и практикой происходит сближение, это совершается случайно, изолированно и в

неполной мере.

Несмотря на эти помехи, усовершенствования бесспорно пробили себе дорогу;

жет подсчитать, во что они обошлись? только напрасных трудов, сколько загубленных капиталов и сколь горестна мысль, что основатели прекраснейших промышленных предприятий редко пожинали плоды! В промышленности, как и в науке, мы находим лишь разрозненные усилия; единственное зство, господствующее над всеми,— это эмпиризм. Промышленник мало заботится об интересах общества. Его семья, его орудия производства и личное богатство, которое он стремится приобрести,— вот его человечество, его вселенная и его бог. В тех, кто подвизается на одном с ним поприще, он видит только врагов; он их поджидает, он выслеживает их, все свое счастье и гордость он видит в том, чтобы разорить их. Наконец, в чьих руках находится большинство мастерских и орудий промышленности? Разве они отданы людям, которые могли бы извлечь из них наибольшую пользу в интересах общества? Конечно, нет. Ими обычно распоряжаются неспособные к управлению люди, и до сих пор незаметно, чтобы личный интерес побудил этих управляющих научиться тому, что им следовало бы знать.

Не менее серьезные неудобства обнаружены в организации труда. Промышленность, как мы сказали, располагает теорией, и можно было бы думать, что она покажет нам, каким образом производство и потребление в каждый данный момент могут и должны быть приведены к гармонии. В действи-

тельности сама эта теория является главным источником беспорядка: экономисты ставили перед собой, по-видимому, следующую проблему:

При наличии правителей более невежественных, чем управляемые: исходя, сверх того из предположения, что эти правители не ко не благоприятствуют подъему промышленности, но стараются напротив, чини помехи, и что их уполномоченные - прирожденные враги производителей, спрашивается, какая промышленная организация является наиболее подходящей для общего

Laissez faire, laissez passer! — таково необходимое решение; таков был единственный общин принцип, который они провозгласили. Достаточно известно, под чьим пнем это правило было выдвинуто, оно на себе печать своего времени. Экономисты полагали, что они могут решить, таким разом, одним росчерком пера все проблемы, связанные с производством и распределением богатств; осуществление этого великого правила они доверили личному интересу, не подумав о том, что каждый отдельный индивид, как бы проницателен он ни был, не в состоянии, оставаясь в своей сфере, так сказать, глубины долины судить об общем виде открывающемся только с самой высокой вершины. Мы являемся свидетелями бедствий, которые уже повлек за собою этот призыв, вызванный обстоятельствами, и если бы была надобность привести яркие примеры, то

великое множество их засвидетельствовало бы бесплодность теории, долженствующей оплодотворить промышленность. Если в настоящее время и установлены некоторые исключительные привилегии, некоторые монополии, то большинство из них существует только в законодательных предписаниях, фактически же налицо большая свобода, и формула экономистов применяется повсюду во Франции и в Англии, И что же, какую картину мы наблюдаем? Каждый отдельный промышленник, не руководствуясь никаким иным компасом, кроме личных наблюдений, всегда неполных, как бы обширны ни были его связи, старается осведомиться о нуждах потребления. Стоит распространиться слуху, что та или иная отрасль производства представляет прекрасные шансы, и все усилия, все капиталы устремляются к ней; каждый бросается вслепую, не давая себе труда подумать о соблюдении надлежащей меры, о необходимых границах. Экономисты рукоплещут при виде такого многолюдного состязания, ибо по большому числу его участников они заключают, что принцип конкуренции будет широко применен. Увы! что получается в результате этой смертельной борьбы? Несколько счастливых торжествуют... но ценою полного разорения бесчисленных жертв.

Неизбежным следствием этого чрезмерного производства в определенных направлениях, их не связанных между собой усилий

является беспрестанное нарушение равновесия между производством и потреблением сюда бесчисленные катастрофы, торговые кризисы, приводящие в ужас спекуляторов, приостанавливающие осуществление лучших проектов. Мы видим, как люди честные и трудолюбивые разоряются и как подобные примеры больно задевают нравственное чувство, так как они наводят на мысль, что для преуспевания требуется, по-видимому, нечто большее, чем честность и Люди становятся ловкими, изворотлив хитрыми и осмеливаются даже хвастать этим; раз этот шаг сделан, человек погиб.

Прибавим далее, что основной при *laissez faire, laissez passer* предполагает существование постоянной гармонии между личным интересом и интересом общим, — положение, опровергаемое бесчисленным множеством фактов. Приведем один из тысячи: не очевидно ли, что если общество извлекает выгоду в введении паровых машин, то рабочий, живущий трудом рук своих, не может присоединиться к мнению общества? Ответ на это возражение известен; ссылаются, например, на книгопечатание и констатируют, что в нем занято сейчас больше людей, нежели было переписчиков до его изобретения. Они тогда делают вывод: итак, все в конце концов выравнивается. Чудесный вывод! Но до подобного завершения этого процесса выравнивания

что мы будем делать с тысячами голодных людей? Утешат ли их наши рассуждения?

Станут ли они терпеливо переносить свое бедственное положение потому лишь, что статистические выкладки засвидетельствуют, что через известное число лет у них будет хлеб?

Разумеется, механика тут не причем, она должна творить то, что ей внушает ее гений. Но социальная предусмотрительность должна приводить к тому, чтобы завоевания промышленности не походили на военные завоевания; погребальные напевы не должны больше примешиваться к ликующим напевам.

Третья точка зрения, под углом которой можно рассматривать промышленность, это — отношения между работниками и владельцами орудий производства или капитала. Но вопрос этот связан с самим существом собственности и будет еще для нас предметом углубленного рассмотрения, так как он представляет собой один из общих аспектов социальной реформы, которую принесет новая доктрина; поэтому, не забегая вперед, мы не могли бы бросить в этом отношении взгляд на характер современных обществ. Заметим лишь, что земли, мастерские, капиталы и т. д. могут быть употреблены с наивозможно большей выгодой для производства только при одном условии: если они будут вверены в руки тех, кто более всего способен извлечь из них пользу — иными словами, в руки людей, наделенных индустриальными способностями. Между тем в наше время одни способности являются еще слабым

основанием для получения кредита, для этого необходимо уже быть собственником. Случайность происхождения слепо распределяет орудия труда, и если наследник, праздный собственник, вверяет их в руки умелого работника, то понятно, что лучшая часть продукта и основная прибыль идет в пользу неспособного или бездеятельного собственника*. Не напрашивается ли из всего предшествующего вывод, что если бы эксплуатация земного шара была урегулирована, следовательно, если бы ею руководила какая-нибудь общая идея, то результаты, вызывающие наше восхищение, были бы значительно превзойденными и притом не сопровождалась бы теми бедствиями, свидетелями которых мы ежедневно являемся?

Таким образом, и здесь нам не хватает единства, ансамбля. Люди, стоящие во главе общества, бросили клич: Спасайся, кто может! — и все члены этого великого целого разбрелись в разные стороны со словами: каждый *за себя*, бог - ни за *кого!*

И з я щ н ы е и с к у с с т в а

Мы показали отсутствие общей цели области науки и промышленности; нам остается только бросить взгляд на изящные ис-

* При рассмотрении вопроса о собственности мы покажем, как праздный собственник эксплуатирует управляющего работами, а гот в свою очередь эксплуатирует рабочего.

кусства, чтобы, таким образом, охватить все виды человеческой деятельности.

Когда переносишься мысленно к векам Перикла, Августа, Льва X, Людовика XIV и затем окидываешь взором XIX столетие, то нельзя не усмехнуться, и никому не приходит в голову проводить между ними параллель; на этот счет, по крайней мере, все единодушны. Правда, газеты утешают нас в этом печальном для нас положении, уверяя, что мы в высшей степени позитивны, но такое объяснение может служить лишь слабым утешением для людей, знающих истинный смысл этого магического прилагательного, которым так странно злоупотребляют.

Мы со своей стороны также признаем упадок и прозябание изящных искусств, но мы приписываем его причинам коренного характера, и обратиться к этим причинам тем более интересно, что позже нам придется показать, какова подлинная роль изящных искусств и как широко мы понимаем этот термин*.

Изящные искусства являются выражением чувства, т. е. одного из трех видов бытия человечества, которое без них было бы лишено языка; отсутствие их составило бы пробел в личной жизни, как и в жизни общественной. Именно они побуждают человека к общественным актам; увлекаемый ими, он начинает

* См. сочинение под заглавием: «Aux Artistes sur le passe et l'avenir des Beaux arts» (Doctrine de Saint-Simon). Paris, 1830 an bureau du Globe, rue Monsigny, № 6.

смотрят с предвзятым и пристрастным взглядом на сцену. Они являются источником самоотверженности, пылких и нежных привязанностей. И когда в наши дни признают с некоторым самодовольством их неполноценность, то мы видим в этом прискорбное признание черствости общественных чувств, даже чувств индивидуальных. До какой степени их низводят, когда выражать их считают бесплодным делом, когда их принижают до степени простого развлечения?

Изящные искусства имеют две стороны: поэзию или воодушевление, и форму, или технику. Первая, несомненно, определяет вторую; между тем мы можем наблюдать, как поэзия исчезает, а техническое совершенство переживает ее. Теперь почти исключительно занимаются формой; на роду чувств, истолковательницей которых должна быть, едва обращают внимание оцениваем произведение искусства независимо от его воздействия на наши симпатии. Другими словами, мы рассматриваем его с стороны. Вот почему изящные искусства застают нас равнодушными и такими оставляют нас. Добавим мимоходом, что настоящее время истинные художники, живого вдохновения, отражают только общественные чувства, ибо единственные поэтические формы, в которых еще находят воодушевление, — это сатира и элегия. да, элегия теперь — язык нежных избранных натур; но и сатира, и

одна направлена против социальных чувств: страстным ли выражением отчаяния или выражением презрения, которое своим адским смехом старается осквернить все чистое и святое. Однако, не останавливаясь больше на этом сюжете, открывающем столь широкое поле для критики настоящего, вникнем глубже в социальные отношения, общие и индивидуальные; мы найдем в них причину упадка изящных искусств и в то же время убедимся в действительном существовании здесь неурядицы, о которой можно было догадаться уже по нарисованной нами картине научной и промышленной деятельности.

Выше мы объяснили, что следует понимать под терминами *органические эпохи*, *критические эпохи*; мы сказали, что язычество до Сократа и христианство до Лютера представляли два органических состояния. Набросаем егю некоторые из их особенностей.

Фундаментом, на котором покоились общества древнего мира, было рабство. Война была для этих народов единственным средством добывания рабов и тем самым — предетов, способных удовлетворить материальные потребности жизни. У них самые сильные люди были также и самыми богатыми; их искусство ограничивалось умением грабить, горе слабому, которому не по силам было вынести тяжесть успехов!

Господствующей мыслью этих народов, их повседневной целью была война; все их страсти, все их чувства откликались на призыв

к войне, и их самые сильные душевные движения брали свое начало в любви к отечеству, в ненависти к чужеземцу. Родная мать воздавала хвалу богам, когда ей приносили назад щит ее сына. Пройдите всю Грецию, пройдите всю Италию — всюду вы услышите только бряцание оружия, и Рим не перестал быть Римом, когда храм Януса был закрыт.

Надо ли еще удивляться могуществу изящных искусств в эту эпоху? Одна страсть воодушевляет все сердца, одна цель направляет их. одна мысль толкает их к самопожертвованию. А самопожертвование и поэтическое вдохновение неразлучны.

Позднее, когда христианство, подготовленное школою Сократа, уничтожило рабство, когда ценою тысяч страданий евангельские предписания, примененные к политике под названием *католичества*, дали обществу новую организацию, гармонизировавшую с его потребностями, *вера стала духовным отечеством* общим для всех чад Христовых. И несмотря на взаимную ненависть и эгоизм народа новое отечество увидело возрождение новой любви; тогда же мир вновь узрел великие акты самопожертвования и великие проявления вдохновения. Восемь последовательных крестовых походов на незначительном протяжении двух столетий не ослабили ния наро-

дов. Века Льва X и Людовика X венчают великое дело католичества и феллизма, которым суждены были уже тогда

немногие мгновения бытия, или, скорее, агонии, ибо по прошествии пятнадцати столетий средневековая организация оказалась со всех сторон под угрозой.

Духовенство, неспособное продолжать свою божественную миссию, покинуло слабых, которых должно было защищать, и подчинилось преемникам Кесаря. С другой стороны, дворянство, которое под названием рыцарства также посвятило себя защите слабою, стало искать своих подопечных в блестящих приходящих великого короля. И миряне, овладев мало-помалу наукой и богатством, низвергли при помощи этих могущественных орудий нечестивую коалицию, верившую в вечность эксплуатации человека человеком.

Здесь не место описывать длительную борьбу, которая отменой крепостного права подготовила полное освобождение человека; все мы знаем, каков был исход этой борьбы, начатой уже в конце XV века. Мы живем среди обломков средневекового общества, жилых обломков, еще выражающих вокруг нас некоторые сожаления о прошлом. Напоминая эти факты, мы не преследовали иной цели, кроме определения отличительного характера нашей эпохи и констатации того обстоятельства, что мы живем в одну из эпох, обозначенных нами названием *критических*.

Критические эпохи, как и великие бегства поля сражения отмечены печатью эгоизма, уничтожены все верования, угасли все общественные чувства, у священного огня нет

больше весталок. Поэт не является больше божественным певцом, поставленным в первых рядах общества, чтобы служить человеку истолкователем, давать ему законы, исправ-

лять его отсталые наклонности, раскрывать ему радости будущего и поддерживать и поощрять его прогрессивное шествие; поэт находит лишь мрачные песни. То он вооружается бичом сатиры, его поэтический жар ищет себе выхода в исполненных гнева словах, он обрушивается на все человечество, внушает человеку недоверие, ненависть к себе подобным; то ослабевшим голосом он воспекает в элегических стихах прелесть одиночества, предается туманным грезам, счастье в уединении; а между тем, если человек, соблазнившись этими печальными напевами, бежал от себе подобных, то вскоре от них нашел бы только отчаяние. Но они

более не в силах даже увлекать, ибо к ___ду критической эпохи человека не требует больше обращения к его сердцу; необходимо показать ему, что его имущество в опасности. Посмотрите в самом деле на нынешних прей критики: когда они захотели придать популярность своей системе, разве они звали наших поэтов, живописцев, музыкантов? Какую пользу они извлекли бы из и Они могли затронуть в нас лишь те страсти, которые отзываются на личные вожеления. Поэтому они вызвали призрак феодализма, они изобразили его нам вооруженным с головы до ног, чтобы одной рукой вновь зап

церковную десятину, а другой — вырвать у купивших национальные имущества их земельную собственность*. В недавнее время, когда было предпринято жестокое нападение на свободу печати, на палладиум наших вольностей (как принято выражаться на языке трибуны), то разве для ее защиты прибегли к общим, моральным соображениям? Очень мало. Кому неизвестно, насколько ограничено число людей, готовых вступить за так называемый общий интерес! Поэтому благоразумно обратились к чему-то более позитивному и составили петиции — к выгоде издателей, типографов, торговцев бумагой, брошюровщиков, наклейщиков и т. д.⁶

Да, скажем прямо: изящные искусства не имеют больше голоса, когда у общества утрачена любовь; поэзия не служит истолковательницей эгоизма. Для того, чтобы истинный художник мог открыться, ему нужен хор, который вторил бы его песням и воспринял изливания его души⁷.

* Мы далеки от утверждения, что ретроградные попытки, на которые обратили внимание нынешние руководители общественного мнения, были лишь плодом их пугливого воображения и что бесполезно было противопоставить это препятствие слепым сторонникам прошлого. Мы хотим просто констатировать следующий факт: в критические эпохи взволновать массы можно только посредством страха, но не надежды; посредством ненависти, но не любви; личного интереса, но не долга; наконец, эгоизма, но не самопожертвования.

Но если общественных привязанностей не существует, то, быть может, весьма развиты зато привязанности личные? Хотя современное поколение гордо укрывается в этой области, когда его обвиняют в эгоизме, далеко нельзя сказать, чтобы оно и здесь не заслуживало такого упрека. Как завязываются теперь нежные узы, посредством которых один пол соединяет себя с другим, чтобы делить сообща горе и радости жизни? Все мы знаем, что такое удачный брак, в противоположность так называемому нелепому браку. Бедные девушки! Вас продают с торгов, как невольниц; в праздничные дни вас наряжают, чтобы показать в наиболее выгодном свете; часто ваш отец в своем бесстыдстве кладет на весы ваши прелесть, чтобы дать немного меньше денег недостойному супругу, торгующему вас. Несомненно — и мы с радостью заявляем об этом — есть люди, отвергающие этот гнусный торг, но их немного и люди смеются над ними.

Можно было бы думать, что отцовские сыновние привязанности, рождающиеся, так сказать, вместе с нашим появлением на свет не таковы, чтобы подвергнуться столь сильному искажению. На самом деле, однако, в симпатии связаны общей цепью: причина, ослабляющая одни, действует также на другие: чтобы достигнуть своего полного развития чувство должно получить все свое применение. Разве мы не видели, что философия ханжески подвергла сомнению взаимные обязанности родителей и детей? А наследники?

Разве они никогда не смягчали сожалений, никогда не осушали слез?

Все эти виды зла, все эти бедствия мы констатируем с болью в душе, но без горечи. Мы говорим, что они разъедают общество и уничтожили бы его, если бы были ему присущи. Упомянув об эгоизме, мы коснулись глубочайшей язвы современных обществ; он одинаково царит среди наций, как и среди отдельных индивидов. В средние века благодаря существованию религиозных уз можно было не раз наблюдать, как народы Европы, несмотря на взаимную национальную вражду, поднимались вместе, чтобы идти к какой-нибудь общей цели. Государи наших дней пытались восстановить между собой сообщество, но их усилия имели результатом только своего рода пародию на прошлое, украшенную титулом Священного союза. Этот европейский договор, основанный на узких интересах и задуманный исключительно из страха перед революционным движением, лишенный того дуновения жизни, которое оживляло старую конфедерацию, был осужден на эфемерное существование. Он достиг не больше того, что в разные времена тщетно пытались сделать для прочного сохранения европейского равновесия, — задачи неразрешимой, пока народы Европы не будут чувствовать себя объединенными одной общей целью. До тех пор пока не наступит такое время, члены великой европейской семьи, исполненные взаимного недоверия, всецело занятые собою,

враждебные всякой власти, не желают связывать себя с их судьбою (которой они не знают, но ищут) не будут себя чувствовать связанными, как во времена духовного единства христиан, одним и тем же долгом, одним и тем же нравственным законом.

Мы скорбели по поводу недавних несчастий Италии и Испании Мы видели попытки этих народов освободить себя и принять форму правления, которая нам как будто нравится. Что же мы сделали для них? Высказывали бессильные пожелания. Греки, истребляемые тысячами, зывали к нашему состраданию, разве мы выступили в крестовый поход? Нет, пришлось устраивать увеселения и концерты, чтобы вырвать у нас от нашего избытка скудную милостыню!

Быть может, скажут, что правительства подавили порыв европейских наций и что не будь препятствий с их стороны, мы полетели бы на помощь к нашим братьям и отомстили бы за их поражение. Но Америка, эта образцовая страна, которая не может сослаться в качестве банального предлога на правительственное принуждение, что сделала она? К ее стыду приходится сказать, что она заключила с турками контракт о снабжении продовольствием! Некоторые части Ю.

* Что ответили бы мы средневековым втр если бы те потребовали от нас отчета о причастии, которую мы проявили в этом случае? Что ответили бы мы им, если бы они потребовали отчета в сохранении верности присяге?

Америки хотели сбросить с себя испанское иго, еще тяготеющее над ними. Что же Соединенные Штаты, преисполненные горьких воспоминаний о своей метрополии—Соединенные Штаты, где слышен еще звон недавно разбитых цепей, способствовали ли они в чем-либо освобождению своих соотечественников? Нет. Предложили ли они, наконец, республике Гаити свою финансовую помощь для уплаты выкупа? Нет и нет. Этот свободный народ, который, как говорят, стряхнул с себя все предубеждения старой Европы, народ, идущий впереди всех народов по пути цивилизации, заявил протест против существования народа вольноотпущенников, против нации негров.

Разумеется, нарисованная нами картина современной эпохи была бы ужасна, если бы она была изображением окончательного состояния человечества. К счастью, ему уготовано лучшее будущее, и настоящее, несмотря на его пороки, чревато этим будущим, к которому обращены все наши упования, все наши помыслы, все наши усилия.

Чтобы разрушить общественный строй, ставший невозможным, провозгласили свободу, и ни одна идея не могла оказаться более могущественной в борьбе против иерархий, *справедливо потерявших* ** уважение наро-

* Седьмая часть американского населения возделывает в качестве рабов эту страну свободы. ** Мы подчеркнули эти слова, чтобы указать на лицемерие, которое, по-видимому, приписывают нам желание вернуть прошлое только потому, что мы умеем воздавать ему должное

дов Но когда эту идею захотели применить в Европе, либо в Америке для создания нового общественного строя, то это привело к обрисованному нами положению. Люди предполагали как будто, что для решения проблемы достаточно поставить знак минуса перед всеми членами средневековой формулы, и это странное решение могло породить только анархию, публицисты нашего времени по-прежнему верят философам XVIII века, не замечая, что на них возложена противоположная миссия. Они продолжали атаку с тем же жаром, как если бы враг был еще налицо, они продолжали изо всех сил бороться с призраком.

Пришло ли время для создания нового социального учения³. Все возвещает об этом, и глубина недуга, и самая бесплодность усилий некоторых филантропов, и тревожные возгласы людей возвышенного ума. Уже несколько лет, как Г. Гизо, и в особенности г. Кузен, возвещают нечто иное, чем XVIII век, который в течение долгого времени провозглашался в качестве последнего слова прогресса человеческого ума.

В цитируемом ниже постскрипуме Сен-Симон имел случай вынести благодарность первому из них; второй, как известно, представил

* «Существуют люди,— заявил Сен-Симон,— зывающие большие услуги изобретателям, так и публике:

это популяризаторы; и изобретители, публика должны бы всеми силами поощрять их. Вол знакомит с критическими идеями Бейля; г. Гизо пуляризирует опубликованные мною в «L'Organisateur»

несколько лет тому назад в качестве окончательного вывода философии концепцию представительного образа правления, т.е. политического состояния, осуществленного и первой четверти XIX века. Что касается нас, не приемлющих ни средневековья, ни конституционализма, то мы переступаем границ настоящего, и нынешний режим, даже видоизмененный, представляется нам только временным, ибо недуг, которым он поражен, лежит в самой его основе. Мы отнюдь не считаем себя, однако, неблагодарными по отношению к защитникам этой системы; мы знаем, что они противопоставляют реакционным попыткам старых общих интересов спасительное препятствие и служат, таким образом, противовесом общественной группе, которая могла бы внести неурядицу в среду европейского населения, более всего нуждающегося в мире. Но мы не ждем от их стараний никакой пользы для организации народов, ибо кристика, во всем подобная войне, имеет только

соображения относительно разделения нашей нации на две народности, относительно союза королевской власти с галлами и относительно ошибки, которую совершил Людовик XIV, когда он покинул галлов, чтобы снова вступить в союз с франками

Я прошу г. Гизо принять мою искреннюю благодарность; прошу его со вниманием прочесть это послание; для публики, как и для меня, весьма желательно, чтобы он усвоил его содержание с такой же основательностью, с какой он усвоил мои первые идеи о развитии королевской власти во Франции» (H. de Saint-Simon. *Systerae Industrie!*. 1821, p. 153).

разрушительную силу и сейчас ее миссия завершена. Близится время, когда народы покинут знамена легкомысленного и беспорядочного либерализма, чтобы любовно вступить в состояние мира и счастья, отречься от недоверия и признать возможность существования на земле законной власти.

Внимательно обозрев общественные отношения, мы убедились, что все связи, соединившие людей в прошлом, порваны, и мы не выразили никакого сожаления по этому поводу. Мы не пролили даже слез, видя, как угасла любовь к отечеству, потому что в наших глазах она представляет собою только эгоизм наций, и потому что это чистое чувство, внушившее столько актов благородной самоотверженности и столько великодушных жер должно уступить место чувству более чистому, более возвышенному, более плодотворному, - любви ко всемирной семье человеческой. Надо ли нам отбрасывать мысли о ярме и деспотизме, вызываемые обычно в беспокойных умах словом «власть»? О, господа, благословляйте вместе с нами ярмо, налагаемое в силу убеждения и удовлетворяющее все чувства, заложенные в сердце человека; благословляйте власть, единственный помысл которой — вести народы по пути прогресса и оплодотворять все источники общественного благосостояния. Возвещаемое нами учение должно целиком захватить человека и поставить перед тремя великими человеческими способностями одну общую цель, дать им гар-

моническое направление. Благодаря ему науки дружно, по единому плану ДВИНУТСЯ ПО пути быстрейшего развития: промышленность, регулируемая в общих интересах, не будет больше представлять собой ужасающего зрелища арены борьбы; изящные искусства, вновь одушевленные живой симпатией, раскроют нам чувства энтузиазма, вызываемые общественной жизнью, умиротворяющее влияние которой отразится на самых интимных радостях личной жизни.

*Лекция в т о р а я **

ЗАКОН РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПРОВЕРКА ЭТОГО ЗАКОНА НА ФАКТАХ ИСТОРИИ

Мы нарисовали, господа, тягостную картину; мы должны были думать при этом только о том, чтобы быть правдивыми. Нам нелегко было поставить вас лицом к лицу с обществом, каким его сделал критицизм, и раскрыть перед вами его язвы, дабы заставить вас почувствовать необходимость и своевременность новой общей доктрины. Мы избавили вас от тяжелых чувств, испытываемых при вникании в интимную жизнь современных семей, лишенных веры и верований, всецело занятых собою и связанных с обществом только узами

* Прочитана 31 декабря 1828 г.

налога. Мы обошли молчанием ту кровавую эпоху, когда возмущившаяся команда разбила руль государственного корабля, до того как построила вместо него лучший. Мы могли бы показать вам, как алтарь был осквернен скандальной конкуренцией культов или опрокинут атеизмом, как обломки скипетра разобрали тысячи рук, подобно тому как после победы солдаты делят добычу, доставшуюся им от побежденного. Но мы полагали, что однажды разочаровавшись в чуде свободы, во имя которой все дозволено, ваши умы, как и наши, сумеют оценить все вытекающее из этой пагубной метафизики. Возвестив вам учение, дающее решение великой социальной проблемы, мы спешим изложить его перед вами, чтобы вернуть вашу мысль к утешительным идеям, чтобы снять с вас тревоги и беспокойство, которые волнуют всех людей ума в момент, когда общество готовится зажить новую жизнью и облечься в новые формы.

Мы с самого начала сказали, что концепция Сен-Симона может быть подтверждена историей; не ждите от нас ни обсуждения частных фактов, ни разъяснения деталей, занесенных в малоизвестные хроники. Мы направим ваше внимание только на общие законы, управляющие всеми этими фактами, — законы столь же простые и постоянные, как те, которым подчинена организация человека. Чем больше они были скрыты от вас до сих пор хаосом событий и их бесчисленными пер-

трубациями, тем больше вы проникаетесь восхищением перед человеком, раскрывшим их нам на своем смертном одре.

У Сен-Симона была миссия — открыть эти законы, и он завещал их миру, как свое лучшее наследие. На нас, его учениках, возложена миссия продолжить его откровение, развить его высокие концепции и распространить их.

Глава нашей школы, господа, не избежал преследований, составляющих, по-видимому, своего рода печальную привилегию всех новаторов. Вы представляете, как должен был страдать этот пылкий и возвышенный гений когда он, обладатель и провозвестник закона развития человечества, вызывал только насмешки. Он указал новый путь ученым, а они всячески выражали ему свое презрение; благодаря ему весь мир был, можно сказать, вторично дан людям, а он умер заброшенный и в крайней нужде. Академическая чернь преследовала его улюлюканьем, его поили желчью и хлестали бичами XIX столетия — нищетою и сарказмом. Можно представить себе негодование этого непризнанного гения, выбивающегося из сил под тяжестью давящего над ним презрения; прибегающего ко всевозможным формам, чтобы поразить умы, и всегда безуспешно; обращающегося ко всем людям разума и постоянно отсылаемого на слепой суд общественного мнения. Отвергнутый теми, кого он вскормил, кого он усыновил, Сен-Симон обращает свои последние взоры к бу-

душему, чтобы встретить улыбку и получить благословение.

Такова, господа, вкратце жизнь Сен-Симона; таков был удел того, кто имел право на венец, присуждаемый признательным человечеством своим благодетелям, а получил лишь терновый венец мученика. И вот, невзирая на такую жизнь, полную унижений и жертв, этот человек, страстно любивший человечество¹, высоко поднялся над отвергавшим его веком и, пролагая себе новый путь среди окружавших его холодных сердец и ограниченных умов, начал пророчествовать о будущем, подтверждая свои пророчества совершенно новыми воззрениями на прошлое.

Человечество, сказал он, есть развивающееся коллективное существо: это существо росло из поколения в поколение, подобно тому как растет человек со сменой возрастов. Оно росло, подчиняясь закону, который является его физиологическим законом — это закон прогрессивного развития.

Наиболее общий факт в поступательном движении обществ, факт, содержащий в себе все другие, это — прогресс нравственный концепции, в силу которой человек чувствует за сооюз социальное назначение. Политические учреждения представляют практическое осуществление этой концепции, ее приложение к установлению, сохранению и развитию социальных отношений.

Основная классификация фактов прошлого, которая становится в таком случае необхо-

димой, это указанное уже нами в прошлой лекции деление на эпохи органические и критические. Органические эпохи являют зрелище единения между членами все более и более расширяющихся ассоциаций, они вызывают сочетание усилий этих ассоциаций для достижения общей цели; напротив, эпохи критические полны неурядицы, разбивают старые социальные отношения и в конце концов приводят повсюду к эгоизму. Прибавим, однако, что критические эпохи были всегда полезны, необходимы, так как, разрушая устаревшие формы, которые долгое время способствовали развитию человечества, но затем стали помехой для него, они облегчали познание и осуществление лучших форм.

Далее следуют три крупных вторичных ряда, отвечающие трем родам человеческой деятельности: чувству, интеллекту и материальной деятельности. Первый ряд охватывает все факты из области развития человеческих симпатий, представленных людьми, которые, будучи крайне воодушевлены ими, сумели сообщить их массам. Члены второго ряда — это ступени непрерывного прогресса наук, отмечающие, таким образом, развитие человеческого ума. Наконец, третий ряд, отвечающий материальной деятельности, представлен в прошлом двойным действием войны и промышленности, в будущем же — одной промышленностью, так как эксплуатация человека человеком будет заменена гармоническим воздействием людей на природу.

Сен-Симон показывает нам, как вначале была в самой высокой степени развита ненависть семьи к семье, города к городу, нации к нации. Правда, все эти антипатии, все эти насилия проявляются главным образом вне круга ассоциации, пока еще очень узкого; но грубые обычаи, сложившиеся под влиянием ненависти к чужаку, обнаруживаются затем и внутри отечества, города, касты или семьи. В семье человек имеет право жизни и смерти над всеми окружающими его; в храме он умиляет богов кровавой жертвой; он покидает свое жилище не иначе, как вооруженный, ибо не может сделать шага, не встретив врага. Но понемногу начинают пробиваться наружу и менее дикие чувства: человек не убивает больше своего пленника, он заставляет его работать на себя, обращает его в рабство. Позже этот суровый закон победителя постепенно становится более мягким, и огромный прогресс осуществляется в тот день, когда под могущественным покровительством религии, проповедующей братство людей, на развалинах древнего мира устанавливается крепостное состояние. В настоящее время, господа, мы должны обращаться к истории, когда хотим узнать что представляет собой господин, если хотим измерить расстояние, отделявшее сеньора от крепостного. Ничто человек чувствует ужас перед кровью, вид которой долгое время приводил его в восторг; исчез аппарат варварских пыток, даже когда дело идет о на-

казании виновного; взаимная ненависть между нациями со дня на день ослабевает, и народы, готовые образовать полный и окончательный союз, являют нам великолепное зрелище человечества, тяготеющего к всемирной ассоциации.

С другой стороны, военная сила, которая прежде обожествлялась, развенчана мирным трудом.

Сен-Симон показывает нам, как грек и римлянин отдали ремесла в руки презренного раба и стыдились того, что для нас является почетным. Раб отдавал тогда господину весь свой труд. Но человек повинуется закону своего бытия, он медленно, но неуклонно выполняет его, и скоро дань раба становится меньше: под названием крепостного он отдает уже только часть продукта своего труда, и эта часть тоже беспрерывно уменьшается, пока не становится незначительной долей, которая была известна у наших предков под названием барщины, оброка, десятины. Взгляните на Европу; любовь к мирному труду сменила пыл сражений. Вы не видите больше народов, скупаемых потребностью войны; теперь с трудом отрывают человека от плуга, чтобы заставить его взяться за оружие, мечом не опоясываются больше для удовлетворения воинственного инстинкта, и Наполеон, этот гений, которого не сумел породить Рим и который явился спустя две тысячи лет, чтобы изумить Европу, не верующую в бога войны,— Наполеон, строя своих солдат

в боевой порядок, заявляет им, что они идут завоевывать мир и свободу торговли*.

В довершение картины посмотрим, как образованность, отесняемая вначале грубой силой, постепенно занимает все более высокое место. Давно прошли времена, когда грамматиста отправлялись искать на невольничьем рынке, и уже средние века являю нам в лице католического духовенства ассоциацию, в которой одни личные заслуги дают право на возвышение. Науки, ограничивавшиеся вначале наблюдением наиболее грубых явлений, расширяются, делятся в разных направлениях и, с другой стороны, координируются, систематизируются, приближаются к единству.

В наши намерения не может входить прояснение шаг за шагом развития трех проявлений человеческой личности: каждый из вас, господа, должен сам собрать свои воспоминания и сгруппировать вокруг этих обобщений все находящиеся в его распоряжении детальные факты. Для нас достаточно было показать вам, как доброжелательные чувства сменяют ненависть, как область мирного производства непрерывно расширяется за счет

* Вольтер, сознававший все успехи, сделанные в середине века, не будучи в то же время в силах освободиться от своих предрассудков, можно сказать, от своего фанатического предубеждения против средневековья, писал: «До тех пор (1498 г.) государи воевали, чтобы захватывать земли; после этого они ведут войны, чтобы учреждать конторы» (*Essai sur les mœurs*, t. III, p. 344),

военной деятельности, а науки понемногу рассеивают мрак невежества, чтобы вы были уже сами в состоянии проследить развитие человечества на протяжении органических эпох. Мы указали общие члены возрастающих и убывающих рядов, одновременное движение которых доказывает закон, открытый Сен-Симоном. В эти общие члены вы можете вставить соответствующие частные факты; образовав таким образом ряды, подчиненные предшествующим, вы можете спускаться до деталей человеческих деяний, о которых свидетельствует история, и установить их тенденцию.

Таков закон совершенствования человеческого рода*, таков метод, при помощи которого его можно проверить.

* Благодаря трудам некоторых выдающихся людей XVIII столетия вера в беспредельную совершенность человеческого рода стала теперь общераспространенной, и мы убеждены, что когда исчезнет первая пренебрежительная улыбка, с которой теперь принято говорить о Сен-Симоне, то его не преминут обвинить в плагиате; это явится доказательством того, что он еще не понят, но уже близок к тому.

Идея совершенственности, которую в общих чертах различали Вико, Лессинг, Тюрго, Кант, Гердер, Кондорсе², осталась бесплодной в их руках, так как ни один из этих философов не сумел охарактеризовать прогресс; никто из них не указал, в чем он состоит, как совершается, через посредство каких институтов явился и должен продолжаться; никто из них при наличии многочисленных исторических фактов не сумел их классифицировать, разбив на факты прогрессивные и ретроградные, расположить их в однородные ряды, все члены которых были бы связаны друг с другом сообразно закону нарастания или убывания; никому на-

Вы должны понять теперь, что отличает концепцию нашего учителя от всех других концепций о совершенствовании; вы видите, как и почему термин *совершенствование* впервые получил в его устах точный позитивный смысл; вы догадываетесь, наконец, каким образом, рассматривая, согласно его указаниям, развитие фактов в каждом из рядов составляемых историй, можно уже сейчас предвидеть будущее. Закон совершенствования настолько абсолютен, он представляет столь существенное условие жизни человеческого рода, что каждый раз, когда какой-нибудь народ, поставленный во главе человечества, приходил в состояние застоя, ростки прогресса, подавленные в нем, тотчас переносились в другое место, на почву, где они могли развиваться. И в этом случае постоянно наблюдалось, что народ, восставший против закона человечества, низвергался в бездну и погибал, как бы раздавленный тяжестью анафемы. Так объясняются явления упадка и падения империй, потрясшие мир и наполнив-

шие страхом неверующие сердца, внушив им мысль, что человечеством играет слепой рок. Нет, господа, традиция прогресса никогда не исчезала, закон совершенствования никогда не изменял себе; одно только можно было наблюдать,— что цивилизация переселяется, подобно перелетным птицам, отправляющимся в дальние страны искать благоприятного климата и атмосферы, которых они скоро не найдут в обитаемых ими странах. В настоящее время все заставляет думать, что благодаря прекращению войн, благодаря установлению режима, который положит конец насильственным кризисам, отныне не будет больше иметь места никакое попятное движение, даже частичное. Прогресс будет непрерывным и быстрым для всего человечества, ибо народы будут учить и поддерживать друг друга.

Но, быть может, скажут, не все ли равно, какое объяснение давать прогрессу, лишь бы прогресс существовал? Это объяснение представляет величайшую важность, ибо если бы было невозможно уловить связь, сцепление в последовательности фактов прошлого, то изучение истории потеряло бы всякую ценность. Здесь-то и будет уместно обратить внимание на огромное расстояние, отделяющее исторические взгляды Сен-Симона от взглядов, выдвигавшихся до него.

Философы давно уже сделали человеческий род предметов своих исследований; они изучали его историю в разные века и размышляли

конец, не было известно, что единственные элементы, представляющие интерес для будущего и проложившие себе путь в прошлом,— это изящные искусства, науки и промышленность и что изучение этого тройного проявления человеческой деятельности должно заложить основание общественной науки, так как оно служит для проверки нравственного, интеллектуального и физического развития человеческого рода, т. е. непрерывно возрастающего приближения этого последнего к единству чувства, доктрины и деятельности.

по поводу пережитых им переворотов. Но вместо того, чтобы рассматривать его как организованное целое, прогрессивно растущее согласно неизменным законам, они рассматривали его только в индивидах, его составляющих; они полагали, что в каждую эпоху своего существования он достигал полного своего развития. Поэтому они, не колеблясь, допускали, что одни и те же факты могут всегда, во все эпохи повторяться тождественно. С этой точки зрения история представлялась им только обширной коллекцией фактов и наблюдений, и если они изучали причины переживаемых человечеством переворотов, то лишь с целью извлечения правил поведения в подобном случае — вот что с большой серьезностью именуют уроками истории. С точки зрения последовательного развития очевидно, что подобные уроки могут быть только иллюзорными*: одни и те же обстоятельства так же мало могут повторяться на различных стадиях роста коллективного существа, как не могут иметь одинаковой ценности и одинакового значения одни и те же физиологические состояния в различных возрастах индивида и социальные факты, сходные на первый взгляд, но происходящие в разные эпохи. Поэтому, история, как ее изображали до сих пор, вместо того, чтобы служить опо-

* «Утверждают, — писал Сен-Симон, — что история — настольная книга королей; судя по тому, как короли управляют, их настольная книга ничего не стоит» (Memoire presente a Napoleon en 1813, p. 16).

рой для законченной и однородной системы, была лишь беспорядочным арсеналом, откуда каждый мог заимствовать оружие по своему вкусу для защиты самых противоположных взглядов. Историки превратили человека в существо абстрактное и рациональное, они видели только индивидуального человека, проявляющего себя в разных местах и в различные эпохи, и в этих различных положениях они наблюдали его только для того, чтобы разнообразить картину и извлекать отсюда сравнения; но никто из них не изучал жизни человеческого рода. Одни толкуют нам о детстве человеческих обществ, об их юности, об их возмужалом возрасте, чтобы сказать в заключение, что мы находимся уже в периоде дряхлости³, и они призывают старую, износившуюся Европу обратить свои взоры к молодой Америке⁴. Другие произносят слова *прогресс, совершенствование*, но в их сознании эта терминология не представляет никакой идеи последовательности, сцепления.

Сколько раз нам повторяли, что нации поднимаются до известного апогея славы, чтобы затем вновь погрузиться в состояние варварства! По этому поводу ссылаются на Индию и Египет, Афины и Рим, и эти примеры имеют силу доказательства. Что известные успехи достигнуты, что совершились благодетельные перевороты, — с этим соглашаются, но величайшие события обусловлены, по словам наших историков, только случайными причинами⁵; чаще всего они якобы вызываются

случаем, непредвиденным появлением гениального человека, случайным открытием какого-нибудь научного факта. В этих фактах не видят следствия общественного состояния, которое делало их необходимыми; не видят, что всякая эволюция есть необходимый результат предик ствующей эволюции, каждый новый шаг — логический, так сказать, продукт уже пройденных этапов. Признают полезность работ, выполненных предшествующими поколениями, но только потому, что они дают материалы для будущих работ или же увеличивают благоприятные шансы для будущих успехов. И вот посмотрите, какие блестящие объяснения следуют из этого хаоса.

Если христианство взшло на престол вместе с Константином, то это произошло потому, что названный государь хотел воодушевить солдат, которых он вел в Рим для низложения Максенция; или же — для тех, кого не останавливают никакие препятствия, в том числе даже хронология — причина была та, что языческие жрецы отказались отпустить Константину грех убийства Криспа и Фаусты, между тем как более снисходительные христиане не побоялись смыть с него кровь сына и супруги.

Коммуны освобождены в начале XII века потому, что Людовик Толстый хотел положить конец мятежам сеньоров, подстрекаемых его смертельным врагом.

Реформация отняла у римской церкви то, что являлось ее достоянием в течение пятнадцати столетий. Это великое событие было вы-

звано только соперничеством двух монашеских орденов, которые в каком-то саксонском захолустьи перебивали друг у друга аренду индulgенций, а, быть может, также — личным честолюбием монаха Лютера, или капризом какого-нибудь государя*.

Французская революция... Она была вызвана расточительностью двора, легкомыслием министра Калонна, расстроившего финансы; самые глубокомысленные летописцы добираются до раздела Польши.

Поистине, господа, следовало бы перебрать всю историю, чтобы перечислить все ребяческие гипотезы, которые она внушила критикам XVII века⁶. Язык, письменность, уничтожение рабства, проповедь Евангелия — все это, несомненно, также только счастливые случайности, ибо если послушать историков, то можно подумать, что человечество разыгрывает крупную лотерею, которая может его разорить или обогатить. И пусть нас не обвиняют в иронии: именно так они судят, когда в большей или в меньшей степени приписывают случаю величайшие события истории. Эта излюбленная система дала повод к распространенной поговорке: крупные следствия имеют незначительные причины. От этих жалких

* «Причудливая судьба, играющая нашим миром.— говорит Вольтер,— пожелала, чтобы английский король Генрих VIII вмешался в спор» (Essai sur les mœurs, t. III, pp. 219, 226). Мы видим, что даже для философов, верящих в совершенствование, величайшие события все же вызываются слепым роком.

объяснений явлений человеческой истории далеко до того поистине великого, импозантного зрелища, которое являет нам человечество, мало-помалу осуществляющее закон своего бытия, далеко до того исторического чередования событий, которое рисуется в виде длинного ряда необходимых следствий, тесно связанных друг с другом, и позволяет путем правильной оценки сошедшихся событий определить грядущие события.

История, изучаемая согласно изложенному нами методу, перестает быть собранием опытов или драматических фактов, способных развлекать воображение; она представляет картину последовательных физиологических состояний человеческого рода, рассматриваемого в его коллективном существовании; она образует науку, приобретающую строгий характер точных наук.

Относительно строгости доказательств, почерпнутых из исторического ряда, принятого нашей школой, были высказаны, однако, некоторые сомнения: задавали вопрос, достаточно ли длинен этот ряд и не рискованно ли пренебрегать преданиями Востока. На это возражение мы отвечаем: история того ряда цивилизации, последним членом которого является современное европейское общество, охватывает около трех тысячелетий; развитие человечества в течение этого периода, столь обширного и плодотворного, имеет не только то преимущество, что оно представляет длинный ряд членов, но и то, что ни одна другая

историческая эпоха не известна так основательно, и это как раз та эпоха, последняя стадия которой образует наиболее передовое состояние цивилизации. Ориенталисты далеко не заполнили пробелов в истории Азии, и так как мы на каждом шагу встречаемся в этой истории с нарушением непрерывности, то нет возможности проследить в ней регулярное развитие. С этими историческими фрагментами происходит то же, что с обломками горных пород, относительно которых геолог может строить более или менее остроумные гипотезы, но к которым не может приложить печать научной достоверности, какую он прилагает к странам, где горные породы лежат последовательными и непрерывными пластами. Мало того, можно заранее утверждать, что если бы интерполяция этого ряда (в отношении восточной цивилизации) была завершена, то она в своей совокупности дала бы только один из известных нам членов*. Заметим кроме того, что Греция перенесла к себе все элементы прогресса, рассеянные среди других народов, и что она является своего рода итогом всех цивилизаций, выросших до нее. Известно, что более чем за 600 лет до христианской эры Фалес, прибывший из Египта, изумил греков предсказанием солнеч-

Мы осмеливаемся даже заявить, что одни европейцы способны объяснить индусам их собственную историю и различать в их преданиях и памятниках идеи и факты, которые не могли бы быть открыты и Поняты самими индусами.

ного затмения; известно также, что философы, блиставшие в Лицее, расширили свои познания длительными путешествиями в наиболее просвещенные страны Востока⁷.

Слушая, с какой настойчивостью мы подчеркиваем полезность истории, как подтверждения концепций Сен-Симона относительно развития человечества, вы, быть может, упрекнете нас, господа, в том, что мы недостаточно считаемся с настоящим. Этот упрек был бы неоснователен: если мы придаем столь большое значение наблюдениям, сделанным над человечеством, то исключительно с тем, чтобы стать на почву, на которой просвещенные люди нашей эпохи считают свою позицию особенно надежной,— на почву науки. Мы хотим показать им, что, принимая новые воззрения относительно социального будущего, т. е. принимая предсказания общественных явлений, им неизвестных, мы для оправдания этих предвидений следуем тому же методу, какой применяется во всех науках. Мы хотим доказать им, что наше предвидение имеет то же происхождение, те же основы, какие наблюдаются в научных открытиях; другими словами, что гений Сен-Симона является таким же, как и гений Кеплера, Галилея, и отличается от них только широтой охвата и важностью законов, которые он открыл нам.

Несомненно, настоящее — только точка в пространстве, только момент во времени; оно представляет собою неуловимую связь между прошедшим и будущим. Но мы знаем, что оно

содержит в себе итог одного и зародыш другого; мы знаем, что оно есть среда, в которой мы живем, движимые двойственной силой воспоминаний, подталкивающих нас, и надежд, нас притягивающих, и что только в нем и через него мы беспрерывно идем к лучшему будущему.

Сен-Симон глубоко чувствовал пустоту окружающей его среды и леденящий холод, до которого ее довел, пронизывающий ее насквозь эгоизм. Но он не терял веры в человечество, ибо чувствовал в себе достаточно жизни, достаточно любви, чтобы оживить мир; он не забывал настоящего, ибо с убежденностью гения умел читать в нем, что слово, которое он бросает в почву, как будто отвергающую его, не преминет дать всходы. А мы, господа, разве мы теряем из виду настоящее, когда обращаемся к вам, когда приходим поведать вам то, что теперь важнее всего любить, знать, применять на практике,— мы разумеем учение нашего учителя.

Да, господа, хотя мы и настаивали на научном характере этого учения, хотя и старались унять тревогу, вполне естественную в эпоху, отличительную черту которой составляет сомнение, но мы будем счастливы, если вы придадите науке, рассуждениям, доказательствам*, наблюдению фактов и,

* Выставляемая напоказ претензия на строгость доказательств, на отвращение к фикциям может пока-

следовательно, преданиям, лишь то значение, какого они заслуживают и какое мы придаем им сами. Что касается нас, исполненных веры в будущее, возвещаемое нам Сен-Симоном, то мы, разумеется, не отвергаем чисто рационалистического метода, при помощи которого можем доказать самым маловерным, что это будущее есть необходимое следствие достигнутого до нашего времени прогресса. Но все же не эти усилия логики мы больше всего желали бы видеть со стороны благородных сердец, которые мы жаждем ощутить вблизи себя, объединенными с нами стремлением разбудить симпатии человечества и слить все сердца в едином чувстве любви.

Мы испытываем потребность, прежде чем кончить, ответить на одно возражение, которое могло бы быть выставлено против наших идей чувством. Если сцепление фактов от-

заться странной в эпоху, когда большинство ПОЛИТИЧЕСКИХ догматов является фикцией. Так, в самых возвышенных конституционных теориях король имеет право назначать своих министров, но палаты могут сместь их, отвергнув бюджет. Когда король поступает хорошо, то действовал он; напротив, когда он поступает дурно,— то это не он. Он может объявить войну, но палаты вправе отказать ему в средствах, необходимых для ее ведения. Все люди равны перед законом, но законы берут в основу только имущественное положение, определяемое случайностью рождения, и освящают неравенство (верхняя палата, избиратели, избираемые, присяжные, национальная гвардия). Все эти противоречия, все эти таинства получают одобрение публики, считающей себя весьма позитивной.

личается такой строгостью, что факты будущего являются необходимым следствием фактов прошлого, то не означает ли это, что человеческий род подчинен закону фатализма? Да, если бы человек мог совершенно отрешиться от своих желаний и надежд и холодно, одним рассудочным путем выводить будущее из прошлого, то этот человек должен был бы считать себя подчиненным фатализму; но такого человека не существует в природе. Все более или менее чувствуют симпатию к обществу, все смотрят заинтересованными глазами на будущее, и здесь для них начинается провиденциальная точка зрения.

При господстве грубого фатализма, каким его мыслила древность, человек, существо пассивное по отношению к событиям, был влеком против своей воли, ничего не предвидя, ничего не понимая, толкаемый слепой, не поддающейся определению силой к участи, возбуждавшей в его душе только страх и отвращение; он просил без надежды, он сеял неуверенной рукой и не смея ожидать чего-либо от своих усилий. Неужели возвещаемый нами закон, весь из обетовании и надежд, заслуживает того же названия? Нет, господа, вы этого не думаете. Человек симпатически прозревает свою судьбу, и когда он при помощи науки проверил предвидения своих симпатий, когда он убедился в законности своих желаний, то спокойно и доверчиво подвигается к будущему, которое ему известно. Конечно, его предвидение не может доходить

до подробностей, до установления дат; но он чувствует, что своими усилиями может приблизить свое счастье. Уверенный в своем значении, он направляет к нему свои желания, свои стихийные порывы; раньше чем действовать он знает, каков будет общий результат его действий, и он прилагает к этому всю силу своих способностей. Вот каким образом он становится свободным и разумным творцом своей судьбы, которую он может, если не изменить (чего, впрочем, он и не хотел бы), то, по крайней мере, ускорить своими трудами. Фатализм не может внушить ничего, кроме мрачной покорности, поскольку человеку неизвестна неотвратимая судьба, ожидающая его, и он страшится ее; напротив, перед провиденциальной точкой зрения открывается деятельность, полная веры и любви, ибо чем больше человек осознает свою судьбу, тем более он трудится заодно с самим богом, над ее осуществлением.

Отбросьте поэтому всякий страх, господа, и не противьтесь потоку, увлекающему вас вместе с нами к счастливому будущему; положите конец сомнениям, расслабляющие ваши сердца и поражающим вас бессилием; охватите любовно алтарь примирения, ибо времена исполнились, и скоро пробьет час, когда, согласно сен-симоновскому видоизменению слова Христа, все будет *званными* и все будут *избранными*.

КОНЦЕПЦИЯ. МЕТОД. ИСТОРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Так как, господа, мы имеем дело с поколением, которое, прежде чем поверить, хочет проанализировать, расчленить, так сказать, анатомическим ножом элементы своих верований, или, еще лучше, хочет доказать свои аксиомы, то мы должны считаться с этим умонастроением; нам нужно сначала разбить оружие, которое могут пытаться противопоставить введению доктрины нашего учителя, доказать превосходство этой доктрины, став на почву самих его противников, чтобы обрести право привлечь их на свою сторону. Мы должны показать веку, который называет себя по преимуществу рассудочным¹, что наши верования относительно будущности человечества, открывшиеся нам благодаря живой симпатии, благодаря пылкому желанию способствовать его счастью,— что эти верования оправдываются самым строгим наблюдением фактов. Мы должны даже доказать, что наименование *рассудочного*, которое присвоил себе наш век, выражает скорее претензию, чем действительную способность. В самом деле, в обществе мы наблюдаем сейчас три разряда мыслителей: ученых — специалистов в той или иной степени, публицистов и философов. Первыми (т. е. учеными-специалистами) мы

* Прочитана 14 января 1829 г.

считаем бесполезным здесь заниматься; их некомпетентность в интересующих нас предметах очевидна, и мы тем более спешим устранить их, что надеемся показать этим истинную цену абсурдного обвинения, столь часто выдвигаемого против нашего учителя, будто он предоставляет управление обществом химикам, физикам, астрономам,— как ему при других обстоятельствах ставили в упрек, будто он хочет доверить судьбы общества живописцам и музыкантам, даже механикам, каменщикам и земледельцам. Что касается публицистов², то чем они заняты? Они изо дня в день, не заглядывая вперед, борются изо всех сил с эфемерной властью, которая являет нам — в качестве главного своего права на общественное уважение — картину борьбы между различными частями политической организации. С другой стороны, философы занимаются оправданием этого состояния борьбы, доказывая при помощи нескольких разрозненных исторических фактов или нескольких стабильных метафизических идей, что оно является необходимым и окончательным следствием поступательного хода цивилизации и свободного развития способностей человека. Все эти мыслители не оказывают влияния на развитие общества; практическая жизнь их современников совершенно ускользает от них и остается вне интеллектуального движения, вожжами которого они себя объявили. Наконец, несмотря на все присваиваемые им

почетные звания, никто не склонен признавать в противоречивых теориях наших публицистов *социальную науку*, политику, а в абстракциях наших философов — *науку о человеке*, науку о морали. Впрочем, придавая званию *рассуждающий* все значение, какого оно заслуживает, где найдем мы среди умов, пользующихся ныне общей популярностью, людей, которые по обширности своих познаний, по силе своей логики могли бы сравниться с каким-нибудь Лейбницем, Декартом, Мальбраншем и — осмелимся заявить, несмотря на пренебрежительное к ним отношения XVIII столетия — с блаженным Августином или св. Фомой Аквинским?³

Но если наша эпоха уступает некоторым из предшествовавших ей эпох по значительности своих концепций, по их влиянию на практическую жизнь, то она выделяется, по крайней мере, усиленным подчеркиванием того, что она верит только фактам и что она не допускает иных способов решения всех проблем, кроме наблюдения над фактами. Приемом, употребляемым для соединения элементов всякого открытия, всякого изобретения, всякой новой идеи, является так называемый позитивный метод,— чудесное прилагательное, перед которым почтительно склоняется толпа, не понимая его, и которое не намного больше понимают люди, беспрестанно его повторяющие. Добавим, что нигде этот метод не применяется ни во всей его строгости, ни с сознанием его истинной природы.

Позитивный метод, говорят нам, заключается в составлении описи наблюдаемых фактов, не поддаваясь чувствам желания или опасения. Если эта опись точна, то она должна представить взору наблюдателя закон последовательности всех фактов, т. е. выражение существующего между ними и связывающего их соотношения.

Прежде чем рассмотреть все, что есть ложного и неполного в Этом определении позитивного метода, мы должны сделать некоторые предварительные замечания⁴.

Работа человеческого интеллекта распадается на два различных приема: на замысел и проверку, изобретение и метод. При посредстве первого он открывает, угадывает, творит; при посредстве второго — подтверждает свои предвидения, свои вдохновения, свои откровения. Пусть другие стараются анализировать, разложить, определить процесс замысла, изобретения; мы не беремся это сделать, ибо это значило бы пытаться определить гениальность, между тем как для нас гениальность не поддается определению: это — единственное в своем роде явление, выше которого мы не в состоянии подняться, это — основное начало всякого человеческого познания; в духовной области гениальность представляет собой то, чем движение является в сфере материи, чем жизнь является для всякого любящего существа.

Чтобы надлежащим образом оценить природу этих двух приемов человеческого мыш-

ления — замысла и проверки, необходимо отчетливо уяснить положение, в котором находится человек в зависимости от того, каким из этих приемов он пользуется.

В действительности человек никогда не бывает изолирован в окружающей его среде, однако усилием абстракции он может достигнуть того, что будет почти исключительно поглощен то внешним миром, то собственной индивидуальностью. В одном случае, когда он прослеживает эти абстракции так далеко, как это ему дано сделать, мир представляется ему простым творением его духа; в другом он, напротив, сам всецело ступевывается перед этим огромным окружающим его явлением. Иными словами, в одном случае возбуждается его творческая сила, его деятельность, его волевая способность, и он накладывает на созерцаемые им факты формы своего существа; в другом, напротив, он в качестве простого наблюдателя, пассивного и бесплодного, отражает в себе факты, происходящие вне его. В первом случае он выражает желание, он приказывает, он говорит; во втором он дает себя увлечь, он повинуется, он слушает; в одном он изобретает, в другом проверяет; он попеременно то поэт, то человек рассуждающий или ученый*.

Напомним еще, что философский или, лучше сказать метафизический анализ, которым мы здесь занимаемся и при помощи которого мы разлагаем на две отличные друг от друга части единство интеллектуального бытия человека, не имеет иной ценности, кроме

Только переходя от активности к пассивности, от роли творца к роли наблюдателя, от воображения к рассуждению, человек стигает полного развития своих научных сил.

Метод, санкция первоначальной мысли кладывает на создания гения печать, которая столь ясно отличает произведение ученого от произведения поэта.

Что такое метод? Те же философские принципы, которые мы применили к рассмотрению познавательной способности у человека, покажут нам, в чем состоит способ, употребляемый им для подтверждения своих предвидений, своих открытий, т. е. в чем состоит метод, ибо, повторяем, такова его главная цель. Однако прежде чем сделать это применение, вернемся к приведенному выше определению позитивного метода. Он состоит, говорят нам. в составлении описи фактов, не предаваясь какому-либо чувству желания или опасения. Но в каком порядке классифицировать эти факты? Какой факт поставить первым и

той, какую вообще могут иметь абстракции. Употребляя ньютоновский язык, мы могли бы сказать: вещи происходят так, как если бы человек был попеременно активен и пассивен, действующим лицом и зрителем, избирателем и проверяющим, хотя в действительности он в каждый момент своего бытия, какова бы ни была продолжительность этого момента, одновременно активен и пассивен. Таким образом, устанавливаемое нами деление выражает только преобладающие тенденции, более постоянные у одних индивидуумов сравнительно с другими, но чередующиеся в каждом человеке.

какой последним? А главное, почему возникает желание привести их в порядок. Следовательно, ученый верит, и даже твердо, что между этими фактами существует известная последовательность, ибо он старается ее открыть. Мало того, недостаточно верить, что существует какая-то последовательность,— надо найти, надо открыть, какова эта последовательность. Среди бесчисленного количества гипотез*, представляющихся ученому, какую гипотезу выберет он для проверки, т. е. для того, чтобы убедиться, действительно ли охватываются ею все факты, которые, по его предположению, она должна охватывать? Требуется ли прежде чем остановиться на одной из этих гипотез, чтобы он произвел наблюдение над всеми фактами? Сколько фактов нужно наблюдать, чтобы взять на себя смелость высказаться? И кроме того, даже для простого их наблюдения не должен ли он открыто соотношение между фактом, уже подвергавшимся наблюдению, и тем, который он наблюдает? Но ведь для того, чтобы утверждать, что между двумя

* Мы намеренно употребляем слово *бесчисленное*, ибо таково в самом деле положение, в котором очутился бы человек, если бы сама его организация не вынуждала его предпочитать одну гипотезу другой, т. е. если бы прежде чем наблюдать факты, прежде чем действовать, он не возымел желания наблюдать определенные факты, совершать определенные действия, иными словами, если бы у него не было воли, принципа, причины, движущего начала всей его умственной и физической деятельности.

фактами существует то или иное соотношение нужно непременно предположить, что мы глубоко знаем все условия, при которых эти факты происходят (а это превышает человеческую способность), ибо при изменении одного из этих условий соотношение было бы иное. Таким образом выходит, что в чело веческом знании нет ничего достоверного скажем более — в нем нет ничего вероятного, ибо число условий существования, известных человеку, составляет лишь бесконечно малую величину по сравнению с теми, которых он не знает.

Здесь, без сомнения, нас обвинят в несправедливости; нам укажут на превосходные работы современных ученых по теории вероятностей. Но именно эти работы и доказывают всю справедливость сказанного нами. При каких условиях слово *вероятность* имеет какой-либо смысл? Иначе говоря, каковы гипотезы, которые необходимо допустить, каковы верования, которые необходимо предварительно иметь, для того, чтобы сочинение самого г. Лампласа⁵ не было пустым набором слов? В одном случае мы рассуждаем так, как если бы все шары, заключенные в урне были совершенно одинаковы, как если бы урна была устроена таким образом, что все эти шары имели бы одинаковый шанс быть вынутыми; между тем, если бы эти гипотезы были действительностью, всякое исчисление было бы невозможно, ибо ни один шар не был бы вынут. В другом

случае мы предвидим повторение солнечного восхода, как если бы все обстоятельства, позволявшие, чтобы солнце в течение продолжительного периода времени восходило (а что такое этот длительный период в сравнении с бесконечностью? не более, как точка), должны были и впредь остаться прежними. Наконец, повсюду господствует вера,— без которой, говоря по правде, ни одна отрасль человеческих знаний не была бы возможна или полезна.— что существует постоянство, регулярность, последовательность в смене явлений. Как мы только что сказали, число гипотез, которые можно представить себе относительно какого-нибудь ожидаемого явления — например, восхода солнца — бесконечно; человечество принимает ту, которая оправдывается наблюдением над прошлым, и говорит, что именно эта гипотеза наиболее вероятна, так как оно верит в последовательность; ибо если отрешиться от этой веры, то ограниченное количество произведенных наблюдений не имело бы никакой ценности при наличии бесконечного числа возможных явлений.

Вернемся к методу. Все философские школы признавали два различных способа человеческого рассуждения, при помощи которых наблюдатель, если дан ряд фактов, обозревает его, либо восходя от частных фактов к общим, либо спускаясь от общих фактов к частным. Припомните образ, которым пользуется ДЛЯ этой мысли

Бэкон, двойную лест-

ним; Сен-Симон воспроизвел его во множестве форм. Здесь нам важно установить лишь одно: что оба эти приема умственной деятельности, составляющие, собственно говоря, логику, имеют одинаковую важность и что спорить о превосходстве анализа над синтезом, это, как говорит Сен-Симон, все равно, что разбирать вопрос, лучше ли опускать или поднимать поршень насоса, чтобы привести его в действие.

Таким образом, когда представляется, что новая концепция способна установить связь между фактами, то существует два способа проверки этой концепции, а именно: либо обозреть ряд фактов, спускаясь от факта, обозначаемого концепцией, как самый общий, к самому частному факту и наблюдая при этом, могут ли все промежуточные факты правильно разместиться в этом ряду в порядке все большей и большей частности; либо же — восходить от факта, обозначаемого концепцией как самый частный, к факту самому общему, размещая промежуточные факты в порядке возрастающей общности.

Эти два аспекта, под углом зрения которых мы рассмотрели метод, имеют в своей основе различные принципы и приводят к различным результатам: при помощи одного ученый, если дан закон, по которому происходят явления, говорит, что такое-то явление будет иметь место; пользуясь другим, он, напротив, утверждает, что такое-то явление, имевшее место, находится в зависимости от предпола-

гаемого закона. Следовательно, первым аспектом применим специально в случаях предвидения*, второй — в случаях изложения. Но оба они представляют собой подтверждение при помощи будущего и прошедшего, при помощи того, что произойдет, и того, что произошло, вдохновения, вызываемого в человеке тем, что есть — другими словами, подтверждение характера ощущения человеческим существом всеобщей жизни, проявляющейся в нем и вне его.

Вот в чем состоит весь метод, вся логика. Но логика и метод предполагают уже существующие концепции, а не привносят их, подобно том' как поэтика предполагает наличие поэм, а не рождает их. Все сказанное здесь нами не имеет целью дать новые указания относительно приемов деятельности чело-

* Повторяем здесь сказанное нами выше по поводу разграничения между замыслом и рассуждением, поэзией и наукой: синтез и анализ никогда не бывают совершенно изолированными друг от друга, но тот или другой представляются нам более уместными, смотря по тому, носит ли наука, которой мы занимаемся, умозрительный или описательный характер. Разумеется, когда дан какой-либо закон, то на его основании можно одинаково *предсказывать* факты, которые должны были иметь место, как и факты, которые будут иметь Место, но самое слово предсказывать, которым мы Пользуемся здесь, употреблено, очевидно (когда речь идет о прошлом), распространительно в сравнении с его истинным значением; это значит, следовательно, что когда человек обращается к прошлому, то он смотрит на него, как на нечто специально известное, хотя бы оно было, с точки зрения единства, так же неизвестно, как и будущее.

веческого ума. Мы хотели только обратить внимание на столь часто происходившее до настоящего времени смещение изобретения с методом и на неудобство, проистекающее от предпочтения, отдаваемого всеми метафизиками тому либо другому способу рассуждения, как способу, ведущему к открытию: одни предпочитают синтез, другие — анализ; первые созерцают, по выражению Сен-Симона общие принципы, общие факты, общие интересы, другие кропотливо исследуют принципы вторичного характера, единичные факты, частные интересы.

Подведем итог сказанному. У человека имеется замысел и он проверяет, т. е. он ученый, ибо он познает, когда находит подтверждение своему творению, задуманной им гипотезе; он познает, когда связывает свое предвидение и свои воспоминания непрерывной цепью причин и следствий; наконец, он познает, хочет познавать, ибо, любя последовательность, он находит в прошлом, в которое верит, залог будущего, которого он желает.

Согласно общему мнению, человеческий ум, наблюдая множество фактов, переходит последовательно от одного к другому и таким путем приходит непосредственно от частных фактов к факту общему, к закону, их связывающему; иными словами, концепция, открытие этого закона, является как будто следствием, логическим результатом последнего подвергнутого наблюдению факта. В истории человеческих открытий нет примера подоб-

хода исследования. Разумеется, наличие окружающих нас фактов есть обстоятельство (внешнее относительно человека), внушают

мысль о координации; но между этой мыслью и случайным фактом, подавшим повод для нее, нет непосредственного соприкосновения, между ними существует пробел, которого нельзя заполнить никаким методом и преодолеть который может только гений. Несомненно, что все последовательные концепции связаны друг с другом и что последняя из них может проявиться только после всех предшествующих, однако она не становится еще оттого дедукцией; ее автор не сказал себе, предварительно: такие-то общие воззрения высказывались, следовательно, уместно построить новую теорию такого рода. Бесспорно, необходимо было, чтобы человечество достигло всех успехов, предшествовавших веку Сократа, для того, чтобы он, Сократ, возвысился до концепции о единстве причины — концепции, содействовавшей изменению характера наук и всего общества. Точно так же необходимо было, чтобы путь, в свою очередь, открытый концепцией Сократа, был пройден целиком для того, чтобы появился Сен-Симон. Но когда наступило их время, то эти два необыкновенных человека постигли свою творческую идею вдохновением гения, а не при посредстве метода.

Однако, если мы отвели методу то место, на которое он может претендовать, то это не должно еще служить основанием считать нас

несправедливыми к нему. Бесспорно, наука слишком долго смешивалась с поэзией: воображение слишком долго игнорировало поддержку, которую оно должно было найти в рассуждении. Но разве это основание для того, чтобы в настоящее время наука отвергала и не признавала, разрывала чрево, давшее ей жизнь и питающее ее? Пусть нам простят поистине священный гнев, охватывающий нас когда мы видим, как собиратели фактов, бесстрастные орудия наблюдения, подручные гения с недоверием и завистью подносят материалы для здания, план которого был начертан рукою мастера-творца. Нет, мы не игнорируем важности рассуждения и метода, направляющего и совершенствующего его ход; разве мы сами не говорим, что изучение человечества только тогда станет подлинной наукой, достойной этого названия, когда история, это обширное поле наблюдений, озаренная светом, пролитым на нее гением Сен-Симона, предстанет перед самым строгим логиком как непрерывный ряд прогресса, начиная с самой ограниченной и самой первобытной ассоциации до самого любвеобильного, самого мудрого, самого богатого общества, какое дано человеку представить себе и желать?

Не надо, однако, обманывать себя: расположение, которым пользуется ныне позитивный метод, расположение, которое можно назвать популярностью, не имеет своим источником услуги, оказанные им науке, по крайней мере очень мало от них зависит. Его кредит

более высокого происхождения; в нем видели нечто большее, чем простое академическое оружие; если его так любят и превозносят, то главным образом как военную машину, как орудие разрушения, направленное против религиозного закона, против общественного строя, бремя которого тяготело над Европой в течение двух веков.

И в самом деле, какое более могучее оружие можно было пустить в ход против учения, изображавшего мир запечатленным спонтанностью, жизнью, любовью, неустанно звавшего разум человека в новый мир, который один лишь разум способен постигнуть! Какое, одним словом, можно было придумать более могучее оружие против христианских верований, чем метод, покрывавший саваном смерти вселенную и самого человека, изображавший их случайными скоплениями молекул, подчиненными чисто механическому порядку, лишенными, подобно трупам, того священного огня, который до тех пор соединял их друг с другом и побуждал шествовать вместе к общей судьбе? Вот истинные права нынешнего научного метода по расположению, которым он пользуется, и прибавим также — его права на благодарность людей, ибо счастье человечества требовало, чтобы дело разрушения, для которого он был так мощно использован, было выполнено.

Мы уже сказали, что никто не сознает сейчас больше пас полезности разделения поэзии и науки, воображения и рассуждения; никто

также не знает лучше нас, до какой степени их первоначальное смешение служило условием прогресса, т. е. насколько в начале существования обществ вожди человечества должны были быть одновременно поэтами, учеными, даже воинами, пророками, законодателями и царями*.

Но именно потому, что все мы это знаем, мы сумеем практически применить, осуществить это разделение с еще большей строгостью, нежели ученые, претендующие, по-видимому, на исключительное обладание им, на деле очень далекие от полного подчинения ему.

Мы спешим, господа, широко применить установленные нами принципы к истории человечества.

Обращаясь взором к прошлому, не долил

* Мы увидим позже, как в средние века разделение властей на духовную и светскую облегчило прогрессивное развитие человечества. Заметим лишь в интересующем нас сейчас вопроса, что духовная власть или христианское духовенство представляли еще собой то смешение, о котором мы говорили выше, и что в его среде одни и те же лица занимались поэзией и наукой. Однако разделение духовенства на части — белое и черное, — из которых одному были специально поручены церковная проповедь и богослужение в присутствии верующих, а другое, запершись в монастырях, работало в стороне от страстного брожения масс над выработкой догмы, над созданием науки о боге, свидетельствовало уже о стремлении человечества, не делая чуждыми друг другу религию и науку, поэзию и разум, отвести, однако, каждой из присущую ей роль и вверить разработку их в разные руки.

ли мы прежде, чем приступить к детальному наблюдению фактов, передаваемых нам традицией, задать вопрос: какая путеводная нить поможет нам разобраться в этом огромном лабиринте? Все эти факты, происходившие до нас, были уже подвергнуты наблюдению, классифицированы, снабжены названиями: памятники различных цивилизаций, сменявших друг друга, были описаны или стоят еще на местах; вызванные ими к жизни книги имеются у нас перед глазами, переведенные, снабженные комментариями и объяснениями; наконец, великие люди, приводившие в движение массы, законы, которым эти массы повиновались, вера, наполнявшая их сердца, — все это здесь, все живет еще для того, кто любит человечество, кто познал его судьбы и стремится осуществить их.

Какой для нас прок во всех этих фактах, если мы не умеем прочесть в них ясно начертанные волю, желание, цель, искомую, никогда не достигнутую, но к которой человечество непрерывно приближается и направляется ; ; которой мы должны ему помогать? Какая нам польза от этих фактов, если мы не умеем связать их общей концепцией, которая, охватывая их все, указывала бы нам надлежащее место каждого факта в ряду, изображающем развитие человеческого рода? Кто тот могучий гений, который откроет нам эту концепцию?

Но вот приходит человек, страстно преданный человечеству, любящий порядок и

живущий в обществе, полном беспорядке горящий желанием видеть своих близких объединившимися, братьями, в то время как все вокруг него борются, воюют друг с другом, поносят одни другого,— и этот человек в высшей степени отзывчивый, поэт прежде чем ученый, дает человеческой науке новый фундамент, новые аксиомы. Сен-Симон заявляет: «Порядок, мир, любовь — они для будущего: прошлое всегда любило, изучало, практиковало войну, ненависть, антагонизм. И все же человеческий род шествовал непрерывно к своим мирным судьбам, переходя последовательно от несовершенного строя строю более совершенному, от слабой и ограниченной ассоциации к ассоциации более сильной, более обширной. И каждый шаг, который он совершал, был для него сначала кризисом ибо ему приходилось отрицать свое прошлое, насильственно разбивать узы, бывшие спасительными в его детском возрасте, но ставшие затем помехой для его развития»⁶. С этими словами нашего учителя история получает с вершиной новый характер; наблюдатель, ученый проверяет путем нового исследования прошлого это высокое вдохновение гения; исследует, каким образом хижину дика сменил город, как на смену городу явилось отечество, на смену отечеству — человечество, он наблюдает в этом длинном ряду предшес- вующих нам веков, в какие эпохи люди, принадлежа сначала семье, затем — городу, наконец, — одному и тому же отечеству, кажутся

любовно связанными с судьбами своего племени своих сограждан, своих соотечественников; в какие эпохи, напротив, узы любви порваны, любимый прежде порядок становится гнетущим и несовместимым с новыми желаниями, ВОЛНУЮЩИМИ сердца. В одни эпохи все усилия как бы направлены к одной цели; в другие — каждый держится обособленно, в одни — все элементы общественного организма сближаются, комбинируются, организуются, в другие — разложение и смерть кажутся с каждым днем все более близкими, пока не появляется зародыш любви, чтобы призвать к жизни, соединить теснее, чем когда-либо, члены этого организма, изнемогающего от страшного кризиса.

Таким образом, нам дана первая широкая классификация прошлого. Мы можем разложить его на эпохи *органические*, когда развивается общественный порядок, порядок несовершенный, ибо он не всеобщий, временный, потому что он еще не мирный, и на эпохи *критические*, когда старый порядок подвергается критике, нападкам, разрушению,— эпохи, длящиеся до тех пор, пока миру не открывается новый принцип порядка.

Окинем взглядом тот ряд цивилизаций, с которым мы непосредственно связаны и который нам знаком лучше других. Мы, потомки христиан, воспитанные на греческой и римской литературе, свидетели упадка католицизма спада волны реформации, видим на

протяжении двадцати трех веков две ясно вы-
раженные критические эпохи: 1) эпоху, отде-
ляющую язычество от христианства и, следо-
вательно, делящуюся от появления первых
философов Греции до проповеди Евангелия;
2) эпоху, отделяющую католическое учение
от учения будущего и охватывающую три
столетия — от Лютера до наших дней. Соот-
ветственные органические эпохи: 1) эпоха на
ивысшего расцвета греческого и римского мно-
гобожия, завершающаяся веками Перикла и
Августа; 2) эпоха, когда католичество и
феодализм выступали с наибольшей силой
блеском, и которая в религиозном отношении
завершилась Львом X, а в политическом -
Людовиком XIV.

Каково назначение человека по отноше-
нию к своему ближнему, каково его назначение от
носителю-вселенной? Таковы общие выра-
жения двоякой задачи, которую всегда ста-
вило перед собой человечество. Все органиче-
ские эпохи являлись решениями этих задач,
по крайней мере — временными. Но скоро успе-
хи, достигнутые при помощи этих решений,
т. е. под сенью социальных институтов, со-
данных в соответствии с ними, делали их
самых недостаточными и требовали новых ре-
шений. Тогда наступали критические эпохи,
моменты споров, *протеста*⁷, ожидания, пере-
хода, и они наполняли промежуточный пери-
од сомнением, безразличным отношением к
этим великим проблемам, эгоизмом - неиз-
бежным следствием этого сомнения и этого

безразличия. Каждый раз, когда эти великие
социальные проблемы получали разрешение,
наступала органическая эпоха; каждый раз,
когда они оставались без разрешения, сущест-
вовала эпоха критическая.

В органические эпохи цель общественной
деятельности ясно определена; все усилия, как
мы уже сказали, посвящены осуществлению
этой цели, к которой люди в течение всей своей
жизни постоянно направляются воспитанием
и законодательством*.

Так как общие отношения твердо установ-
лены, то такой же характер получают и лич-
ные отношения, складывающиеся по их об-
разцу. Цель, к достижению которой стремит-
ся общество, открыта всем сердцам, всем
умам; становится легко оценить дарования,
наиболее способные содействовать этому стре-
млению, и тогда власть естественным образом
оказывается в руках людей, действительно
выдающихся; существуют законность, сувере-
нитет, авторитет в подлинном значении этих
слов, в социальных отношениях господствует
гармония.

Человеку представляется тогда, что вся
совокупность явлений управляется провиде-
нием, благодетельной волей; самый принцип

* Мы отсылаем к лекциям, где оба эти предмета
(воспитание и законодательство) рассматриваются с
точки зрения доктрины Сен-Симона; заметим, однако,
тут же, что оба эти слова представляют для нас нечто
большее, чем наши кодексы и наше школьное обучение.

человеческих обществ, закон, которому он подчиняется, представляется ему выражением этой воли, и это общее верование проявляется в культе, который привязывает сильное к слабому и слабого к сильному. В этом смысле можно сказать, что характер органических эпох по существу религиозен.

Единство, существующее в области общественных отношений, отражается в категории фактов, которые мы должны упомянуть здесь особо, в виду важного значения, придаваемого им ныне: мы говорим о науках. Различные специальности, из которых они состоят представляются в органические эпохи лишь как ряд подразделений общего понимания основной догмы. Тогда действительно существует энциклопедия наук⁸, сохраняя за словом *энциклопедия* его истинное значение т. е. значение взаимной связи человеческих знаний*.

Критические эпохи представляют диаметрально противоположное зрелище. Правда, в начале их мы замечаем согласованность действий, обусловленную общей потребностью разрушения. Но проходит немного времени, и ярко обнаруживается расхождение, которое становится полным; во всем проявляется анархия, и скоро каждый занимается только тем, что присваивает себе какие-

* Впоследствии мы увидим, однако как некоторые науки, например науки физические, не были прямо включены в католическую энциклопедию, т. е. в христианскую догму.

либо обломки здания, которое рушится и рассыпается, пока не превратится в прах. Тогда цель общественной деятельности начинает совершенно игнорироваться, неустойчивость в общих отношениях переходит в область частных отношений; подлинные способности не ценятся больше и не могут больше цениться; законность власти оспаривается у людей, обладающих ею, правители и управляемые находятся в состоянии войны друг с другом. Подобная же война устанавливается между частными интересами, приобретающими с каждым днем все более заметный перевес над общим интересом; наконец, самоотверженность сменяется эгоизмом, набожность — безбожием.

Человек перестает понимать и свою связь с ближними и связь между его судьбой и судьбой всеобщей; он переходит от веры к сомнению, от сомнения к безверию или, скорее, к отрицанию старой веры, ибо само это отрицание есть новая вера; он верит в предопределение, как верил прежде в провидение; он любит и воспевает беспорядок подобно тому, как раньше поклонялся гармонии и прославлял ее.

В эти эпохи наблюдается появление множества систем, возбуждающих в большей или меньшей степени сочувствие некоторых общественных групп и вносящих все большую рознь в общество, тогда как старое учение и учреждения, его представляющие, все еще продолжают служить связующим началом

для общества, почти помимо его ведома, или, по крайней мере, противодействуют чрезмерной неурядице.

Различные системы человеческих знаний не составляют больше единства; знания, которыми обладает человек, не образуют больше догмы; совокупность наук не заслуживает более названия энциклопедии, ибо, как бы объемиста она ни была, она является уже не более как конгломератом, лишенным взаимной связи.

В такие эпохи, когда все общественные связи порваны, массы лишь слабо ощущают огромный пробел, обнаруживающийся в нравственной деятельности; для них этот пробел заполняется ростом духовной или материальной деятельности, без симпатической цели, без внушения любви. Но умы высшего порядка с ужасом взирают на открывшуюся бездну, и нравственная пустота либо влагает в их уста горькую, убийственную сатиру, либо внушает им песни печали и отчаяния. В такие эпохи мы наблюдаем появление Ювеналов, Персиев, Гёте и Байронов.

Подведем итог: отличительными чертами органических эпох являются единство, гармония во всех отраслях человеческой деятельности, тогда как эпохи критические отличаются анархией, путаницей, неурядицей во всех направлениях. В органические эпохи совокупность общих идей до сих пор носила название религии; в эпохи критические они выступали под названием философии — выражение, которое

в данном случае имеет лишь смысл разрушения старых верований. Заметим, однако, что идеи, предназначенные служить впоследствии делу реорганизации, также принимают при своем зарождении наименование философии. Наконец, в органические эпохи наиболее возвышенное проявление чувств носит название культа, в самом прямом значении этого слова; в эпохи критические оно получает название изящных искусств,— выражение, содержащее ту же идею критики по отношению к идее культа, какую термин *философия* содержит по отношению к религии. Мы определили общие черты органических и критических эпох: во все эпохи одного характера, в органические или в критические, люди вне зависимости от места и времени всегда заняты — в продолжение органических эпох созиданием, в продолжение критических — разрушением. Различия, которые можно наблюдать между двумя органическими или между двумя критическими эпохами, касаются исключительно характера объекта, который требуется создать или разрушить. Напряженность верования, обширность ассоциации придают каждой из них особый оттенок, но оценка деталей, отличающих одну от другой эпохи одного и того же характера, не представляет большой важности и легко может быть произведена каждым, раз он уловил общие черты всех критических эпох и эпох органических.

Деление, проведенное нами в области истории, будет каждый раз воспроизводиться

в ходе настоящего изложения и подкрепляться новой оценкой фактов, доставляемых нам человеческими преданиями. Эта великая концепция будет служить для нас настоящим компасом при нашем обращении к прошлому; она же, только в другой форме, поможет нам направляться к будущему.

Мы говорим: в другой форме, ибо ныне человечество направляется к конечному состоянию, которое будет избавлено от прежних продолжительных и болезненных смен,— состоянию, при котором прогресс сможет осуществляться непрерывно, без кризисов, постоянно, регулярно и во всякий момент. Мы шествуем к миру, в котором религия и философия, культ и изящные искусства, догмат и наука не будут больше разобщены, в котором долг и интерес, теория и практика не только не будут в состоянии войны друг с другом, но будут вести к одной и той же цели — к нравственному возвышению человека; к миру, в котором, наконец, наука и промышленность дадут нам возможность с каждым днем лучше познать и лучше культивировать его. Тогда разум и сила, братски объединенные между собой, вознесут к источнику, в котором они черпают жизнь, к любви общий благодарственный гимн и получают от него вдохновение, то творческое веяние, без которого они пребывали бы в ничтожестве.

Господа, критическая эра, начавшаяся три столетия тому назад, целиком выполнила свою задачу; разрушение старого порядка

вещей было настолько радикальным, насколько это было возможно, пока отсутствовало откровение нового порядка, подлежащего установлению. Доктрины, рожденные в XVI веке, и те, с которыми они вступили в борьбу, почти уравнивают друг друга; то, что еще остается в массах от последних, достаточно для поддержания порядка внутри общества; то, что утвердилось от первых, достаточно, чтобы противопоставить неодолимую преграду попятному движению. Таким образом, люди, которые хотя и счастливы человечества, которые чувствуют себя в высокой степени воодушевленными желанием подготовить его окончательную организацию, т. е. претворить его мирные судьбы, могут предоставить друг другу два уже одряхлевших общества, два интереса, принадлежащих прошлому. Покинув арену, где силы истощаются в бесплодных спорах, они могут весь свой запас любви, ума и силы посвятить осуществлению того будущего, которое открыл нам Сен-Симон.

Лекция

*четвертая**

АНТАГОНИЗМ. ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ. УБЫВАНИЕ ПЕРВОГО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ ВТОРОЙ

На последнем нашем собрании мы показали вам, господа, каковы были общие черты органических и критических эпох в прошлом.

* Прочитана 28 января 1829 г.

Вы не могли не заметить, что это чередование эпох порядка и неурядицы являлось условием общественного прогресса. Нам остается довести до вашего сознания, что эта постоянная смена видимого величия и упадка, обычно именуемая превратностями судьбы человеческого рода, в действительности есть не что иное, как регулярный ряд усилий, которые делает человечество для достижения некой конечной цели.

Эта цель — всемирная ассоциация¹, т. е. ассоциация всех людей по всему лицу земли и во всех областях их отношений. Но, быть может, нам возразят, что ассоциация — только средство, что речь идет о том, чтобы определить, какова должна быть цель ассоциации, к которой направляется человечество. Для всякого, кто захочет призадуматься над точностью терминов, ясно, что цель и средство — оба выражены в терминах, которые мы здесь употребляем, по крайней мере, в общей форме и что под всемирной ассоциацией следует понимать только сочетание человеческих усилий в мирном направлении.

Так как, однако, термин *ассоциация* применяется в наши дни только к узким сочетаниям, охватывающим лишь один род интересов, то для надлежащей оценки объема этого выражения в той области идей, куда мы его переносим, да еще с присоединяемым к нему эпитетом, нам представляется необходимым отличать среди исторических явлений те, которые ставят человечество вне состоя-

ния ассоциации, от тех, развитие которых имело своей постоянной тенденцией приближение его к этому состоянию.

Когда переносишься на точку зрения, достаточно возвышенную, чтобы одновременно охватить взором прошлое и будущее человечества (термины нераздельные, ибо они представляются нам облеченными одинаковой степенью достоверности, и об одном нельзя судить без представления о другом), то, становясь на эту точку зрения, следует признать, что на протяжении всего своего существования общество переживает два отличных друг от друга общих состояния: одно временное, принадлежащее прошлому; другое конечное, предназначенное для будущего: состояние антагонизма и состояние ассоциации. В первом состоянии различные сосуществующие частные группы видят друг в друге помеху на своем пути и испытывают друг к другу только недоверие и ненависть; каждая из них стремится только уничтожить своих соперниц или подчинить их своему господству. Напротив, в состоянии ассоциации классификация человеческой семьи представляется как разделение труда, как систематизация усилий для достижения общей цели; всякая частная группа видит тогда свое преуспеяние и свой рост в преуспеянии и росте всех других групп.

Мы не хотим, конечно, сказать этим, что поступательное движение человечества подчинено действию двух общих законов — антаго-

низма² и ассоциации: последовательное развитие человеческого рода признает только один закон, и этот закон есть непрерывный прогресс ассоциации. Но именно из того обстоятельства, что в отношении ассоциации наблюдается прогресс, с очевидностью следует, что в ходе этого прогресса должны были представиться факты, стоящие более или менее вне ассоциации. Вот это-то положение вещей мы и называем антагонизмом,— положение вещей, которое, строго говоря, выражает только отрицание, но тем не менее должно быть изучаемо отдельно, если хотят ясно определить различия, существующие между первым и последним этапами общественного развития.

Чем далее мы восходим к прошлым временам, тем более узкой представляется нам сфера ассоциации, тем менее полной оказывается также в пределах этой сферы сама ассоциация. Наиболее ограниченный круг, который, по господствующему представлению, должен был образоваться первым, это семья. История показывает нам общества, не имевшие других связей; на земном шаре существуют и в настоящее время мелкие племена*, у которых ассоциация не распространялась, по-видимому, дальше этого предела. Наконец, вокруг нас в самой Европе мы можем еще наблюдать глубокие следы этого первобытного состояния в социальных отношениях некоторых на-

ций*, которые, в силу особых обстоятельств, были до известной степени изолированы от движения цивилизации.

Первое достижение, совершающееся в развитии ассоциации, это — соединение нескольких семей в один город; второе — соединение нескольких городов в национальный организм; третье — соединение нескольких наций в федеративный союз, связующим элементом которого служит общее верование. Человечество, как мы уже сказали, остановилось на этом последнем достижении, осуществленном католической ассоциацией, и хотя это достижение огромно, если сравнить созданное им общественное состояние со всеми состояниями, ему предшествовавшими, тем не менее следует признать, что и дошедшая до этого этапа ассоциация еще очень далека и в отношении глубины и в отношении обширности от того предела, которого она должна достигнуть. В самом деле, христианство, принцип и экспансивная сила которого давно иссякли, охватило своей любовью и осватило своим законом только одну из форм существования человека и успело утвердить свое слабеющее ныне господство только над частью человечества.

Бросая взгляд на историю, мы легко можем проверить различные фазы прогресса ассоциации. Правда, мы не являемся свидетелями объединения нескольких семей в город, но мы

* Новая Голландия.

* Шотландские кланы, Корсика.

видим позже, как города объединяются в национальный организм: явление подобного слияния мы наблюдаем в Греции, Италии, Испании, Галлии, Германии. В гораздо более близкую к нам эпоху и в гораздо более отчетливой форме мы видим, как нации объединяются до известной степени под властью одного верования и образуют великий католический союз, распавшийся вследствие критической работы последних трех поколений.

Весь ряд указанных нами общественных состояний — семья, город, нация, церковь — представляет глазу наблюдателя картину непрекращающейся борьбы. Борьба эта последовательно царит во всей своей интенсивности сначала между семьей и семьей, затем между городом и городом, нацией и нацией, церковью и церковью. Но она наблюдается не только между различными ассоциациями, о которых мы только что говорили; мы находим ее внутри каждой из них, рассматриваемой в отдельности. Мы видели войны, которые вели между собой народы, составляющие католическую ассоциацию, вели несмотря на то, что эти самые народы не раз показывали, какая мощная связь соединяет их, особенно когда они старались общими силами задержать быстрое развитие ислама и остановить его завоевания. История показывает нам такого же рода соперничества между городами или провинциями, входящими в состав одной и той же нации, а в пределах города — между различными классами

его населения*. Наконец, внутри самой семьи мы опять встречаем борьбу между полами и возрастами, между братьями и сестрами, между старшими и младшими. Зародыши распрей, свойственных каждой ассоциации, продолжают существовать и после их слияния в более обширной ассоциации, но интенсивность их все уменьшается по мере того, как круг становится шире.

Политический строй средневековья показывает нам еще в поразительной форме явление антагонизма во взаимоотношениях двух великих сил, делящих между собой власть над обществом: светской и духовной власти, которые являются отнюдь не результатом гармонического разделения труда между различного рода способностями, а продуктами молчаливого соглашения двух уравнивающих друг друга сил, видящих друг в друге врагов и старающихся беспрерывно вторгнуться в область соперника**.

* В этих последних случаях борьба не имеет, конечно, одного и того же аспекта: у всех участвующих в ней сторон — у раба, у плебея — ее характер прогрессивен, ибо целью ее является освобождение мирного труда; напротив, у патриция, у господина, она включает в себе тенденцию к застою или попятному движению, так как ее цель — поддерживать интересы гавоевания, продлить царство насилия.

** Здесь уместно повторить только что сделанное нами замечание. Борьба не имеет одного и того же характера у обеих сторон: у светской власти она в общем нечестивая, т. е. носит отсталый характер, так как стремится обеспечить торжество меча; у власти

Чтобы исчерпать, наконец, все аспекты антагонизма, мы можем проследить его внутри самого католического духовенства, т. е. внутри общества, наиболее импозантного, наиболее однородного и — если иметь в виду конечную цель человечества — наиболее законного из всех существовавших до сих пор обществ; национальные духовенства и духовенство центральное часто находятся в оппозиции друг к другу; между белым и черным духовенством возникают распри, которые мы видим также среди различных монашеских конгрегации. Эти раздоры, наблюдаемые даже внутри мирного общества, были вызваны, несомненно, наличием разнородного элемента, с которым духовенство находилось в сношениях; вопрос этот нам придется еще рассматривать позже, в настоящий же момент достаточно будет констатировать самый факт.

Показав, что представлял собой антагонизм на различных, ступенях человеческой ассоциации, мы спешим добавить, что в начальных стадиях той или иной социальной организации антагонизм никогда не обладал таким могуществом, чтобы помешать ее существованию и расширению в пределах, необходимых для перехода человечества к более передовой

духовной ее можно считать святой, т. е. прогрессивной, поскольку она, вообще говоря, имеет целью подчинить военную власть власти мирной, права завоевания и рождения — праву способностей.

организации. Но никогда также политическая организация не обладала достаточной энергией чтобы воспрепятствовать развитию заключающихся в ней антагонистических элементов и приобретению ими достаточной силы для ее низвержения и разрушения в тот день, когда люди, под влиянием новых потребностей, начинали стремиться к лучшей организации. Можно сказать, однако, что, подготавливая пути к более широкой ассоциации, ускоряя наступление ассоциации всемирной, антагонизм мало-помалу пожирал сам себя и обнаруживал тенденцию к окончательному исчезновению.

Из всего предшествующего мы можем заключить, что собственно говоря, подлинные ассоциации существовали в прошлом только в виде оппозиции другим, соперничающим ассоциациям, так что все прошлое может быть рассматриваемо по отношению к будущему как одно обширное систематическое состояние войны.

Выражаясь таким образом, мы, конечно, далеки от желания выступить с обвинительным актом против предшествовавших нам поколений: состояния, через которые эти поколения прошли, были необходимыми этапами прогрессивной эволюции человечества, и мы должны смотреть на характеризующие их общие факты как на средства, которые человек должен был употребить, чтобы достигнуть своего назначения. Ясно, впрочем, что принцип ассоциации всегда обладал большей си-

лой, нежели принцип антагонизма, что он все более и более брал верх и что самые импульсы этого принципа служили лишь к полному обеспечению его торжества. Так, например, война, самое яркое проявление антагонизма, приводя к объединению обособленные ранее племена, сделала впоследствии возможной их ассоциацию.

Мы видели, что вместе с поступательным ходом человечества круг ассоциации непрерывно расширяется и что в то же время внутренний принцип порядка, гармонии и единства пускает в ней все более глубокие корни; это значит, что содержащиеся внутри каждой ассоциации элементы борьбы слабеют по мере того, как несколько ассоциаций соединяются в одну³.

Несколько пояснений достаточно будет, чтобы сделать этот важный факт очевидным. Рассмотрим сначала в принципе состояние антагонизма и его общие результаты.

Господство физической силы и эксплуатация человека человеком — два современных, находящихся в соответствии друг с другом факта; последний есть следствие первого. Господство физической силы и эксплуатация человека человеком — причины и следствие состояния антагонизма.

Антагонизм, причиной которого является господство физической силы и результатом эксплуатация человека человеком, — наиболее выдающийся факт всего прошлого. Вместе

с тем этот факт сильнее всего возбуждает наше сочувствие к развитию человечества, ибо с данной точки зрения это развитие может быть выражено постоянным возрастанием господства любви, гармонии, мира.

Это положение о том, что господство силы носит тем более абсолютный характер, чем далее мы углубляемся в прошлое, может вызвать возражение, основанное на существовании жреческих каст в древности, так как до сих пор принято было считать, что они осуществляли господство разума. Мы ответим, что это возражение отпадает, если принять во внимание самую природу общественной организации, во главе которой стояли эти касты, строй отношений, который они имели своей задачей поддерживать и освящать авторитетом разума, и характер той силы, на которую этот разум опирался и которую избрал главным средством своей деятельности. В самом деле, мы увидим тогда, что у древних народов при правлении жрецов, как и при правлении патрициев, всегда освящается именно господство физической силы и что в Индии и в Египте, как и в Греции, в Риме, различия, установившиеся между классами или кастами, точно так же являются политическим выражением различных степеней эксплуатации человека человеком.

Эти различные состояния общества, бесспорно, отличаются друг от друга значительными оттенками, однако самый общий факт, который они представляют, — один и тот же.

Могут возникнуть еще следующие вопросы: почему мы видим общественную власть в одном и том же общем состоянии человечества сосредоточенной то в руках жреческих каст, то в руках касты воинов? С каким фактом непосредственно связано установление господства силы? Произошло ли оно в результате завоевания, или же явилось внутри каждого общества непосредственным продуктом, прямым следствием самой организации, самой природы человека?

Все эти вопросы, как бы любопытны они ни были, не входят в данный момент в рамки нашего изложения.

Для нас достаточно было констатировать, что эксплуатация человека его ближним, каково бы ни было при этом ее происхождение, есть наиболее характерное явление прошлого. Посмотрим теперь, какова была эта эксплуатация в ее начале и каким образом совершилось ее прогрессирующее ослабление.

Бесполезно останавливаться подробно на тех свирепых временах, когда господство силы проявлялось только в разрушении, когда дикарь убивал своего врага и часто даже пожирал его. Перенесемся сначала в ту эпоху, когда побежденный становится собственностью победителя, когда победитель превращает его в орудие труда или наслаждения, перенесемся, одним словом, к институту рабства. Начиная с этой эпохи, факты образуют правильную непрерывную цепь; можно

сказать, что только тогда начинается, собственно говоря, эксплуатация человека человеком.

Переход от состояния людоедства, истребления к первой ступени цивилизации, отмечаемой установлением, рабства, представляет собою огромный прогресс, быть может, наиболее трудно осуществляемый, но мы лишены возможности проследить его промежуточные этапы. Возьмем поэтому за исходную точку тот момент, когда прогресс этот уже совершился и когда взаимная связь фактов от нас больше не ускользает.

Вначале эксплуатация охватывает всю материальную, умственную и нравственную жизнь подвергающегося ей человека. Раб поставлен вне человечества; он принадлежит своему гоподину, как земля, которой тот владеет, как его скот, его движимое имущество; он по такому же праву составляет его вещь. За рабом не признается никаких прав. даже права на жизнь; господин может располагать его жизнью, может по своему усмотрению изувечить его, чтобы приспособить к функциям, для которых он его предназначает. Раб не только осужден на убогую жизнь, на физические страдания; он обречен еще на умственное и нравственное отупение. У него нет ни имени, ни семьи, ни собственности, ни религиозной жизни; наконец, он никогда не может притязать на приобретение какой бы то ни было собственности, в которой ему отказано, и даже на приближение к ней.

Таково рабство в начале его существования. В дальнейшем положение раба становится менее тяжелым; законодатель вмешивается в его отношения с господином, и мало-помалу раб перестает быть чисто пассивной вещью. Ему выдают небольшую часть дохода, получаемого от его собственных трудов, его жизнь ограждается некоторыми гарантиями. Лишь в значительно более позднюю эпоху он может рассчитывать на то, чтобы путем отпущения на волю — события всегда редкого и исключительного — сделать шаг в направлении к гражданскому и религиозному обществу, постепенно вводить свой род в среду человечества, причем, однако, он не перестает быть бесправным и эксплуатируемым до тех пор, пока еще возможно различать его происхождение.

В античных республиках мы находим класс людей, занимающих промежуточное место между классом господ и классом рабов: это плебеи.

Происхождение плебейства неизвестно. Но представляет ли оно завоевание первой ступени в ассоциации благодаря постепенной эволюции рабов или же оно является результатом первоначального соглашения между победителями и побежденными, — во всяком случае, плебей эксплуатируется патрицием подобно тому, как раб — господином, правда, не с такой суровостью и не в столь грубых формах, но все же в очень высокой степени и в тех же отношениях. За плебеем не при-

нается ни религиозное существование, ни существование политическое, ни даже гражданское, так как сам по себе он не может иметь ни собственности, ни семьи; эти привилегии сохраняются за одним лишь патрицием. Плебей может, правда, приобрести их, но только будучи на то уполномочен, получив санкцию патриция и со ссылкой на его имя.

Таково глубокое основание античного патроната, при этом первоначальное низшее положение клиента не позволяет ему достигнуть полноты религиозного и социального бытия даже путем усыновления его патроном: жречество и соединенное с этой функцией знание мистерий остаются для него запретными; только уста патриция считаются достойными истолковывать божественную волю.

Плебей, поставленный с самого начала в более благоприятное положение, нежели раб, достиг также освобождения раньше, чем тот. Его эмансипация, ускоренная благодаря самопожертвованию Гракхов, завершилась при империи, насколько это возможно было в римском обществе. Для того чтобы эмансипация стала полной, необходимо было, чтобы это общество преобразовалось. И это произошло тогда, когда христианство, провозгласив одновременно единобожие и братство людей, совершенно изменило религиозные и политические отношения, отношения человека к богу и людей между собой.

Новая религиозная концепция начала осуществляться политически на Западе. В начале ее господства еще существуют два класса людей: один из них все еще подчинен другому, но положение этого класса заметно улучшилось. Крепостной не составляет больше прямой собственности господина, подобно рабу; он прикреплен только к земле и не может быть отделен от нее; он собирает часть плодов своего труда, у него есть семья; его жизнь охраняется гражданским законом и в еще большей степени — законом религиозным. Нравственная жизнь раба не имела ничего общего с жизнью его господина; у сеньора и крепостного один и тот же бог, одна и та же вера, они получают одно и то же религиозное обучение; одна и та же духовная помощь оказывается им служителями алтаря; душа крепостного не менее ценна в глазах церкви, чем душа барона, — она даже более ценна, ибо, согласно евангелию, бедный — избранник бога. Наконец, семья крепостного получает освящение, как и семья самого сеньора.

Однако это положение, хотя и несравненно лучшее, чем положение раба, все еще только временное: позднее крепостной открепляется от земли, он получает то, что можно было бы назвать правом передвижения, следовательно, он может выбирать себе господина. Правда, и после того, что, строго говоря, может быть рассматриваемо как его освобождение, прежний крепостной носит на себе

в некоторых отношениях печать крепостного состояния: от него еще долгое время требуются личные услуги, барщина, оброки цена его свободы, но эти повинности с каждым днем становятся для него все более легкими.

Наконец, весь класс трудящихся в материальной области — класс, являющийся продолжением класса рабов и крепостных, — делает решительный шаг вперед, приобретая политическую правоспособность путем учреждения коммун.

Уменьшение эксплуатации человека человеком делает уместным некоторые замечания. В институте жреческих каст мы наблюдаем, что духовная сила всегда опирается на силу воинов, главное орудие ее могущества; напротив, в христианском институте она не только отмежевывается от грубой силы, но предает ее анафеме и заставляет ее принимать в своих действиях совершенно новый характер. Таким образом, народы, открыто воевавшие до тех пор между собою в целях разрушения, а затем грабежа и завоевания, теперь словно краснеют за себя перед мирным обществом, которое конституировалось как церковь. Отныне, чтобы вести войну, считают уже необходимым искать предлогов: когда ее предпринимают, то говорят, что это делается для защиты территории или с целью отомстить за оскорбление; признать ее целью общественной деятельности не смеют больше, а выставляют ее только в качестве средства

добиться мира. Одновременно происходит также переворот в общих чувствах: чем более ограниченными были ассоциации, тем больше господствовала в них ненависть, что являлось неизбежным следствием постоянных обид, которые чинили друг другу эти ассоциации, а в пределах каждой из них — различные классы людей, из которых они состояли. Напротив, по мере того как ассоциации становятся обширнее, ненависть перестает быть исключительной формой социальных чувств. Наконец, христианство, провозгласив всеобщее братство, ставит, по крайней мере потенциально, на место ненависти любовь, на место страха надежду. Это преобразование, которому мы обязаны всем прогрессом, достигнутым с начала христианской эпохи, приближается само к моменту, когда оно должно стать полным и окончательным.

Под влиянием христианства материальная деятельность человека отклоняется постепенно от эксплуатации ближнего и все больше обращается к эксплуатации земного шара, хотя она прямо и не побуждается к этому христианским учением. Рассматривая прогресс под этим углом зрения, мы видим, что уменьшение эксплуатации человека человеком вскрывает не менее общий факт, а именно — развитие всех человеческих способностей к мирному направлению.

Католическое духовенство представляет собой первый набросок общества, основан-

ного на сочетании мирных сил, — общества, из среды которого совершенно исключен принцип эксплуатации человека человеком, с какой бы точки зрения его ни рассматривать. Эта ассоциация, принимаемая во внимание окружающие ее внешние условия, могла быть лишь крайне неполной, но в век, привыкший к варварству, она громко заявляет о своем ужасе перед кровью и повторяет изречения: отдайте кесарю кесарево! Мое царство не от мира сего! Другими словами, оставим землю, она подчинена еще мечу. Среди общества, где классовые отношения первоначально определяются саблей, где господствует аристократия, основанная на происхождении, эта всецело мирная ассоциация, попирая привилегии дворянства, привилегии происхождения, провозглашает равенство людей перед богом, распределение небесных кар и воздаяний сообразно делам и осуществляет в своей земной иерархии новый способ распределения функций и чинов не по происхождению, а по способностям, соответственно личным заслугам. В истории пап мы находим блестящие подтверждения этого: в период расцвета католичества почти все они выбирались из среды людей скромного происхождения, которые выдвинулись только благодаря своим способностям. Хотя так называемое светское общество отказывалось подражать духовному, оно до такой степени находилось, однако, под его нравственным влиянием и под влиянием его обучения, что даже вожди наций,

старавшиеся ограничить могущество духовенства, склоняли в то же время голову перед его вождями и гордились титулом сына церкви.

В общем итоге, по мере того как круг ассоциации становился более широким, эксплуатация человека человеком уменьшалась, антагонизм становился менее свирепым, и все человеческие способности развивались все в более и более мирном направлении.

Эта постоянная тенденция достаточно определяет общий характер того окончательного состояния, к которому идет человечество. Однако составить себе отчетливое представление о будущей всемирной ассоциации можно, только представив себе предварительно в общих чертах природу и отношения различных частей, из которых должна будет состоять в то время социальная структура. Эта картина должна получиться из нашего дальнейшего изложения.

Но прежде чем продолжать, мы ощущаем потребность ответить заранее на возможное возражение против слова *окончательное*, которым мы характеризуем состояние всемирной ассоциации, к которой направляется человеческий род.

Мы не хотим сказать, что когда человечество дойдет до этого состояния, оно не будет более иметь надобность в дальнейшем прогрессе; напротив оно быстрее, чем когда-либо, будет идти к своему усовершенствованию. Но эта эпоха будет окончательной для

человечества в том смысле, что она осуществит политическую комбинацию, наиболее благоприятную для самого прогресса. Человеку всегда необходимо будет все больше и больше любить и знать, а также все полнее уподоблять себе внешний мир; поле науки и поле промышленности будут с каждым днем покрываться все более богатой жатвой и дадут ему новые способы все сильнее выразить свою любовь; человек непрерывно будет расширять сферу применения своего интеллекта, своей физической силы и своих симпатий, ибо поприще для его достижений будет бесконечно. Но социальная комбинация, которая будет наиболее благоприятствовать его нравственному, умственному и физическому развитию и при которой каждый индивид, каково бы ни было его происхождение, будет любим, почитаем, вознаграждаем сообразно его делам, т. е. сообразно его усилиям, направленным на улучшение нравственного, умственного и физического существования масс, и, следовательно, его собственного существования,— эта социальная комбинация, при которой все будут непрерывно побуждаться к тому, чтобы подниматься выше в трех указанных направлениях, не поддается совершенствованию. Другими словами, организация будущего явится окончательной, потому что только тогда общество будет устроено непосредственно в целях прогресса.

ОТСТУПЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА

Весь мир, господа, шествует вперед к единству доктрины и деятельности — таково самое общее изложение наших убеждений, такова тенденция, следы которой нам позволяют различить философское рассмотрение прошлого. До тех пор, пока эта великая концепция, рожденная вместе с общими ее выводами гением нашего учителя, не станет непосредственным предметом деятельности человеческого ума, все прежние достижения обществ должны быть рассматриваемы как подготовительные, все опыты организации — как частичные и последовательные приобщения к культуре единства, к царству порядка на всем земном шаре — территориальном владении великой семьи человечества. Однако эти подготовительные труды, эти временные организации семей, каст, племен и наций прошлого, рассматриваемые в новом свете, ясно покажут цель, к которой мы стремимся, и средства ее достижения.

В самом деле, господа, потребность в единстве, любовь к порядку настолько присущи человеку, что прежде чем быть испытанными и удовлетворенными в их последнем предделе — всемирной ассоциации — они, как мы видим, устанавливаются, по крайней мере на

временном фундаменте, сначала в семье путем брака, затем в малочисленных объединениях, наконец, в целых нациях на все более и более обширных пространствах. Таким именно путем различные элементы общего прогресса могли пускать ростки и укрепляться у народов, которые последовательно являлись в некотором роде избранными, с тем, чтобы в каждую эпоху представлять новую ступень, завоеванную человеческим родом.

Заметим, однако, что эти попытки человеческого ума, эти политические организации, уже потому временные, что они не охватывали всей сферы развития человечества, по необходимости должны были заключать в самих себе причину разложения. Этот зародыш смерти, постоянно культивируемый работой, происшедшей вне господствующих доктрин и учреждений, вызывал мало-помалу их разрушение; таково основание нашей первой классификации прошлого на эпохи органические и критические.

Во время органических эпох мы видим, как все умы и все действия из всех точек социальной периферии направляются симпатически к центру общей привязанности; напротив, в эпохи критические старые верования рушатся со всех сторон, избобляемые в их пороках чувствами и потребностями, которых старая общественная связь не сумела охватить, атакуемые настоящим, которое не признает больше традиций и не связывает их с будущим. Вы видите, господа, что эти эпохи

* Прочитана 11 февраля 1829 г

заслуживают еще другого наименования: они являются в настоящем смысле слова религиозными в первом случае, иррелигиозными — во втором.

Мы изложили вам во всей широте свое воззрение на прошлое человеческого рода, рассматриваемого со стороны общего характера учений, под влиянием которых он последовательно выполняет свою миссию и строит свои судьбы.

Прежде чем перейти к перечислению важнейших исторических фактов, взаимная связь которых доказывает правильность предшествующих философских суждений, мы обратим ваше внимание на наиболее общую до нашего времени форму человеческой деятельности.

Эксплуатация человека человеком — вот состояние человеческих отношений в прошлом; эксплуатация природы человеком, вступившим в товарищество с другим человеком, — такова картина, представляемая будущим. Несомненно, эксплуатация внешней природы восходит к самым древним временам, промышленность не есть открытие, предоставленное только будущему; несомненно также, что эксплуатация человека человеком в настоящее время значительно ослабела; не требуется больше разбивать цепи раба. Точно так же прогресс духа ассоциации и относительный упадок антагонизма представляют наиболее полное выражение развития человечества. Другими словами, война и мир —

таковы отличительные черты прошлого и будущего, рассматриваемых с точки зрения, на которую нас поставил Сен-Симон.

Война, в сущности говоря, есть цель антагонизма, рабство есть его орудие и результат. Но сам антагонизм на первых порах цивилизовал мир; это уже до нас заметил Кант¹. Да, господа, институт рабства, придя на смену самому свирепому зверству, самым диким вожделяниям, вначале благоприятствовал развитию человеческого общества: победители подумали о сохранении жизни побежденных, когда зарождавшаяся промышленность заявила спрос на раба как на первое орудие материального производства. Традиционная история человеческого рода не передала нам подробностей этого первобытного варварства; некоторые дикие племена Америки дают нам, однако, живой образ его. Что же мы видим, господа, в первобытном состоянии человеческого рода? Физическая сила эксплуатирует слабость; одни лишь непосредственные вожделения возбуждают тогда деятельность человека; женщины, дети, старики, все слабое стонет под ярмом насилия; охота и война — таковы благородные обычаи героев; под влиянием этих варварских занятий складываются их страсти.

Люди делились, следовательно, в то время на два класса: эксплуатирующих и эксплуатируемых; повторяя сказанное, хотя и в разных смыслах, Аристотелем и Сен-Симоном, мы можем даже утверждать, что в прошлом суще-

ствовавали две различные породы людей: порода господ и порода рабов. На эту вторую человеческую породу первая сначала смотрит как на совершенно чуждую ей; она составляет часть движимого имущества, юридически и физически она не отличается от домашних животных. История покажет нам, как этот самый многочисленный класс непрерывно улучшает свое положение в обществе благодаря мирному характеру труда, которым он занимается. Она расскажет нам также, как это улучшение, подчиняясь общему принципу социальных отношений в прошлом, произошло лишь путем последовательного допущения наиболее выдвинувшихся людей эксплуатируемого класса в ряды привилегированных, составляющих класс господ. В конце концов человеческий род разобьет все эти цепи, которые надел на него антагонизм; наступит день, когда человек, освобожденный и совершенно отделенный от животных, после того как он прошел школу войны, а затем отверг ее, организуется в целях мира.

Такова, господа, вторая точка зрения, с которой мы смотрим на поступательное шествие человеческого общества. Перейдем теперь к крупным историческим фактам.

Европа — мировая метрополия: с появлением христианства Восток перестал просвещать Запад, и христианство, связав развитие европейских народов с прогрессом, достигнутым раньше народом Моисея, позволяет нам постигнуть итог восточных учений.

В самом деле, исторические предания показывают нам, что Моисеева организация сложилась в одно время с заселением Греции выходцами из Египта. Все другие истории относятся ко временам более поздним сравнительно с этими событиями, раньше которых нельзя найти ни одного точного предания, ни одного точного документа. Совокупность обстоятельств, которые мы в настоящее время не в состоянии проследить, позволила еврейскому народу, вышедшему из Египта в эпоху основания первых колоний в Греции, получить от Моисея гораздо более крепкую, более цельную организацию, чем организация его спутников по эмиграции или изгнанию.

Представление о единстве бога, связывающее реально единство действия с единством учения, не встречается у греческих народов до Сократа; даже с этого времени оно играет, как мы сейчас покажем, лишь критическую роль, правда, очень важную в ряду человеческого прогресса. Таким образом, органическая или религиозная цепь европейской расы должна восходить главным образом к Моисею.

Каков был характер этого первого социального единства? Какова была воля бога Моисеева? Зажатое в пределы маленькой территории, неизвестное всему прочему миру, еврейское единство не есть мирное и конечное единство человеческого рода. Достигнув полноты своей политической организации

путем истребления народов, противившихся его шествию вперед, испытывая на себе самом кровавые расправы самой суровой дисциплины, еврейский народ пока он жил под могучим господством Моисеева закона не был, однако, воинственным народом по преимуществу. Он не имел своей миссией цивилизовать мир путем завоевания; ему надлежало разработать и завещать своим преемникам философскую концепцию самого единства. Поэтому рабство у евреев под влиянием религиозного и политического единства, основы которого были заложены Моисеем, носило относительно мягкий характер.

Однако политическое единство еврейского народа с самого начала разбивается: учреждение царской власти военного характера приводит к распаду колен Якова; народ вторично уведен в плен; все предвещает великую перемену в истолковании божественной воли; закон становится, наконец, предметом критики реформаторов.

С другой стороны, греческое многобожие разлагается; остатки его сохраняются в мистериях, когда Сократ провозглашением единства подводит итог критике всех античных догм и, умирая, наносит им в ответ смертельный удар, который ему нанесли они.

Тогда единство деятельности и доктрины появляется вновь, опираясь на фундамент, который должны были значительно расширить римское могущество и труды последо-

вателей Платона. С одной стороны, ученик Сократа, противопоставляя греческому политеизму единство бога, освобождал свою концепцию от всякого представления о месте и времени,— отличная подготовка, чтобы осуществить скоро через Христа призвание язычников. С другой стороны, Рим, в котором стареющий дух войны находил себе еще достойного представителя, связывал со своей собственной судьбой судьбу всех других народов; владыка их земного бытия, он открывал неизмеримое поприще для учения, которое должно было объединить их верования. Наконец, евреи стали массами переселяться из Иудеи, и народ божий начинал чувствовать, что у него есть братья за пределами Священной земли.

В это время открывают свои школы Александрия; греческая философия и восточные догмы сталкиваются друг с другом; здесь определяются духовные судьбы человечества, горячо дебатированные вдаль от власти меча и полностью отделяемые от прав цезаря, причем эти столь могущественные до тех пор права даже не подвергаются обсуждению! Словом, христианство не освящает больше войны; оно еще щадит ее, но обещает мир всему миру.

Мы подходим к самому важному политическому факту, порожденному христианством,— к разделению власти на светскую и духовную, к отделению церкви от государства, мирного общества от общества воинственного. Но прежде чем показать вам благотворное

влияние этого разделения на будущее человечества, мы считаем необходимым представить еще некоторые исторические соображения в подтверждение предшествующего и в то же время для характеристики состояния старого мира, который христианство пришло возродить.

Колонии, основанные Кекропсом, Инахом и многими другими, занесли, несомненно, в Грецию публичное учение египетских жрецов, тогда как Моисей сумел овладеть их тайным учением с тем чтобы его усовершенствовать. Однако Моисей, как мы уже сказали, не смог основать настоящую мирную ассоциацию. В этом обществе столь цельном и столь религиозном, рабство играло еще довольно важную роль; война пользовалась еще почетом в Иерусалиме, и кровавые обычаи, пережиток античного варварства, хотя и были видоизменены, но не уничтожены.

Организация греческих колоний носила жреческий и военный характер; в Риме два основателя, один — воин, другой — жрец, воспроизводят эту двойственную организацию*; единство бога, которое выражает основную связь, скрепляющую единство доктрины и деятельности, являющееся необходимым фундаментом для гармонии догмы и к у л ь т а, остается неизвестным этим народам, которым суждено было, однако, своими

* См. предыдущую лекцию о тождестве власти жрецов и патрициев в древности.

завоеваниями облегчить установление христианства.

По мере того как завершался захват греками Малой Азии и прилегающих островов, после того как Александр своими военными походами в Персию вплоть до самой Индии уничтожил политическое влияние, которое Азия оказывала на Европу, наконец, когда народ-властелин подчинил своим законам весь известный тогда мир, по мере того, говорим мы, как расширялся таким образом материальный базис цивилизованного общества в Европе, выявились два замечательных факта: религиозные узы греческого и римского народов были порваны, в то время как эти народы оказались пресыщенными военной славой. Первый из этих фактов ясно изложен у классических историков, которые знакомят нас со всеми элементами этой длительной критики древних греческих и италийских учений. Несмотря на привлекательность изящных искусств в Греции и Риме, вопреки Гомеру, Гесиоду и Вергилию скептицизм и доктрины Эпикура, провозгласившиеся с трибуны, повторявшиеся в театре, скоро развенчали языческие божества.

При виде этого разрушения казалось, что приходится терять веру в судьбы человеческого рода; но вспомните второй факт, о котором мы только что упомянули: Рим был пресыщен славой.

В самом деле, посмотрите, господа, как рабство утверждается сначала в Греции и в

Риме во всей суровости, которую может придать ему победа; подумайте о военной дисциплине, которая при прямой поддержке религии или подстегиваемая духом завоевания почти во всех областях отношений превращала власть в деспотизм; вспомните, наконец, об ужасном праве жизни и смерти, которое отец сохранял над детьми, как и господин над своими рабами.

Вот тут, господа, и совершалась, пока еще скрыто, другая критика, но критика, исполненная надежд: слабый, бедный раб и — надо ли еще прибавить — женщины стали давать спасителя.

Вернемся, однако, к великому разделению, установленному христианством, под названием католичества, между духовной и светской властью. Мы не станем подробно развивать здесь преимущества, вытекавшие отсюда для усовершенствования человеческого рода, а остановимся только на общем характере этого разделения.

Учения церкви, совершенно чуждые военной власти, были выработаны, как мы уже сказали, без всякой заботы о правах Кесаря. Гонимая и тем не менее миролюбивая церковь считается с иерархией антагонизма, но в своем лоне она основывает достоинство на личных заслугах, а не на происхождении. Она не вмешивается в отношениях между господином и рабом, чтобы освятить и, таким образом, признать право завоевания, как это делали все религии прошлого; напро-

тив, она учит господина, что бог нелицеприятен, что светская иерархия ничто в его глазах, так как он отдает бедному предпочтение перед богатым, слабому — перед сильным мира сего. Таким образом церковь, или христианская ассоциация, по существу своему миролюбивая, основывала свое могущество на братстве людей. Напротив, светская власть была представлена военной властью Кесаря, и церковь по необходимости должна была предоставить ей организацию и управление большинством материальных актов общества, над которым в эпоху появления христианства всецело властвовал меч.

Это разделение двух властей, соперничавших между собой вследствие разного характера их целей и различия их происхождения, неизбежно должно было привести к борьбе, полезной для человечества в целом, т. е. гибельной для господства меча. Но борьба эта, беспрерывно поглощавшая внимание церкви, в немалой степени мешала ей развивать возвышенное учение, завещанное ей: ее догма и культ, даже самая мораль ее должны были испытать на себе влияние этой борьбы и потому остаться почти в застойном состоянии, несмотря на постоянный прогресс человеческих обществ.

Труды Аристотеля в области физических наук, забытые одновременно с тем, как труды Платона слились с еврейскими учениями при выработке христианства,— эти труды, прямо стремившиеся опровергнуть старые научные

теории, появились вновь в XI столетии, импортированные в Европу главным образом благодаря переводам и комментариям арабов. Церковь, находившаяся тогда в апогее своего влияния на государей, которые гордились своей зависимостью от нее, завладела частью этих трудов. Предчувствуя борьбу, которая должна была скоро завязаться, она с особым интересом отнеслась к открытиям Аристотеля, касавшимся механизма рассуждения, и таким образом была основана схоластика. Но другие части сочинений Аристотеля, хотя они также были приняты духовенством, явились несомненно слишком поздно, чтобы быть усовершенствованными непосредственно в религиозных целях, т. е. чтобы помочь усовершенствованию общепринятой и господствовавшей уже в течение нескольких веков церковной догмы.

Здесь начинается вне церкви ряд достижений, которыми сами короли не пренебрегли впоследствии завладеть, чтобы воспротивиться тому, что они называли захватами духовной власти.

С другой стороны, организация духовенства, в принципе превосходная, так как она являлась мирной, не могла не покрыть себя вскоре некоторыми пятнами вследствие своего постоянного соприкосновения с обществом, которое материально было тесно связано с мечом и жило за счет рабского труда. В лоне церкви проникли светские злоупотребления, и с тех пор ее падение стало несомненным.

Начало реформации и поддержка, которую она в своей атаке на церковь в лице ее центра нашла у философов, вооруженных достижениями арабской науки, едва пробудили духовенство от его летаргического сна. Однако, и само католичество, позабыв о своей мирной миссии, в свою очередь становится кровавым гонителем. Уже близкий к утрате своего нравственного господства над миром, лишенный того могучего слова, благодаря которому он завоевал этот мир, средневековый колосс последним усилием еще изумляет Европу и светит ей: в XVI столетии он пытается подогреть человеческие симпатии художественными шедеврами, а мощный орден иезуитов озаряет ярким блеском последние дни его агонии. Но все эти великолепные усилия остаются тщетными, а взрыв французской революции, опрокинув древний трон Кесаря, наносит смертельный удар кафедре св. Петра.

Виновники разрушения тщетно пытаются тогда воссоздать социальный порядок при помощи орудий его гибели: импровизируемые ими здания рушатся по мере того, как они их возводят. Наконец, современный Цезарь предпринимает последнюю попытку реорганизации, но он опять-таки опирается на меч через 18 столетий после того, как было возвещено слово мира,— и меч вырывает ему могилу на рубеже цивилизованного мира.

Общество ждет обетованной ему мирной организации. Сен-Симон, господа, заложил

е фундамента; он указал нам конечную цель, к которой должны сходиться все людские дарования; эта цель—полное уничтожение антагонизма, всемирная ассоциация при помощи и в целях все большего улучшения нравственного, физического и интеллектуального состояния человеческого рода.

Лекция *шестая**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Господин, раб.— Патриций, плебей.— Сеньор, крепостной.— Праздный, трудящийся.

Показав вам, господа, в антагонизме наиболее выдающийся факт, представляемый всеми общественными организациями прошлого, мы проследили в самых общих чертах уменьшение эксплуатации человека человеком, которая до настоящего дня была самым ярким его выражением. Мы нарисовали перед вами постоянное ослабление движущего начала ассоциаций прошлого,— ассоциаций в большей или в меньшей степени воинственных, но все же носящих военный характер, так как они не были всемирными; мы хотели дать вам, таким образом, первое представление о конечной цели, к которой идет

человеческий род главным образом в лице наиболее просвещенных наций земного шара. Мы пришли к тому заключению, что будущее, к которому он подвигается, есть такое состояние, при котором все его силы будут сочетаться в мирном направлении.

Однако это краткое изложение, показавшее вам непрерывное приближение человечества к всемирной ассоциации, не может дать вам отчетливого понятия ни об экономии политического строя, когда общество дойдет до этого этапа, ни о возможности его осуществления. Чтобы прийти к точным воззрениям в обоих этих отношениях, необходимо проследить последовательные преобразования важнейших социальных институтов и определить, каким видоизменениям они должны еще подвергнуться, чтобы принять свою окончательную форму и характер.

Мы сказали, что человечество, начиная уже с настоящего момента, должно работать непосредственно над осуществлением всемирной ассоциации: в самом деле, эта общественная комбинация есть первое и единственное органическое состояние, представляющееся ему как завершение всех шагов, уже сделанных им в своем поступательном шествии. Но мы не хотим этим сказать, что для достижения подобного результата сейчас остается лишь собрать воедино разрозненные элементы существующего общественного строя. Беспорно, если сравнить нынешнее состояние этих элементов с их состоянием в предшеству-

* Прочитана 25 февраля 1829 г.

ющие эпохи, то они окажутся весьма близкими к требованиям будущего, к которому мы идем; мы видим даже, что большинство из них благодаря инстинктивным усилиям в большей или меньшей степени уже пошло в этом направлении. Тем не менее отсюда далеко еще не следует, что они не должны больше подвергаться преобразованию, и когда мы заявляем, что человечество уже с сегодняшнего дня должно начать работу над осуществлением всемирной ассоциации, то мы главным образом хотим этим сказать, что оно должно заняться преобразованием воспитания, законодательства, организации собственности и всех общественных отношений так, чтобы возможно скорее осуществить условия своего будущего существования.

Антагонизм, господство физической силы, эксплуатация человека человеком в настоящее время, несомненно, значительно ослабели, они проявляются лишь в настолько смягченных и косвенных формах, что с первого взгляда их даже как будто трудно распознать; тем не менее, они существуют под этими формами, и интенсивность их еще очень велика. Речь идет в данном случае не о явлениях критической борьбы, начавшейся в XVI столетии, а лишь о фактах, проявившихся при господстве последней органической эпохи и длившихся среди этой критической реакции вплоть до нашего времени. Попытаемся отметить сейчас главнейшие из них.

Давно уже не ведутся более истребитель-

ные и завоевательные войны подобные тем, которые имели место в древности и в первые века средневековья. Изменились форма и цель войн; они утратили свой варварский характер. Воюющие стороны не жаждут больше грабежа, ни даже территориальных приобретений, в значительном большинстве случаев они оспаривают ныне друг у друга торговые привилегии. Но если антагонизм и изменил свою цель, то он все же существует между народами, и меч все еще остается высшим арбитром в их неразумных спорах.

Внутри современных обществ господство физической силы проявляется еще с полной очевидностью в формах государственного управления, в законодательстве и особенно в отношениях, установившихся между полами,— отношениях, при которых над женщиной все еще тяготеет проклятие, брошенное ей некогда воином, и где она представляется лицом, подлежащим вечной опеке.

Наконец, эксплуатация человека человеком, которую мы отметили в прошлом в самой прямой и грубой форме — в форме рабства,— находит в значительной степени свое продолжение в отношениях между собственниками и трудящимися, между хозяевами и наемными рабочими. Существует, конечно, большое расстояние между соответствующим положением этих классов в настоящее время и тем положением, какое занимали в прошлом господа и рабы, патриции и плебеи, сеньоры и крепостные. На первый взгляд кажется

даже, что нельзя делать между ними никакого сопоставления; тем не менее, приходится признать, что одно есть лишь продолжение другого. Отношение хозяина к наемному рабочему есть последнее преобразование, которому подверглось рабство. Если эксплуатация человека человеком не носит больше того грубого характера, какой она носила в древности, если она является нам теперь только в смягченных формах, то она не перестает оттого существовать в действительности. Рабочий не составляет прямой собственности своего хозяина, какою был раб; его положение, всегда временное, определяется обоюдным соглашением; но разве соглашение это действительно свободный акт со стороны рабочего? Нет, ибо рабочий, вынужденный рассчитывать на свой вчерашний заработок, чтобы кормиться сегодня, должен под страхом голодной смерти согласиться на предлагаемую ему сделку.

Нравственный догмат, в силу которого никто не должен быть обречен на неспособность из-за своего происхождения, давно проник в общее сознание, и современные политические конституции определенно санкционировали его. Казалось бы поэтому, что между различными классами общества должен происходить теперь постоянный обмен семей и индивидов, их составляющих, и что благодаря этой циркуляции эксплуатация человека человеком, если она еще продолжается, должна носить текучий характер, по крайней

мере поскольку речь идет о поколениях, над которыми она тяготеет. На деле, однако, этот обмен не имеет места, и за некоторыми исключениями преимущества и невыгоды, свойственные каждому общественному положению, передаются по наследству; экономисты озаботились констатацией одной из сторон этого факта — наследственности нищеты, когда они признали существование в обществе класса пролетариев. Ныне вся масса трудящихся эксплуатируется людьми, собственностью которых она утилизирует; даже руководители промышленности подвергаются этой эксплуатации в своих сношениях с собственниками, но в несравненно более слабой степени; они, в свою очередь, участвуют в привилегиях эксплуатации, которая всей своей тяжестью падает на рабочий класс, т. е. на огромное большинство трудящихся. При таком положении вещей рабочий является прямым потомком раба и крепостного; он лично свободен, он не прикреплен больше к земле, но этими и ограничиваются все его завоевания. В этом состоянии юридически свободного человека он может существовать только на условиях, диктуемых ему малочисленным классом людей, которых законодательство, рожденное правом завоевания, облакает монополией богатств, т. е. правом располагать по своему усмотрению, даже пребывая в праздности, орудиями производства.

Достаточно бросить взгляд на все происходящее вокруг нас, чтобы признать, что

рабочий, оставляя в стороне вопрос об интенсивности, эксплуатируется материально, интеллектуально и морально, как некогда эксплуатировался раб. В самом деле, ясно, что своим трудом он едва может удовлетворить собственные потребности и что не от него зависит возможность получить работу. Его положение еще более ухудшается, если он настолько неблагоприятен, что считает, будто и ему предназначены судьбой радости, дающие счастье богатому, т. е. если он берет себе подругу жизни и создает семью. Может ли рабочий, угнетаемый нуждой, иметь время для развития своих интеллектуальных способностей, своих нравственных привязанностей? Может ли он даже возыметь стремление к этому? А если бы он испытывал это стремление, кто дал бы ему средства для его удовлетворения? Кто сделал бы науку доступной для него? Кто признал бы излишняя его сердца? Никто о нем не думает, жалкое физическое существование ведет его к огрубению, а огрубение — к развращенности, источник новых бедствий; образуется порочный круг, каждая точка которого внушает отвращение и ужас, вместо того чтобы вызывать только жалость '.

Таково положение большинства трудящихся, которые во всех обществах составляют огромное большинство населения. И, однако, этот факт, столь способный возмутить все чувства, остается ныне незамеченным нашими любителями политических умозрений. Приви-

легированные люди нашего века самодовольно перечисляют успехи, сделанные свободой, филантропией; они восхваляют режим равенства, который, по их словам, освятили наши конституции, объявившие, что все граждане допускаются к занятию общественных должностей. Все эти достижения они рекомендуют любви и восхищению масс как высшее выражение, последний предел цивилизации, — жестокая ирония, если бы можно было предположить, что люди, которые так выражаются, серьезно изучали окружающее их общество.

Лишь те перевороты могут быть прочными, законными, лишь те из них заслуживают сохранения их в памяти человечества, которые улучшают участь наиболее многочисленного класса; все перевороты, носившие такой характер, постепенно ослабили эксплуатацию человека человеком. Теперь может быть лишь один переворот, способный воспламенить сердца и наполнить их чувством вечной благодарности: это переворот, который полностью и во всех видах положит конец указанной эксплуатации, ставшей нечестивою в самой своей основе. Этот переворот неизбежен, а пока он не совершился, такие столь часто повторяемые выражения, как *последний предел цивилизации, наш век просвещения*, останутся фразами, приходящимися по вкусу лишь некоторыми привилегированным эгоистам.

Перечисляя факты, завещанные нашей эпохе последним органическим периодом,

мы говорили об антагонизме, продолжающем существовать между народами под новой формой торгового соперничества. Мы вернемся еще к этой теме, когда займемся всемирной ассоциацией с точки зрения промышленности,— состоянием, при котором различные нации, размещенные на земном шаре, должны являться только членами одной обширной мастерской, работающими под господством общего для всех закона над осуществлением одного и того же назначения. Мы показали факт проявления грубой силы в формах государственного управления и в области законодательства. Мы вернемся и к этому вопросу, когда будем трактовать о воспитании, о его благотворном и прогрессивном влиянии, о постепенной замене чисто материальных санкций принудительного законодательства, которое предоставляет злу свободно расти и умеет только обвинять, осуждать и наказывать, санкциями воспитательными, исправляющими дурные наклонности и направляющими их к добру.

Мы указали, наконец, как на одну из самых серьезных сторон ассоциации — на отношения, устанавливаемые ею между полами; этот пункт будет предметом специального изложения, и нам придется показать, как женщина, сначала рабыня, или по крайней мере в положении близком к рабству, мало-помалу становится товарищем мужчины и с каждым днем приобретает все большее влияние в социальном строе; как причины, обуславливав-

шие до сих пор ее подчиненное положение, постепенно ослабевая, должны просто, наконец, исчезнуть и унести с собою владычество мужчины, опеку, вечное состояние несовершеннолетия, в котором еще держат женщин и которое было бы несовместимо с будущим общественным строем, предусматриваемым нами.

В настоящий момент предметом нашего рассмотрения будет эксплуатация человека его ближним, эксплуатация, продолжающаяся и ныне и выражающаяся в отношениях между собственником и трудящимся, между хозяином и наемным рабочим. Мы намерены проследить ее сейчас на факте, который играет в ней доминирующую роль и составляет ее ближайшее основание,— на структуре собственности, передаче богатства путем наследования в пределах семьи.

Может показаться, согласно общераспространенному предрассудку, что какие бы перевороты ни происходили в обществах, переворота в области собственности не произойдет. Люди, придерживающиеся самых различных политических и религиозных взглядов, вполне согласны между собой на этот счет; все они при малейшем признаке какого-либо новшества в этом отношении тотчас апеллируют ко всеобщему сознанию, которое, по их словам, провозглашает собственность основой политического строя.

Оставаясь в границах этих общих терминов, мы также, если угодно, повторим, что

собственность есть фундамент политического строя. Но собственность есть социальный факт, подверженный, как и все другие социальные факты, закону прогресса; она может, следовательно, в разные эпохи быть по-разному понимаема, определяема и регулируема.

Если допустить, что эксплуатация человека человеком постепенно ослабевает; если симпатия подсказывает нам, что эксплуатация должна совершенно исчезнуть; если человечество действительно приближается к такому положению вещей, при котором все люди, без различия происхождения, будут получать от общества воспитание, наиболее пригодное для того, чтобы сообщить их природным дарованиям все развитие, на какое они способны; если их положение будет определяться обществом сообразно их заслугам и они будут вознаграждаться соответственно их делам,— то ясно, что организация собственности должна быть изменена, ибо в силу этой организации некоторые люди рождаются с привилегией жить, ничего не делая, т. е. жить за счет другого, а это есть не что иное, как продолжение эксплуатации человека человеком.

Один из этих фактов может быть логически выведен из другого: эксплуатация человека человеком должна исчезнуть; организация собственности, благодаря которой этот факт увековечивается, должна, следовательно, также исчезнуть.

Но нам возразят, что собственник, капиталист вовсе не живут за чужой счет: то, что рабочий платит им, есть не что иное, как выражение производительных услуг орудий производства, которые они ссудили. Если и допустить, что эти производительные услуги реальны,— мнение, которое мы не станем сейчас рассматривать,—остается еще выяснить в занимающем нас вопросе, кто должен располагать этими неодушевленными слугами, чьей собственностью они должны быть, кому они должны быть переданы.

Чтобы оправдать современный способ их присвоения, необходимо безусловно обратиться к одному из трех великих принципов, на которые до сих пор ссылались с этой целью: к божественному праву, естественному праву, полезности. Между тем, какого бы из этих принципов ни придерживаться, мы должны будем признать, что если допустить, что человек прогрессирует, то божественное право и естественное право также прогрессируют и полезность меняется в соответствии с членами прогрессии. Таким образом, остается узнать, какое решение должны в настоящее время вынести в вопросе о собственности божественное право, естественное право и полезность.

Мы видим, что собственность рассматривается обычно как неизменный факт, а между тем при изучении истории мы наблюдаем, что законодательство не переставало вмешиваться либо с целью определения характера пред-

метов, которые могут стать собственностью, либо с целью регулирования пользования ими и их передачи.

Вначале право собственности распространяется и на вещи и на людей; последние составляют даже наиболее важную, наиболее ценную ее часть: раб принадлежит господину по такому же праву, как домашний скот и материальные предметы. На первых порах осуществление права собственности над личностью раба ничем не ограничивается. Позже законодатель устанавливает границы для привилегии пользования и злоупотребления, которой человек-собственник располагал в отношении раба, т. е. человека-собственности. Эти границы все более и более суживаются. Господин с каждым днем теряет какую-нибудь часть раба, моральную, умственную или материальную, пока, наконец, моралист и законодатель не сходятся в установлении принципа, что человек не может больше быть собственностью своего ближнего. Это вмешательство, в силу их власти, в вопрос о праве собственности соответствует самому коренному преобразованию, какое испытала когда-либо человеческая ассоциация.

Законодатель также вмешивался в право собственности с целью регулирования способов ее передачи. Например, в том ряде цивилизации, к которому мы непосредственно принадлежим, можно наблюдать приблизительно на протяжении 15 веков три состояния соб-

ственности, рассматриваемой с точки зрения способа ее передачи, причем все три способа были санкционированы законодательством и нравами. Сначала собственник имел право распорядиться по своему усмотрению, кому будет принадлежать после его смерти имущество, которым он владеет; он мог лишиться свою семью наследства или произвольно разделить его между ее членами. Затем ему заявили: «Отныне закон укажет вашего наследника; ваше имущество сможет передаваться только детям мужского пола, а среди них — одному только старшему». Позже законодатель снова изменил регламентацию наследования и стал делить имущество отца между всеми детьми поровну.

Эти перевороты, производившиеся законодательством в области права собственности, не могли бы быть проведены на практике, если бы оно не имело за собой нравственной санкции. На самом деле такого расхождения никогда не бывало; совесть всегда находилась в гармонии с волею законодателя, по крайней мере в течение долгого времени; в выражении его воли она всегда в любую эпоху признавала волю самого бога или, говоря языком критики, волю природы.

В результате указанных нами переворотов, имевших одним из своих главных последствий все большее дробление богатств, право собственности, рассматриваемое само по себе и притом абстрактным путем, как это принято делать т. е. независимо от всякой

способности к труду, дошло в настоящее время до своего последнего преобразования, и даже в этом состоянии оно продолжает терять с каждым днем некоторую долю сохранившегося за ним значения. Значение это основано на привилегии взимать вознаграждение с чужого труда; между тем это вознаграждение, представляемое в настоящее время процентом и арендной платой, непрерывно сокращается. Условия, согласно которым регулируются отношения между собственником, капиталистом и трудящимися, становятся все более выгодными для последних; иными словами, привилегию праздного существования становится все труднее приобрести и все труднее сохранить.

Это краткое изложение в достаточной мере доказывает, что право собственности, которое принято считать огражденным от всякого пересмотра с точки зрения моральной, от всякого переворота с точки зрения законодательства, не переставало подвергаться вмешательству и моралиста и законодателя со стороны ли природы объектов владения или со стороны способов пользования ими и передачи их. Мы видим, что в этом последнем отношении конечной стадией изменений было предоставление более значительной ее доли большему числу трудящихся, в результате чего социальный вес праздных собственников упал пропорционально весу, который с каждым днем приобретали трудящиеся. Теперь стало необходимым последнее изменение;

задача моралиста — подготовить его, позже наступит очередь законодателя — предписать его. Подмеченный нами закон прогресса имеет тенденцией установить такой порядок вещей, при котором государство, а не семья, будет наследовать накопленные богатства, поскольку они образуют то, что экономисты называют фондами производства.

Мы должны предвидеть, что некоторые лица будут смешивать эту систему с системой, известной под названием общности имущества. На самом деле между ними нет ничего общего. В социальной организации будущего, как мы уже сказали, каждый должен будет занимать место сообразно своим способностям и вознаграждаться соответственно своим делам; это в достаточной мере указывает на неравенство частей. Напротив, при системе общности все доли равны, и против подобного способа распределения по необходимости возникает много возражений. Принцип соревнования устранен там, где праздный наделяется так же выгодно для себя, как и человек трудолюбивый, и где последний видит, следовательно, что все общественные тяготы падают на него. Это с достаточной ясностью свидетельствует о том, что такое распределение противоречит принципу равенства, на который ссылались, когда требовали его установления. Сверх того, при этой системе равновесие ежеминутно нарушалось бы, неравенство имело бы постоянную тенденцию к возрождению и постоянно возрож-

далось бы, а это беспрестанно вызывало бы необходимость в новом разделе.

Приведенные возражения обоснованы и неопровержимы, когда они направлены против системы общности имуществ, но они лишены всякой ценности, когда их противопоставляют принципу классификации и вознаграждения сообразно способностям и делам, — принципу, которому, по нашему мнению, суждено регулировать будущее. В этом легко убедиться из нашего дальнейшего изложения.

Лекция

*седьмая**

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ

Господа, при рассмотрении различных вопросов, относящихся к регулированию общественного строя, обычно возникают двоякого рода соображения: соображения права и соображения пользы. Присматриваясь внимательно к тому, какое важное значение придается этому различию в самых серьезных спорах, можно было бы подумать, что нравственный порядок есть состояние постоянно-го антагонизма, что общества непрестанно подвергаются противоречивым побуждениям двух начал — доброго начала, или права, и дурного, или полезности — и что так как человеку приходится отказаться от надежды,

* Прочитана 11 марта 1829 г.

что когда-либо возможно будет их примирить, то ему остается лишь выбирать между ними. В этом состоянии неустойчивости замечательно то, что люди, имеющие репутацию самых мудрых, пользующихся, быть может, самым высоким уважением, принадлежат как раз к тем, которые останавливают свой выбор на пользе, т. е. на том, что в области нравственных умозрений считается отвечающим дурному началу. Если бы это противоположение было обосновано, то отсюда следовало бы, что человек всегда поставлен перед альтернативой долга и интереса, самоотречения и эгоизма, вечных жертв и вечной безнравственности. К счастью, участь человечества не столь Сурова: эта несовместимость между долгом и интересом, как и обычно устанавливаемая несовместимость теории и практики, систем и фактов, общего блага и блага частного, бывает реальна только в критические эпохи, т. е. в эпохи недоверия, ненависти, неурядицы, когда люди перестают замечать нравственную связь, соединяющую интеллектуальный порядок с порядком материальным, общий интерес — с собственным, факты общего характера — с частными. В органические эпохи, а других эпох человечество не должно больше знать * эти различия имеют постоянную тенденцию исчезать не только

* Напомним здесь еще раз, что все прошлые эпохи, которым мы сами даем название органических, были таковыми лишь в несовершенной форме и все носили предварительный характер.

для каждой отдельной ассоциации, но и для человечества в целом, которое должно образоваться единою ассоциацию. Тогда устанавливается единство между всеми стремлениями человека; нравственный порядок господствует одинаково над порядком интеллектуальным и порядком материальным, над мыслями и поступками, наконец, эгоизм и самоотверженность, интерес и долг, право и польза сходятся в одной цели, или, лучше сказать, становятся тождественными; это две различные стороны, два разных проявления каждого общественного факта, так же как промышленность и наука лишь две стороны, в которых проявляется индивидуальная и коллективная жизнь.

Если при трактовке вопроса о собственности мы принимаем в расчет упомянутое разграничение, если мы рассматриваем его с каждой из двух точек зрения отдельно, то делаем это исключительно из снисхождения к установившимся предубеждениям, как и для того, чтобы сообразоваться с нынешними навыками языка и способами рассуждения*.

* Во всем предшествующем изложении указана или, точнее, поставлена самая обширная проблема, какая только занимала человека, притом во множестве форм: проблема о двух принципах добра и зла, первородного греха и искупления, свободы воли и благодати и т. д. Сен-симонистское решение будет дано прямо в следующем томе (см. «L'Organisateur», год 1-й, №№ 33, 35, 37); но уже сейчас мы призываем читателя подумать на эту тему, ибо здесь он имеет дело с самой сущностью сен-симонистского учения; учение это положит конец антагонизму, господствующему вплоть до

Чтобы утвердить нерушимость, можно сказать, почти святость существующей ныне организации собственности, ссылаются то на божественное право, то на естественное право, то на принцип полезности: во имя этих принципов ее провозглашают не подлежащей реформам, огражденной от воздействия моралиста и законодателя. Чем шире распространены эти взгляды, чем больше они укоренились, тем больше стараний мы должны были приложить, чтобы их опровергнуть. Мы уже показали, что эти три принципа, на которые принято опираться, чтобы изобразить собственность абсолютным, неизменным правом, санкционировали ряд переворотов, которым подвергалось это по существу изменчивое право. Для оправдания нового изменения, которое, как мы возмещаем, должно совершиться в строе собственности, мы показали, что изменения, принудительно внесенные в нее законодателем, шло ли дело о природе собственности, о пользовании ею или о передаче ее,—никогда не оставались без санкции моралиста; мы показали, что сознание людей всегда находилось в гармонии с различными состояниями собственности. Мы видели также, что доля продуктов, предоставляемая трудящимся, постепенно возрастает, тогда как право собственника теряет часть своего значения в руках праздных, и что в том ряде

наших дней между людьми и обусловленному неизменной верой их в первичный дуализм, вечный и протворечивый в двух своих выражениях.

цивилизации, к которому мы непосредственно принадлежим, можно наблюдать несколько последовательных состояний собственности (рассматриваемой с трех главных сторон — ее природы, пользования, передачи), все из которых были освящены человеческим сознанием, нравами, обычаями. Так, например, обстояло дело со способами ее передачи: сначала — право отца произвольно распоряжаться своим имуществом на случай своей смерти; затем — предоставление исключительного права наследования старшему сыну; наконец, — раздел наследства между всеми детьми по ровну.

В настоящее время, как мы сказали, существует тенденция к установлению нового порядка; право наследования, ныне ограниченное пределами семьи, должно перейти к государству, ставшему ассоциацией трудящихся. Привилегии происхождения, которым в столь многих отношениях уже нанесены также сильные удары, должны совершенно исчезнуть. Единственное право на богатство, т. е. на распоряжение орудиями производства, будет давать умение применить их к делу.

Если предшествующий прогресс возвещает дальнейший прогресс, если он ведет к лучшим отношениям между различными членами общества, то человеческое сознание вступит в гармонию с этой переменной, как оно это всегда делало, и сама эта переменная будет оправдана новым божественным правом, но-

вым естественным правом, новым принципом полезности, которые явятся развитием божественного права, естественного права и принципа полезности прошедших времен. До сих пор единственным основанием для собственности являлась сила или представительство силы; в будущем таким основанием явится труд, мирный труд. Быть может, скажут, что право силы давно уже исчезло, что нет больше собственности, которая не была бы результатом труда, по крайней мере косвенным. Спрашивается, однако, в силу какой власти нынешний собственник пользуется своим имуществом и передает его своим наследникам? В силу законодательства, принцип которого восходит к завоеванию; как бы отдалено оно ни было от своего источника, оно выдает еще, однако, свое происхождение эксплуатацией человека человеком, бедного — богатым, трудолюбивого производителя — праздным потребителем. Таким образом, досталась ли собственность по наследству или приобретена трудом, выгоды от нее являются только полномочиями прав более сильного, переданными случайностью рождения или уступленными работнику на тех или иных условиях.

Мы заявляем, что в будущем единственное основание для собственности даст только способность к мирному труду, единственное основание для уважения дадут только дела. Чтобы вполне точно выразить свою мысль, прибавим, что это основание должно быть

непосредственным для каждого собственника; в этой формулировке содержится другая идея — единственное право, даваемое званием собственника, есть право управления, применения, эксплуатации собственности.

Если, как мы заявляем, человечество шествует к такому состоянию, при котором положение индивидуумов будет определяться их способностями и вознаграждение — их делами, то ясно, что собственность в ее нынешнем виде должна быть упразднена, ибо, давая известному классу людей возможность жить в полной праздности чужим трудом, она поддерживает эксплуатацию одной части населения — наиболее полезной, той, которая трудится и производит в интересах другой, умеющей только разрушать*. С этой точки зре-

* При изложении новых идей необходимо предвидеть все возражения, даже такие, которые могло бы устранить самое беглое размышление. Если вы хотите, чтобы все работали, скажут нам, то что вы сделаете со стариками и детьми? На это мы ответим: мы отнюдь не желаем, чтобы все люди работали, а лишь того, чтобы все они были последовательно воспитаны для труда и посредством труда и все могли рассчитывать на отдых, после того как отработают свое; в критические эпохи старики и дети умирают в труде потому, что значительная масса здоровых, молодых, мышленных людей постоянно и много потребляет, но ничего не производит. Этим последним мы и обещаем для их чувств, ума, физической силы благородное применение в будущем; что касается первых, то они не будут больше изнашиваться, губить и надирать свои силы с самого нежного возраста или стонать под бременем жалкой старости. Правда, Франция не будет

ния мы можем считать, что возвещаемая нами перемена оправдывается и божественным и естественным правом. В самом деле, в глазах религиозного человека все люди — члены одной семьи и потому должны не эксплуатировать, а любить друг друга, помогать друг другу. Что касается естественного права, то в глазах его приверженцев природа вещей зовет человека к свободе, а не к самому жестокому из всех видов рабства, тому, на которое обрекает нищета, не к самому несправедливому из всех видов деспотизма, тому, который основан исключительно на случайности рождения и не обусловлен трудом, знаниями и нравственностью!

Нам остается теперь обосновать эту перемену с точки зрения ее полезности, но, повторяем, только господствующие ныне предвзятые взгляды побудили нас принять это разделение между правом и полезностью. Мы стали на почву наших противников, чтобы убедить их в том, что они назовут практической ценностью нашей системы; иначе они могли бы возразить нам, что эта система обоснована с точки зрения права, но не оправ-

тогда насчитывать миллиона людей, вооруженных и производящих оружие и боевые припасы, инспектирующих и контролирующих все, что имеет отношение к войне; но зато мир будет иметь одним миллионом работников больше. Блестящие толпы молодых бездельников не будут больше порхать тогда на наших гуляниях и в наших гостиных, но зато живущие теперь за счет непосильного труда стариков и слез сирот будут производить пропитание для детства и старости.

дана принципом полезности, что чувство приемлет ее, но разум ее отвергает; одним словом, что это теория, система, а не осуществимый в действительности факт.

Рассмотрим поэтому, какова ценность существующей ныне организации собственности с точки зрения полезности, т. е. в какой мере она благоприятствует материальному или промышленному производству.

Собственность, в самом обычном значении этого слова, слагается из богатств, которые не предназначены для непосредственного потребления и дают в настоящее время право на прибыль. В этом смысле она охватывает земельные владения и капиталы, т. е. выражаясь языком экономистов, фонд производства. Для нас земельные владения и капиталы, каковы бы они ни были, являются орудиями производства; землевладельцы и капиталисты (два класса, которые в этом отношении нельзя отличить один от другого) являются хранителями (*les depositaires*) этих орудий, их функция заключается в распределении последних между трудящимися*.

Но выполняют ли они эту¹ функцию, единственную, выполняемую ими в качестве землевладельцев или капиталистов, с пониманием дела, с немногими затратами, способом, бла-

* Распределение это совершается при помощи операций, дающих место проценту, наемной или арендной плате.

гоприятствующим увеличению количества промышленных продуктов? Когда видишь относительный избыток, в котором живут эти люди, число которых велико, когда взвешиваешь значительную долю, предоставляемую им из годового производства, то приходится признать, что они не дешево оказывают свои услуги. С другой стороны, если принять во внимание жестокие кризисы, гибельные катастрофы, столь часто опустошающие промышленность, то становится ясно, что эти люди, распределяющие орудия производства, обнаруживают мало понимания при отправлении своей функции. Да и несправедливо было бы ставить им это в упрек: ведь если подумать, то хорошее исполнение этого распределения требовало бы глубокого знания отношений, существующих между производством и потреблением, продолжительного знакомства с механизмом, приводящим в движение промышленный аппарат; следует признать, что эти условия никогда не могут быть выполнены людьми, получающими свою миссию от случайности происхождения и чуждыми тем процессам труда, для которых они доставляют орудия.

Для того чтобы промышленный труд достиг той степени совершенства, на какую он может притязать, необходимы следующие условия:

1) орудия производства должны распределяться сообразно потребностям каждой местности и каждой отрасли промышленности;

2) в распределении их надлежит соотноситься с индивидуальными способностями,— с тем, чтобы они были пушены в дело наиболее умелыми руками;

3) наконец, производство надо организовать таким образом, чтобы ни в одной из его отраслей никогда не приходилось опасаться ни нехватки, ни переполнения.

При настоящем положении вещей, когда распределение совершается капиталистами и землевладельцами, каждое из этих условий осуществляется и может осуществляться не иначе, как ощупью, после частых ошибок и прискорбных опытов; но и в этом случае получаемый результат всегда бывает несовершенным, кратковременным. Каждое отдельное лицо предоставлено своим личным знаниям; производство не руководствуется никаким общим взглядом; оно осуществляется без здравого смысла, без предвидения; в одном месте оно недостаточно, в другом чрезмерно. Именно этому отсутствию общего взгляда на нужды потребления и ресурсы производства следует приписать промышленные кризисы, о происхождении которых высказывалось и до сих пор высказывается ежедневно столько ошибочных мнений. Если в этой важной отрасли общественной деятельности мы видим столько пертурбаций, столько беспорядка, то это происходит оттого, что распределение орудий труда производится обособленными индивидами, не знающими ни нужд промышленности, ни людей и средств, пригодных для их

удовлетворения; именно в этом, а не в чем другом, заключается причина зла.

Как в действительности происходит дело в настоящее время? Человек замышляет спекулятивное предприятие в области промышленности; он старается собрать все доступные ему сведения и документальные данные, чтобы удостовериться, что его предприятие осуществимо и имеет шансы на успех. Но при той изолированности, в которой он находится, эти сведения и документы по необходимости будут неполными. Как бы благоприятно ни было его личное положение, он лишен возможности правильно оценить уместность своего предприятия; он не может знать, например, не собираются ли другие в это самое время удовлетворить потребность, которую должно было удовлетворить затеянное им предприятие. Этого мало, предположим, что это спекулятивное предприятие действительно полезно, что задумавший его больше кого-либо другого способен хорошо руководить им; спрашивается, что ему делать, если он не располагает материальными средствами для его осуществления, без которых его идея останется бесплодной? Как ему приобрести их? Он должен будет обратиться к собственникам, к капиталистам, владельцам необходимых ему орудий, и подчиниться их решению; но эти люди, призванные высказаться относительно его проектов, являются ли они для него компетентными судьями? Могут ли они почерпнуть из своих отношений с трудящимися

достаточную осведомленность, чтобы судить о деловых способностях заемщика и о разумном приложении капиталов, которые он просит сосудить ему? Разумеется, нет; промышленный труд им чужд, чужды люди, замышляющие, направляющие и выполняющие этот труд, следовательно, они не в состоянии оценить гарантии добропорядочности и понимания дела, которые представляет предприниматель и которых требует предприятие. Они принуждены поэтому обуславливать материальные гарантии — единственные, о действительности которых они в состоянии судить.

Таким образом, выбор директоров, руководителей промышленности и определение промышленных предприятий* предоставлены случаю. Капиталы получают в свое распоряжение лишь немногие лица, которые могут представить материальные гарантии или могут обещать их, и эти лица тотчас оказывают-

* Если бы вместо слов *промышленность*, *промышленник* мы употребили слова *война*, *военный* и т. д. если бы мы сказали, например, что армия не существует там, где выбор начальников и определение военных операций предоставлены случаю, никто не стал бы оспаривать эту мысль. Другое дело, когда речь идет о промышленности. Почему? Потому что общество было уже организовано по-военному, но еще не было организовано по-промышленному. Следовательно, весь вопрос заключается в следующем: будет ли грядущая социальная организация мирной? Кто допускает этот принцип, тот, рассуждая сколько-нибудь логично, должен прийти к тем же заключениям, что и мы.

ся подчиненными надзору контролю своих кредиторов, их придирчивой, слепой и бессильной полицейской опеке; придирчивой потому, что она не любит труда; слепой потому, что она не умеет трудиться, бессильной потому, что она не трудится.

Перенесемся в новый мир. Там выбор предприятий и судьбу трудящихся определяют не отдельные собственники, не капиталисты, по своим привычкам чуждые промышленному труду. Этими функциями, столь плохо выполняемыми в настоящее время, облечено общественное учреждение; оно является хранителем всех орудий производства, оно стоит во главе всей материальной эксплуатации; благодаря этому оно занимает позицию, с которой можно сразу обозреть все стороны промышленной мастерской. Посредством своих разветвлений оно находится в контакте со всеми местностями, со всеми видами промышленности, со всеми работниками, следовательно, оно может составить себе точное представление об общих нуждах и о нуждах индивидуальных, перевести рабочие руки и орудия производства туда, где в них ощущается необходимость,— словом, может направлять производство, приводить его в согласие с потреблением и предоставлять орудия труда наиболее достойным промышленникам, ибо оно постоянно старается распознать их способности и по своему положению имеет наибольшую возможность развивать их.

Если допустить такую гипотезу, то в новом мире все должно принять иной вид: нравственные и интеллектуальные гарантии существуют так же, как гарантии материальные, труд осуществляется с той степенью совершенства, какую допускает состояние человеческого общества и населяемой им земли; круг людей, которые могут притязать на положение руководителей, владык промышленности, охватывает все человечество; шансы удачного выбора возрастают, и средства производить этот выбор совершенствуются; исчезает беспорядок, происходивший от недостатка общей согласованности и от слепого распределения агентов и орудий производства, а вместе с ним исчезают также бедствия, превратности судьбы, банкротства, от которых в настоящее время не может себя считать застрахованным ни один мирный труженик. Словом, промышленность организована, все тесно связано одно с другим, все предусмотрено, разделение труда усовершенствовано, сочетание усилий становится с каждым днем все более мощным. Мы вернемся скоро к механизму этого института; сейчас для нас важно заранее предупредить и опровергнуть одно возражение, которое, по всей видимости, должно вас занимать. В настоящее время не только не найдется много таких лиц, которые считали бы возможным подчинить промышленный труд и занятых им людей законченной и единообразной системе, но и те, которые признают такое подчинение возможным

и полезным, могут рекомендовать нам для достижения этой цели лишь устаревшие и по справедливости отвергнутые учреждения. Первый из указанных взглядов вызывается главным образом представлением, что в прошлом не было ни одной попытки в этом роде; второй — неправильным воззрением на цель этих различных попыток.

Верно ли, что материальную деятельность человека, применение его силы никогда не пытались координировать? Не свидетельствует ли, напротив, история, что общества постоянно старались подчинить труд такого рода единому руководству?

Если вспомнить, что материальная деятельность, особенно в былые времена, выражалась в войне, что народы искали богатства в завоевании, что силу, которой человек одарен, можно было достойным и благородным образом развернуть только в сражениях, то можно видеть, что во все органические эпохи прошлого существовали учреждения, имевшие целью регулировать распределение орудий труда и должностей, каковыми тогда являлись оружие, военные должности, чины. Эти учреждения направляют все усилия иерархически размещенных работников-варваров к выполнению одной общей цели.

Производство путем грабежа и завоевания, распределение добычи, потребление награбленных и завоеванных предметов, насколько это позволяли невежество и свирепые нравы того времени, регулируются компетентной

властью, ибо вождями воинственных народов были искусные воины. Таким образом, правительствa античных городов, германских племен и светская власть средневековья являются в действительности не чем иным, как едиными, систематическими и более или менее совершенными организациями материальной деятельности.

Последняя органическая эпоха представляет для нас в этом отношении драгоценный предмет наблюдения. До прочного утверждения феодальной системы в труде тех варварских времен господствовал дух индивидуализма, эгоизм, сходный с тем, какой мы видим теперь у наших промышленников. Принцип конкуренции, свободы царил тогда не только в отношениях между воинами разных стран, но в одной и той же стране — между воинами различных провинций, кантонов, городов и замков. Также и в наше время этот принцип свободы, конкуренции, войны определяет отношения между торговцами и фабрикантами одной и той же страны, между провинцией и провинцией, городом и городом, фабрикой и фабрикой, скажем более — лавкой и лавкой. Феодализм положил конец военной анархии, связав совместной службой и взаимной защитой герцогов, графов, баронов и всех независимых земельных собственников, людей, имевших право носить оружие, — громадное преимущество, не оцененное надлежащим образом никем из историков последнего столетия.

В самом деле, для всех воинов был громадной выгодой переход от анархии IX столетия к феодальной организации, ассоциации X века, и только эта выгода может объяснить столь внезапное превращение аллодов в лены, перед этим объяснением вынужден был отступить даже гений Монтескье. Владельцы аллодов были земельными собственниками, свободными от всяких государственных повинностей, зависевшими только от самих себя, следовательно, они находились в состоянии независимости, антиобщественной обособленности. И эти свободные собственники, не обязанные никакой службой, никакими повинностями, никаким подданническим долгом, согласились, тем не менее, стать вассалами сеньора, т. е. отдать ему свой аллод, чтобы получить его обратно из тех же рук, но уже в качестве лена или бенефиция. Они согласились на это потому, что в покровительстве и помощи сеньора-сюзерена видели справедливое вознаграждение тех услуг, того подданнического долга, — словом, всех тех новых обязательств, которые налагало на них их вассальное положение*.

* г. Гизо превосходно сознавал, что аллодиальная собственность имела антиобщественный характер, так как она не предполагала никакой связи между обособленными вожаками общества. Однако увлекаемый любовью к так называемой свободе, он не оценил значения этого великого факта преобразования аллодов в лены; по его мнению, крупные земельные собственники насильственно принудили мелких превратить свои аллоды в бенефиции. Несомненно, в этом движе-

Истинная причина общего превращения аллодов в лены заключается в том, что человек всегда предпочитает жизнь в обществе состоянию обособленности, даже если называть последнюю независимостью, и что феодальное правительство представляло в средние века наилучшую комбинацию материальных усилий, наилучшую власть для руководства военной деятельностью, а она в то время была еще всего важнее и одна только считалась благородной.

Подобно тому как отдельные элементы, осуществлявшие военную деятельность, стремились в IX веке образовать общество, имеющее свою иерархию, своих вождей и законченную упорядоченность всех интересов и всех обязанностей, точно так же элементы мирного труда имеют в настоящее время тенденцией сложиться в одно общество, имеющее своих вождей, свою иерархию, общую организацию и общую участь.

Промышленность сделала уже шаг к этой окончательной организации, с тех пор как мирные труды и мирные работники начали приобретать в обществе действительный вес. До великой политической революции прошлого столетия законодательные предписания ставили своей задачей установление порядка, совершавшемся очень быстро, некоторых запоздавших аллодиальных собственников только насилем (так вообще поступали в те времена) заставили последовать за общим порывом, но эти примеры представляют собой исключительные случаи, а не общее правило.

в области промышленных явлений; тогда существовало учреждение, особенно привлекавшее к себе внимание в последнее время и отвечавшее указанной нами потребности в единении и ассоциации, насколько это позволяло тогдашнее состояние общества,— мы имеем в виду корпорации.

При этой системе допущение каждого нового предпринимателя работ было поставлено в зависимость от предварительного выполнения двух важных условий, а именно: от признания его способностей компетентными судьями и от констатирования столь же компетентными судьями, что в той отрасли промышленности, к которой он себя предназначает, действительно ощущается потребность в привлечении новых рабочих рук и капиталов.

Бесспорно, эта организация страдала многими недостатками; ограниченная пределами небольших местностей, она неизбежно была недостаточной для регулирования промышленного труда в целом. В некоторых отношениях она была даже порочной, что зависело от того, что не будучи задумана в чисто промышленных целях, а главным образом как оборонительная система против военного института, под ярмом которого промышленность выросла, она несла на себе печать своего происхождения. Так, она благоприятствовала борьбе себялюбивых тенденций, антиобщественных чувств: каждая корпорация являлась по отношению к другим корпорациям тем же, чем один барон был по отношению

к другому барону; война имела место между ними и внутри каждой из них, подобно тому как она происходила раньше между графством и графством, между замком и замком. Эти корпорации развивали антиобщественные чувства, ибо все они стремились эксплуатировать каждую отрасль промышленности на правах монополии и относились к потребителю так, как человек, имевший право носить оружие, относился прежде к человеку низшего сословия. Все эти себялюбивые тенденции должны были сказаться с тем большей силой, что социальная доктрина (религиозная или политическая, духовная или светская) в своих предвидениях и предписаниях не охватывала еще тогда мирной промышленности*, по крайней мере, непосредственно, поэтому большинство фактов промышленной системы должно было ускользнуть от оценки, а, следовательно, и от влияния нравственного авторитета.

Нельзя не согласиться с тем, что начиная с первой организации коммун этот институт, какими бы недостатками он ни страдал, в течение нескольких столетий оказывал боль-

* Духовенство обязано было, подчиняясь своей догме, умерщвлять плоть и, следовательно, относиться к промышленности с пренебрежением или даже с презрением; в свою очередь, феодальное дворянство унижало себя, лишалось своих прав и привилегий, когда приближалось к промышленности. Таким образом, преданность и честь не должны были приносить в области промышленности своих обычных плодов — порядка и любви.

шие услуги. Но в дальнейшем он принял другой характер: так как класс военный перестал непосредственно угрожать трудящимся и их собственности, то цеховой институт утратил все свое оборонительное значение. С этого момента антиобщественные тенденции развиваются в его среде с большей интенсивностью; скоро он стал представлять больше неудобств, чем преимуществ, и когда он, наконец, исчез, то ни один голос не раздался в его защиту.

Разумеется, мы совершенно основательно радуемся тому, что корпорации, цехи и гильдии не управляют больше промышленностью. Однако в действительности это завоевание нельзя назвать положительным в строгом смысле слова.

Дурную организацию упразднили, но ничего не построили на ее месте. С тех пор все усилия публицистов и экономистов преследуют как будто одну лишь цель — нанести несколько последних ударов поверженному в прах и уже бездыханному врагу.

Напомним то, что мы сказали выше об анархии, которая предшествовала военной организации средневековья. Мы отметили чисто отрицательное значение тех принципов свободы, неограниченной конкуренции, которые всегда образуют догму переходных эпох, верование критических моментов общественной жизни. Мы указали, что пока длится господство этих принципов, никакой общий взгляд не руководит материальной деятельностью, никакое равновесие, никакая пропор-

ция, никакая гармония не могут существовать между различными родами работ; наконец, что эти работы задумываются и исполняются так плохо, как этого только можно ожидать от ассоциации, в которой выбор руководителей предоставляется случаю.

Бросим взгляд на окружающее нас общество. Промышленность жестоко страдает от многочисленных кризисов, от прискорбных катастроф. Это явление начинает поражать некоторые умы, но они не отдают себе отчета в причине столь большой неурядицы, они не видят, что она представляет собой результат практического применения принципа неограниченной конкуренции.

В самом деле, что такое осуществленная на практике конкуренция, как не беспрерывно продолжающаяся в новой форме убийственная война между индивидом и индивидом, между нацией и нацией. Все теории, вытекающие из этого догмата, по необходимости основаны на чувствах вражды. А между тем люди призваны не к тому, чтобы вечно воевать между собою, а к тому, чтобы жить в мире, не к тому, чтобы вредить, а к тому, чтобы помогать друг другу. Наконец, конкуренция, держа каждого промышленника в состоянии обособленности и борьбы по отношению к другим, извращает индивидуальную нравственность так же, как и общественную.

С того момента как каждый начинает считать, что может увеличить свои шансы на успех, лишь уменьшив шансы своих конкурен-

тов, надувательство должно представиться ему как наиболее действенное средство борьбы; люди добросовестные, отстающие перед применением этого средства, становятся обычно первыми его жертвами.

Среди отмеченного нами беспорядка наблюдается, однако, появление инстинктивных усилий, имеющих очевидной тенденцией восстановление порядка путем создания новой организации материального труда. Мы имеем здесь в виду один промысел, который можно считать новым, принимая во внимание особый характер и значительное развитие, которое он принял в последнее время; это — банкирский промысел. Создание этого промысла есть, очевидно, первый шаг к порядку. В самом деле, какую роль играют в настоящее время банкиры? Они служат посредниками между трудящимися, нуждающимися в орудиях производства, и владельцами этих орудий, не умеющими или не желающими приложить их к делу; они выполняют отчасти функцию распределения, которая, как мы видели, так плохо выполняется и капиталистами и землевладельцами. В сделках этого рода, совершаемых при их посредничестве, отмеченные нами неудобства значительно ослаблены или, по крайней мере, легко могли бы быть ослаблены, ибо по своим навыкам и связям банкиры гораздо больше в состоянии оценить и нужды промышленности и способности промышленников, нежели это могут сделать праздные и обособленные частные лица. Таким образом, капи-

талы, которые проходят через их руки, находят себе и более полезное и более справедливое применение*.

От посредничества банкиров проистекает еще другая выгода: именно потому, что они могут лучше судить о ценности предприятий и о качествах предпринимателей, они в состоянии также значительно снизить часть арендной платы (*du loyer*) за орудия производства, носящую у некоторых экономистов название страховой премии и гарантирующую, так сказать, капиталистов от убытков в результате несчастных случаев, которым они подвергаются, ссужая другим свой капитал. Поэтому, несмотря на то, что банкиры заставляют оплачивать их посредничество, они имеют все-таки возможность доставлять промышленникам орудия производства за гораздо более дешевую плату, т. е. из более низкого

* Легко понять, что, несмотря на органические зародыши, содержащиеся в институте банкиров, зародыши, вскрываемые здесь нами, выгода, которая должна вытекать от посредничества, осуществляемого банкирами между праздными лицами и трудящимися, часто уравнивается и даже уничтожается вследствие того, что наше дезорганизованное общество облегчает эгоизму возможность проявляться в разных формах надувательства и шарлатанства: банкиры становятся нередко между трудящимися и праздными лишь для того, чтобы эксплуатировать тех и других во вред всему обществу в целом. Все это нам известно, но обнаруживая то, что в их действиях есть антиобщественного, и, следовательно, регрессивного, так же как и то, что в них есть прогрессивного, мы указываем, что следует разрушить, но вместе с тем и то, что следует быстрее развивать.

процента, чем могли бы это сделать землевладельцы и капиталисты, более подверженные возможности ошибиться в выборе лиц, которым они дают займы. Банкиры способствуют, таким образом, в огромной степени облегчению промышленного труда, и, следовательно, росту богатств: благодаря их посредничеству орудия производства легче обращаются, меньше подвергаются опасности остаться без употребления, или, согласно выражению экономистов, находятся больше в предложении, а это обстоятельство вызывает среди капиталистов в отношении трудящихся конкуренцию, которая — пока у нас нет ничего лучшего — идет по крайней мере на пользу последним.

Однако кредит, банкиры, банки — все это еще только грубый зачаток промышленного института, основы которого мы хотим заложить: нынешняя организация банков воспроизводит отчасти пороки системы, при которой владельцы орудий производства являются одновременно теми, кто их распределяет, т. е. системы, при которой у распределяющего лица постоянно существует побуждение взимать с продуктов труда возможно большую десятину*. Сверх того, если поло-

* Разительным доказательством сказанного нами могут служить дебаты, происходившие в последние годы во Французском банке по вопросу о снижении учетного процента, которое неизменно отклонялось. Другим, не менее очевидным доказательством является сама оппозиция этого учреждения (задача которого —

жение банкиров и позволяет им правильное оценить нужды некоторых *промышленников* или, быть может, целой отрасли промышленности, то, однако, никто из них, и даже ни одно банковое учреждение, не является центром, куда бы сходились и где суммировались бы все промышленные операции; поэтому они не в состоянии охватить эти операции в их совокупности, определить соответствующие нужды каждой из частей общественной мастерской, активизировать движение там, где оно ослабевает, остановить его или замедлить в тех случаях, когда в нем нет больше надобности или чувствуется меньшая потребность. Прибавим, что от влияния банкиров ускользает наиболее значительная часть материальной деятельности: сюда должна быть целиком отнесена сельскохозяйственная деятельность, бесспорно составляющая в настоящее время самую важную часть производства; причина тому — специальное законодательство, которое еще продолжает регулировать земельную собственность и всецело носит на себе печать догмата закостенелости древних обществ, — закостенелости, отличавшей гражданское общество еще в средние века.

Можно наблюдать также, что в промышленности в узком смысле слова большинство сделок совершается без содействия банкиров;

облегчать грядущимся добывание средств) против всех проектов снижения процента по государственной ренте. Банкиры действовали в данном случае как праздные, а не как трудящиеся.

наконец, при оказании кредита банкиры руководствуются главным образом материальными гарантиями и в значительной степени пренебрегают соображениями, основанными на способностях кредитуемых лиц, несмотря на то, что эти соображения являются самыми важными.

Мы не хотим сказать, что предварительно требуется полная перемена в окружающих нас общих политических условиях, для того чтобы банкирское дело стало способным к совершенствованию. Для нас политика не узкая сфера, в которой суетится несколько незначительных личностей сегодняшнего дня: политика без промышленности — пустой звук, лишенный смысла. Между тем, самым выдающимся фактом промышленности в настоящее время являются банкиры, банки; таким образом, изменить политические условия, значит непременно изменить банкиров и банки, и, наоборот, усовершенствование банков и социально-промышленной функции, выполняемой банкирами, означает усовершенствование политики. Следовательно, эти последние усовершенствования могли бы получиться в результате фактов, которые нашим современным публицистам казались бы чисто промышленными, а для нас были бы в тысячу раз важнее большинства споров, занимающих в настоящее время самые сильные наши политические умы.

Так, например, сосредоточение главнейших банков и наиболее способных банкиров в один

унитарный, руководящий банк, который стоял бы над всеми ими и мог бы точно взвешивать разнообразные потребности в кредите, испытываемые промышленностью во всех направлениях; с другой стороны, все большая специализация отдельных банков, так чтобы на каждый из них был возложен надзор, покровительство, руководство одной отраслью промышленности,— таковы, на наш взгляд, величайшей важности политические факты. Всякий акт, который будет иметь своим результатом централизацию общих банков, специализацию отдельных и приведение их в иерархическую связь между собою, неизбежно приведет в результате к лучшему согласованию средств производства и нужд потребления, а это предполагает и более точную классификацию работников, и более разумное распределение орудий производства и более правильную оценку сделанного, и более справедливое вознаграждение труда*.

* В промышленном обществе такого типа мы видим везде начальника и подчиненных, патронов и клиентов, мастеров и учеников; везде — законную власть, ибо начальник — лицо самое способное, везде — добровольное повиновение, ибо начальник пользуется любовью; повсюду — порядок: ни один рабочий не оставлен без руководства и без поддержки в этой обширной мастерской, у всех — инструменты, с которыми они умеют обращаться, у всех — работа, которую они любят; все трудятся не с целью эксплуатации человека, даже не с целью эксплуатации земного шара, а для того, чтобы украшать земной шар своим трудом и украшать самих себя всеми богатствами, которые предоставляет им земля.

Однако ряд усовершенствований, которым банки могут быть подвергнуты непосредственно т. е. при помощи одного лишь влияния банкиров, при настоящем положении вещей ограничен. Система существующих ныне банков может значительно приблизиться к социальному институту, основание которого мы предусматриваем, но во всей своей полноте последний осуществится лишь в той мере, в какой ассоциация трудящихся будет подготовлена воспитанием и санкционирована законодательством. Он будет полностью осуществлен лишь в тот момент, когда организация собственности подвергнется изменениям, которые мы возвещаем.

Мы сказали, каковы условия, необходимые для того, чтобы промышленный труд мог достигнуть наивысшей упорядоченности и процветания; мы указали направление, в котором должны совершаться ближайшие успехи банковской системы, для того чтобы эта цель была достигнута. Теперь нетрудно будет составить себе общее представление о том социальном институте будущего, который будет управлять всеми отраслями промышленности в интересах всего общества и специально в интересах мирных промышленных работников. Мы временно обозначим этот институт названием общей системы банков, всячески предупреждая против узкого истолкования, которое могли бы теперь придать этому выражению.

Эта система включает, прежде всего, центральный банк, представляющий в материальной области правительство; банк этот является хранителем всех богатств, всего производственного фонда, всех орудий производства,— словом, того, что составляет ныне всю совокупность индивидуальной собственности.

От этого центрального банка зависят банки второго разряда, которые составляют лишь его продолжение и при посредстве которых он поддерживает сношения с главными местностями, чтобы быть осведомленным об их нуждах и производственной способности.

В свою очередь, эти банки второго разряда стоят в охватываемом ими территориальном округе над все более и более специальными банками, охватывающими менее обширное поле, более слабые разветвления древа промышленности.

В высшие банки сходятся все потребности и оттуда расходятся все усилия; главный банк открывает отдельным местностям кредиты, т. е. доставляет им орудия производства, лишь предварительно взвесив и скомбинировав различные операции. Эти кредиты распределяются затем между трудящимися при посредстве специальных банков, представляющих различные отрасли промышленности*.

* Всякому, кто захочет на мгновение призадуматься над нарисованным нами изображением промышленного правительства в мирном обществе, легко будет понять, что здесь содержится (по крайней ме-

Здесь возникает один вопрос, для нас весьма второстепенный, но представляющий в настоящее время высокий интерес, так как, лишь становясь на эту почву, наши государственные деятели интересуются промышленностью и начинают как будто замечать, что существуют люди, производящие богатства, которые они потребляют: мы разумеем вопрос о налогах или, в более общей форме, о так называемом бюджете, ибо последний содержит на стороне прихода — налоги, а на стороне расхода — их использование. В той системе организации промышленности, которую мы сейчас представили, актив бюджета

ре, с одной точки зрения — промышленной) решение великой проблемы, которая столь живо интересует нынешних публицистов, — проблемы коммунальной и департаментской организации. Все они хотят теперь организовать города, провинции, но так как никто из них не знает, для какой цели существуют города, провинции, нации, почему люди образуют союзы, что они должны делать, то все они бессильны в своих концепциях; или лучше сказать: они предполагают у перечисленных выше союзов одну цель — сопротивление государственной власти; мотив объединения — сопротивление власти: наконец, долг — все то же сопротивление власти. Таким образом, создавая повсюду возмущение и только возмущение, они дезорганизуют, вместо того чтобы организовать; вместо того чтобы связать коммуну с префектурой, префектуру с администрацией, скажем более,— Францию с Европой. Европу с земным шаром, земной шар со вселенной, они разъединяют, дробят, они делят мир, земной шар вплоть до деревни, видя в них лишь незначительные суверенные индивидуальности, спутников без планет, восстающих против закона всеобщего притяжения.

образует совокупность годовой продукции промышленности, его пассив—распределение всей этой продукции между второстепенными банками, причем каждый из них составляет таким же образом свой собственный бюджет. В этой системе налогом в более специальном смысле (с точки зрения класса, непосредственно производящего богатства, или с точки зрения промышленности) являлась бы часть продукции, идущая на содержание двух других многочисленных классов общества, т. е. на удовлетворение физических потребностей людей, задача которых — развивать разум и чувства всех людей. В данный момент, однако, нас больше всего занимает вопрос об особом бюджете промышленности. Так как каждый вознаграждается сообразно своей функции, то так называемый в настоящее время доход может отныне иметь лишь форму жалованья или пенсии. Промышленник не является владельцем мастерской, рабочих, орудий, точно так же, как полковник в настоящее время не является владельцем казармы, солдат, оружия. И тем не менее все усердно трудятся, ибо тот, кто производит, может так же питать любовь к славе и обладать чувством чести, как и тот, кто разрушает.

Вернемся на мгновение назад. Изложенная нами вкратце промышленная организация соединяет в себе, но только в широком масштабе, все преимущества корпораций, цехов и гильдий с преимуществами всех законодатель-

ных предписаний, при помощи которых правительство пытались до сих пор регламентировать промышленность. В то же время она не представляет ни одного из их неудобств: с одной стороны, капиталы направляются туда, где они признаны необходимыми, ибо монополия не может здесь иметь места; с другой — они предоставляются в распоряжение людей, наиболее способных извлечь из них пользу. Нет основания опасаться несправедливостей, актов насилия, эгоистических тенденций, в которых упрекают упомянутые выше старые привилегированные корпорации. В самом деле, каждая промышленная корпорация есть только часть, так сказать, один из членов великого общественного организма, охватывающего всех людей без исключения. Во главе социального организма стоят выдающиеся люди, функция которых — указывать каждому место, которое он должен предпочтительно занимать и ради себя и ради других. Если какой-либо отрасли промышленности отказано в кредите, то по той лишь причине, что в общих интересах капиталы признаны были пригодными для лучшего употребления. Если кому-либо отказано в инструментах, которые он просит, то это вызвано лишь тем, что, по мнению компетентных руководителей, он более способен выполнять другую функцию. Несомненно, при несовершенстве всего человеческого, ошибки неизбежны, однако надо согласиться с тем, что возможности ошибок в выборе представляют-

ся наименьшими со стороны людей высших способностей, стоящих на общей точке зрения и свободных от пут специальности, ибо их чувства, даже их личные желания, увлекают и заинтересовывают их непосредственно в том, чтобы обеспечить промышленности столько преуспевания, а в каждой ее отрасли индивидам — столько орудий производства, сколько это позволяет состояние богатства и человеческой деятельности*.

Продолжая рассмотрение вопроса о банках, занимаясь более подробно механизмом промышленного института, мы потеряли бы из виду вопрос о собственности в прямом смысле слова и имели бы дело только с вопросом о

* Это значительное возражение против несправедливости, пристрастия и произвола правящих встает всегда, какую бы часть социального строя мы ни рассматривали. Ответ сводится к следующим простым соображениям: либо все люди равны по нравственности, по уму, по практической деятельности, либо существуют различные степени нравственности ума, практической деятельности. В первом случае, очевидно, нет места для иерархии, для власти, для начальничества, нет низших и высших, управляемых и правящих; во втором случае, напротив, обязательно существует власть и повиновение. Но достаточно посмотреть открытыми глазами на действительность, чтобы отвергнуть первую гипотезу, следовательно, весь вопрос состоит в том, чтобы знать, в чьих руках будет власть, кто будет размещать людей сообразно их способностям, кто будет оценивать и вознаграждать их дела. На это мы отвечаем — независимо от круга ассоциации, имеющегося в виду: тот, чьему сердцу всего ближе судьбы общества.

промышленности. Между тем, хотя оба эти вопроса почти тождественны, однако со словом *промышленность* связано, на наш взгляд, множество соображений совсем особого характера. Сен-Симон поставил перед материальной деятельностью человеческого рода совершенно новые задачи; промышленность приобретает в будущем более могучее политическое значение, чем то, какое когда-либо имела война в самых воинственных обществах древности. Вот почему мы должны будем рассмотреть ее с этой точки зрения, и тогда нам представится случай показать с новой стороны и сделать более понятным тот общий институт банков, который мы воздвигаем как будущую систему организации армии мирных труженников.

Но чтобы хорошо понять наши идеи о собственности, необходимо не отделять их от изложенных ранее идей о развитии человечества, о законе этого развития и о будущности, обетованной нашим упованиям. Эта часть социальной системы не может быть оценена вне всей совокупности идей и фактов, в которых она находит свое определение.

Мы поднимаем перед вами, господа, весьма серьезный вопрос и должны быть готовы к тому, чтобы встретить не только интеллектуальные предубеждения, но и сильное сопротивление, хотя бы только инстинктивное, со стороны материальных интересов, — единственных, деятельность которых сохранила в наше время некоторую силу. Если бы мы

замыкались в круг отвлеченных идей, то единственной угрожающей нам опасностью было бы, быть может, только пренебрежение; но на той почве, на которую мы стали, охватывая в своем изложении одновременно умозрительную идею и ее практическое приложение, теорию и практику, мы рискуем возбудить против себя больше, чем пренебрежение: нас станут несомненно обвинять в том, что мы стремимся к общественному перевороту, что мы провоцируем беспорядки. Как бы ни был мало обоснован подобный упрек, мы не можем, однако, уклониться от того, чтобы предупредить его и тут же ответить на него в общей форме.

Учение Сен-Симона, как и все новые общие учения, разумеется, не ставит своей задачей сохранение существующего или только поверхностное его видоизменение; его цель — глубоко, радикально изменить систему чувств, идей и интересов. Тем не менее оно приходит не с тем, чтобы низвергнуть существующее общество. Со словом переворот всегда связывается представление о слепой и грубой силе, имеющей целью и результатом разрушение; между тем эти черты весьма далеки от учения Сен-Симона. Это учение не располагает само и не признает иной силы для руководства людьми, кроме силы увещания, убеждения; его цель созидать, а не разрушать; выдвигает ли оно чисто умозрительную идею или призывает к материальному осуществлению, требуемому этой идеей.

в том и в другом случае оно неизменно стремится к порядку, гармонии, созиданию. Повторяем, учение Сен-Симона не стремится совершить переворот, революцию, оно явилось с тем, чтобы предсказать и осуществить преобразование, эволюцию; оно несет миру новое воспитание, окончательное возрождение.

Правда, великие эволюции, совершавшиеся до сих пор в человеческих обществах, носили иной характер; они были насильственными, потому что человечество, застигнутое ими, так сказать, врасплох, горячо бросалось на открывающиеся перед ним пути, не имея отчетливого представления о своем назначении; таким образом, не зная, какие усилия ему надо сделать, чтобы достигнуть своего назначения, оно шло вперед как бы инстинктивно, не обращаясь к рассуждению для проверки предвидения энтузиазма, не подготовив перемен, которые эти предвидения должны вызвать. Поэтому все великие эволюции прошлого, даже самые законные, т. е. всего более способствовавшие счастью человечества, вначале выступают наделенные чертами, свойственными катастрофе, перевороту.

В настоящее время положение не то: человечество знает, что оно пережило прогрессивные эволюции, оно знает их природу и размеры; в его обладании находится закон тех кризисов, которые непрерывно видоизменяли его, непрерывно приближали его к

нормальным условиям существования. Отныне оно может успехами прошлого проверять будущее, открываемое ему его симпатиями; в особенности оно может подготовить осуществление этого будущего путем медленного и последовательного преобразования настоящего. Таким образом, оно должно предвидеть и избегать беспорядков и насилий, составлявших как бы условие всякого прогресса в прошлом.

С вашей стороны было бы несправедливо, господа, если бы вы приписали нам намерение выступить в настоящий момент со своего рода оправданиями смелости наших предвидений. Воззрение, что теперь человечество в своей окончательной эволюции избежит насилий и беспорядков, характеризовавшие эволюции, а следовательно, и революции прошлого, не было придумано нами внезапно, чтобы выгородить учение Сен-Симона от обвинений, которые могли бы быть направлены по его адресу. Воззрение это составляет один из самых возвышенных догматов этого учения, оно составляет одну из основных норм поведения, налагаемых на нас нашим верованием. Поэтому оно является одним из объектов наших поучений; не понять его — значит не понять мысли нашего учителя.

Итак, когда мы указываем на предстоящую перемену в социальном строе, когда мы заявляем, например, что нынешняя организация собственности должна уступить место совершенно новой организации, то мы хотим этим

сказать и доказать, что переход от одной организации к другой не будет и не может быть резким и насильственным, а мирным и постепенным, ибо он может быть задуман и подготовлен только совместным действием воображения и доказательства, энтузиазма и рассуждения; ибо он может быть осуществлен только людьми, воодушевленными в высшей степени миролюбивыми чувствами, любящими силу, когда она производит, когда она несет нам жизнь, и предоставляющими прошлому силу, которая разрушает и несет с собою смерть.

Лекция

*восьмая**

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОБСТВЕННОСТИ

Предисловие

Господа, в течение трех столетий, производивших разрушение средневекового общественного строя, самые стойкие защитники папской власти и феодализма вполне осознавали, что раз затронуты религиозное единство и политическая или военная иерархия, то дорогому им прошлому пришел конец. Их усилия были тщетны: дворянство мертво, провозглашена свобода вероисповеданий. Де Местр,

* Прочитана 25 марта 1829 г.

де Ламеннэ, де Монлозье благородно заявили о своих жалобах и негодовании; они выражали презрение новому обществу, лишенному власти и веры, отданному в жертву индифферентизму и анархии, потерявшему свои древние воспоминания. Но их похоронные напевы, заглушаемые возгласами победителей, не тронули масс, а если и были услышаны, то возбуждали только гнев и ненависть. Отдельные лица горячо откликнулись на них, убежденно их повторяли, но очень немногие сумели оценить то, что было великого и в то же время слабого в этих последних вздохах умирающего средневековья¹.

Старая иерархия, феодальная или военная, не существует больше, католическое единство распадается на индивидуальные верования, все одинаково чтимые законом, и этот плод продолжительных трудов наших предков находит теперь довольно многочисленных поклонников. Вот почему мы и не видим больше, чтобы публицисты, пользующиеся расположением общественного мнения, клали в основу социального строя общность религиозных верований и старались укрепить ее политическим цементом, аналогичным тому, который в средние века объединял всех, вплоть до суверена и крепостного. Мало того, они снисходительно выслушивают учения, стремящиеся все более и более индивидуализировать верования и интересы. Коротко говоря, эгоизм, выраженный на языке политическом или религиозном, встречает

благоклонное отношение с их стороны, в какой бы форме он ни предстал, тогда как преданный защитник престола и алтаря является для них, напротив, врагом, с которым следует бороться, не потому, что алтарь есть кафедра св. Петра, и не потому, что трон есть престол Цезаря, т. е. престол, при котором господствует меч, а потому, что тот и другой всегда должны, по их мнению, возбуждать опасение, как бы какие-нибудь привилегированные люди не навязали массам какого-либо верования или каких-либо действий.

Таким образом, критические выпады против религиозной и политической власти пользуются теперь, вообще говоря, хорошим приемом; и хотя мы не сомневаемся в том, что они задевают некоторых лиц, но число людей, любопытство которых они разжигают и которых они забавляют, достаточно велико для того, чтобы их снисходительно терпели, а то и поощряли, украшая почтенным именем оппозиции.

Мы не станем развивать далее этих идей, которые лишь косвенно связаны с целью, имеющейся нами в виду; мы довольствуемся тем, что высказали их и подготовили то, что нам остается сказать.

Полное уничтожение рабства и упразднение почти всех привилегий рождения совершено; человечество порвало узы, которые ему были необходимы в детстве и стали вредны в его возмужалом возрасте; оно яростно стряхнуло с себя ярмо прошлого, разбило

его, но, к счастью, это ярмо еще тяготеет над ним, — к счастью, ибо человечеству неизвестны пока новые узы, которые должны соединять людей. Глубочайшее замешательство, кровавая анархия — таково было бы горестное зрелище, которое представилось бы нашим глазам, если бы все средства, выработанные прошлым для поддержания порядка, оказались разрушенными, если бы в настоящее время не сохранились некоторые из этих средств, опираясь на которые, хотя и шатающееся социальное здание все еще держится.

Мы сказали, что почти все привилегии рождения исчезли; но одна из них осталась, и важная роль, занимаемая ею в нашей политике разложения, дает возможность оценить всю прочность социального строя, которому она обязана своим существованием. Поздравим себя по поводу непоследовательности людей, бережно сохранивших этот якорь спасения во время революционной бури. Мы говорим об их непоследовательности, ибо ничто в их теории не оправдывает подобного исключения в пользу самой прочной опоры прошлого.

Это наследие наших предков окружено почетом; оно — священный ковчег, которого ни один смельчак не может тронуть, не подвергшись отлучению со стороны самого духовенства свободы. Мы не говорим о громах ретроградной партии, готовых поразить кощунственную руку, которая осмелилась бы подвергнуть атаке этот последний осколок

средневековья: они уже износились и не купятся даже в арсеналах исправительной полиции.

Такая поистине религиозная восприимчивость несомненно представляется чудом, когда находишь ее у врагов суеверия и фанатизма, у апостолов освобождения мысли, свободного исследования, сомнения, в особенности у приверженцев идеи о совершенствовании человека. И эта восприимчивость радует нас, ибо она поддерживает известный материальный порядок среди той умственной и нравственной анархии, в которую мы погружены. Но теперь мы подошли к моменту, когда само это средство поддержания порядка должно подвергнуться нападению со стороны учения, которое идет на смену породившей его некогда доктрине. И мы представляем себе, какие трудности готовят новаторам ретроградные предрассудки, завещанные нам убудочной цивилизацией, которую они намерены низвергнуть, предрассудки тем более стойкие, что они выдержали огонь критики и вышли невредимыми из горнила революции.

Повторяем, мы убеждены, что неблагоприятно разрушать единственный остающийся у нас принцип порядка, не заменяя его немедленно более общим принципом, приспособленным к потребностям будущего. Но в то же время мы ясно представляем себе, какое сопротивление встретит даже самая благоразумная попытка в этом направлении, попытка

самая умеренная и наиболее благоприятная для прогресса человечества. Поэтому мы со спокойной уверенностью и готовностью к жертвам вступаем на путь, открытый нам Сен-Симоном.

Мы не станем взывать к народным страстям; как могли бы мы добиться теперь от них понимания? Ведь мы требуем порядка, мы желаем для будущего самой унитарной, самой твердой иерархии. Для того чтобы народ проникся живой симпатией к нашим идеям, ему необходимо было бы совсем не то воспитание, какое он получает постоянно от своих учителей (рабски следующих за ним). Его так много учили страшиться или презирать силу, относиться с постоянным недоверием к власти, что слова эти долго еще будут напоминать ему о его старом рабстве и заставят быть настороже или даже отнестись враждебно к людям, которые возвестят ему о новой власти, достойной его любви и преданности.

Таким образом, наше положение позволит нам спокойно двигаться вперед; наша откровенность может быть пагубной только для нас самих.

Да, мы твердо убеждены, что возбудим против себя страсти самых ярых противников прошлого, нападая на привилегию, которой они не боятся прикрыться, несмотря на то, что она украшала побежденного врага: их не пугает участь Геркулеса, пожираемого облачением Кентавра; они привязались к скелету

средневековья, к трупу своей жертвы, и будут защищать его, наподобие останков обожжаемого существа, пока сами они не рассыпятся в прах.

Мы уже слышим, как они, оттачивая любимое оружие критики, спрашивают нас:

«Что же это за облачение Кентавра, что это за скелет, предмет нашей нежной любви?»

Наш ответ гласит:

«Это — собственность по праву рождения, а не по праву способностей; это — наследование».

Воззрения экономистов, легистов
и публицистов, всех вообще
политических теоретиков
на собственность

Собственность есть основа социального порядка — таков догмат, провозглашаемый всеми знатоками политических наук. Мы со своей стороны также считаем собственность материальной основой социального порядка, и тем не менее наши взгляды на политическую организацию совершенно противоположны проповедуемым в наши дни доктринам. Различие, существующее между нами и нашими публицистами, может равным образом быть обнаружено по тому же вопросу между ними и средневековыми приказными, или между ними и каким-нибудь римским консулом. Великое слово *собственность* представляло в каждую историческую эпоху разные вещи; оно рож-

дало разные представления, хотя и поддерживалось нравами и законами во всех тех случаях, когда спокойствие человечества не было нарушено всеобщими переворотами, во время которых не уважается более никакое право, никакой освященный временем интерес и когда ищут себе признания новые права, новые интересы. Так, например, право пользования и злоупотребления человеком, его трудом и даже его жизнью,— словом, рабство, резонно считалось основой греческих и римских обществ. Сам Аристотель метал бы громы против тех смельчаков, которые вздумали бы напасть на это священное право; никому не приходило в голову назвать этого философа варваром, когда он советовал молодым гражданам упражняться в военном искусстве, охотясь за невольниками. Катон не ошибался, он умел читать в книге будущего, когда при виде гордых вольноотпущенников оплакивал патрициат и заранее облекался в траур по старой республике. Точно так же в средние века право собственности, первоначально основанное на завоевании, представляло собой все права вассала по отношению к крепостным и все его обязанности по отношению к своему сюзерену; оно заключалось, сверх того, в праве передачи по наследству всех связанных с ним привилегий и повинностей.

Таким образом, в глазах самого просвещенного человека XII века уважение к собственности было уважением к феодальной собственности в ее чистом виде.

Никто не думает, что наши публицисты, говоря о собственности, имеют в виду рабство или кооперативное состояние. Следовательно, они не могут черпать соображения, на которых они основываются, чтобы доказать важное значение собственности в организации наших современных обществ и, в особенности, обществ будущего,— ни в политическом устройстве римской республики, ни в кодексах империи, ни в законодательстве нашей старой монархии. Они находят их, без сомнения, в новой политической теории, т. е. в новой точке зрения на нужды человечества и на порядок, наиболее способный удовлетворить их. В самом деле, если бы основные нужды общества были те же, какими они являлись в былые времена; если бы, например, народ и в наши дни вопил в неурожайный год о том, чтобы ему отдали на разграбление какую-нибудь варварскую провинцию; если бы завоевание продолжало оставаться самым благородным средством приобретения могущества, то пришлось бы примириться с последствиями этого и, подобно Аристотелю, восхвалять рабство и войну, ибо ученик Платона был не менее силен в логике, чем наши законодатели и публицисты.

Спрашивается: что же это за новое социальное учение, из которого наши политические теоретики выводят свои идеи о нынешней организации собственности

Найти его у экономистов нам представляется трудным делом, так как большинство из них, и в особенности тот, который резюмирует почти всех их — г. Сэй — смотрят на собственность как на существующий факт, происхождение и развитие которого они не исследуют; они не доискиваются даже того, в чем состоит его социальная полезность.

Все они говорят о необходимости сохранения права собственности. Но рабство, крепостное состояние тоже ведь были правами собственности, — значит надо проклинать христианство, которое не хотело признать их?

Г. Сисмонди, наделенный предвидением будущего — правда, весьма смутным — и уже по одному этому ставший по капитальным пунктам в оппозицию к главным глашатаям экономической науки, обратил внимание на то, что у праздных собственников и у трудящихся, применяющих собственность к делу, интересы по необходимости должны быть разными.

Указав, что разделение на собственников, на управляющих работами или фермеров и, наконец, на поденщиков не представляется необходимым в интересах производства, так как эти три качества могут совмещаться в одном лице, Сисмонди замечает: «Землевладельцы часто воображают, что система земледелия тем лучше, чем значительнее их чистый доход (т. е. та часть сельскохозяйственных продуктов, которая остается у них

за покрытием всех издержек производства); между тем для нации важна, и внимание экономиста должна останавливать на себе валовая продукция, или размеры всего урожая в целом... Собственник разумеет лишь доход праздных богачей, экономист же разумеет еще доход всех тех, кто трудится»*. Если бы г. Сисмонди, вместо того чтобы рассуждать только о системе земледелия, применил свою мысль ко всей политической системе, то он выразил бы самую широкую, самую плодотворную идею, какую только может высказать экономист относительно социального строя. Та же нерешительность, та же сдержанность заставляют его постоянно лишь слегка касаться коренного вопроса о людях праздных и о трудящихся, мешают ему углубиться в этот вопрос; так, вторая глава третьей книги его сочинения озаглавлена: «Законы, имеющие своим назначением увековечение земельной собственности в пределах семьи». Похоже на то, что, указывая на одну только земельную собственность, г. Сисмонди не решается нападать на собственность в целом; впрочем, он решительно оспаривает** взгляд законодателей, которые всегда хотели, чтобы человек мог сохранить на покое то, что он приобрел трудом. Его критика субституций и майора-

* *Principes d'econoraie politique*, liv. III, chap. I, p. 153.

** *Ibid.*, liv. III, chap. II, p. 252 et suiv.

тов отличается замечательной логической силой, а между тем он не понял, что эти различные способы передачи собственности в праздные руки представляют собою только частные случаи одного принципа, общим выражением которого является наследование. Он скользит в стороне от этого огромного вопроса, и его критика субституций лишается, можно сказать, всякой ценности, ибо он не подрывает самого их основания, т. е. не обрушивается своей критикой на дух, которым продиктованы все законы, относящиеся к передаче собственности.

Труды английских экономистов еще более далеки от всякого построения социального порядка. Правда, Мальтус и Рикардо пришли в своих глубоких исследованиях об аренде земли к одному важному результату, а именно: что разница в качестве эксплуатируемых земель позволяет употребить без неудобства часть общественной продукции на нечто другое, чем содержание земледельцев. Но из этой довольно простой истины, хотя до них она не была еще ясно выражена, они сделали вывод, что эта свободная доля продукции употребляется и должна употребляться на содержание в праздности знатных собственников. Словом, они узаконили, насколько это зависело от них, политическую организацию, в которой одна часть населения живет на счет другой.

Быстрота, с которой, эти два писателя поспешили из простого факта земледель-

ческой статистики вывести один из важнейших принципов общественного строя, могла бы показаться удивительной, если бы это явление не было неизбежным результатом отсутствия общей руководящей доктрины.

Арендная плата и процент, т. е. плата за наем мастерских и орудий производства, представляют, конечно, часть продукции промышленности, которой трудящиеся могут, строго говоря, лишать себя, так как некоторые из них, правда, самые неимущие, живут на землях, не дающих никакой ренты. Когда они лишали себя указанной продукции, чтобы кормить воинов, графов, баронов, рыцарей и их оруженосцев, то против этого ничего нельзя было возразить, раз они нуждались в воинах, чтобы спокойно трудиться, не опасаясь разбойничьих набегов соседних варваров. Но заключать отсюда, что они должны обрекать себя на это лишение ради людей, которые ничего для них не делают, живут в полной праздности, даже отвращают их от труда примером этой праздности, скажем более — деморализацией, неминуемо сопряженной с подобным бичом, значит чудовищно злоупотреблять данной человеку способностью устанавливать связь между идеями.

Впрочем, мы отнюдь не намерены подвергать здесь дальнейшему обсуждению взгляды, при помощи которых принято защищать нынешнюю организацию собственности. Мы хотим лишь установить, что люди, приступившие к рассмотрению этого важного вопроса.

никогда не связывали его с каким-нибудь общим воззрением на социальный порядок, к которому направляется человечество, а, напротив, принимали его в той форме, какую ему придали средние века. В дальнейшем мы докажем даже, что они ее обесцветили, лишили всего того, что составляло в прошлом ее величие и силу.

Экономисты XVIII столетия основывали свою политическую систему на выгоде земельных собственников *. Поставленные своим учителем на весьма возвышенную точку зрения, они чувствовали, что Их система может представлять ценность лишь постольку, поскольку земельные собственники будут играть иную роль, чем роль бездельников, и будут оказывать обществу услуги, широко компенсирующие те жертвы, которые оно несет ради них. Но здесь усилия экономистов оказались тщетными; сколько они не проповедовали богатым бездельникам, сколько ни убеждали их жить в своих поместьях, разумно вести в них хозяйство, стать, одним словом, первыми земледельцами в государстве, заводя образцовые поля, как это делает китайский император,—

* Сэй разделяет, по-видимому, любовь Кенэ и его учеников к земельным собственникам, когда говорит в своем сочинении (кн. I, гл. IV, стр. 140, 4-е изд.): «Кому неизвестно, что никто не знает лучше собственника, какую пользу можно извлечь из его вещи?» Если бы он выразился подобным образом, говоря о фермере, никто не стал бы спорить; но собственник!!!

их голоса, не проникая далее передней помещичьих дворцов, не смущали землевладельцев во время их великолепных пиршеств и не лишали их сна.

Надо, однако, сказать, что некоторым просвещенным филантропам XVIII столетия, например Неккеру, подсказывало смутное чувство, какой интерес представляет решение следующего вопроса: каким образом люди, которые делят с трудящимися продукцию их труда, могут добиться не только того, чтобы им простили этот раздел, но и того, чтобы сами трудящиеся относились к разделу с уважением и любовью? Ни одно из учений, пользовавшихся в то время кредитом, не давало решения этого вопроса, а учение экономистов — меньше всякого другого, ибо те имели в виду интерес собственников, а не непосредственный интерес трудящихся. По этой причине экономисты не высказали никакой идеи ни о последовательных переменах, которым подверглось пользование правом собственности, ни, стало быть, о тех обязанностях и выгодах, которые должны быть связаны с ним: они рассматривали его таким, каково оно есть, как институт совершенный. Менее передовые в этом отношении, чем их преемники, они не нанесли ему даже первых ударов, нападая на ту часть его привилегий, которую именуют феодальными; если некоторые из них и способствовали уничтожению этих привилегий, то это не было сделано, исходя из какого-нибудь общего принципа

реорганизации собственности. Только один Тюрго, экономист, бесспорно наиболее достойный уважения и любви человечества, сознавая порочность номенклатуры Кенэ, который одним и тем же термином *производительные классы* обозначал и земельных собственников, и земледельцев,— только Тюрго создал для первых название класса, находящегося в распоряжении общества (*classe disponible*), и оправдывал его существование тем, что класс этот состоит из лиц, которые должны быть использованы для удовлетворения общественных нужд*. Тюрго, таким образом, близко подошел к преддверию будущего, ибо он смутно различал уже применение, которое со временем будет найдено для теорий Мальтуса и Рикардо об аренде, т. е. он понимал, какое наиболее полезное употребление можно дать избытку продукции хороших земель над продукцией плохих, иначе говоря, той части общественных богатств, которая остается в свободном распоряжении после покрытия всех издержек земледельческого производства.

Но время для этого еще не наступило: книга человеческих судеб была закрыта и для самого Тюрго; ему неизвестно было, каковы будут общие нужды нового общества, следовательно, неизвестно было также, какими способностями должны обладать лица, со-

ставляющие тот находящийся в распоряжении общества класс, на обязанности которого лежит предусмотрение и удовлетворение этих нужд.

Сказанного достаточно, чтобы судить о том, какой взгляд на собственность существует в политической экономии. Законоведы могли бы кассировать решения этой науки, и это было бы вполне справедливо, ибо экономисты (по крайней мере последние по времени, которые одни пользуются сейчас авторитетом) не побоялись заявить, что они признают себя некомпетентными в вопросах политики. У них в этом отношении достаточно скромности для того, чтобы мы перестали искать в их писаниях принципы социального свойства, в соответствии с которыми организована в нынешнем ее виде собственность. Правда, они претендуют на то, что показали, как происходит образование, распределение и потребление богатств*, но их мало занимает вопрос о том, всегда ли созданные трудом богатства будут распределяться сообразно происхождению и в значительной своей части потребляться людьми праздными. Им безразлично даже, раб ли является производителем, воин ли тот, кто распределяет, и кто из двух, господин или раб, потребляет большую часть продукции.

* Sur la formation et la distribution des richesses, ch. XV.

* I.-B. Say. Traite d'economie politique. Discours preliminaire.

Либо эти вопросы кажутся им проблемами более высокого порядка, чем их наука, и тогда мы должны повторить свои похвалы по адресу их скромности, либо они считают эти вопросы слишком маловажными, чтобы заслужить их внимание, и тогда мы считаем себя обязанными выразить им свое порицание. Во всяком случае, мы должны отказаться от дальнейшего рассмотрения их трудов с целью отыскания в них того, что сами авторы не считали нужным вложить в них. Мы доказали, что наши идеи о политической организации собственности нельзя опровергнуть при помощи их науки; это все, что мы имели в виду, занявшись нынешним состоянием экономических доктрин.

Легисты и публицисты

Мы оказались бы в еще более затруднительном положении, если бы нам пришлось отыскать по этому предмету хотя бы один ясный принцип в наших законах. Право собственности, гласит Гражданский кодекс, есть самое неограниченное право пользования и распоряжения вещами, не допуская, однако, употребления, воспрещенного законами и регламентами.

В этом определении необходимо рассмотреть два важных пункта. Прежде всего следует отметить, что наше законодательство признает право пользования и распоряжения вещами, а не людьми, и уже одно это от-

личает его от всех законодательств прошлого. Затем, как можно видеть, в приведенном определении собственности, столь же туманном и отрицательном, как и определение, которое закон дает свободе*, совершенно не указывается, с какой целью будут издаваться законы, ограничивающие это абсолютное право. Оно не дает, следовательно, никакого представления о праве собственности, ибо эти ограничения могут быть таковы, что право пользования и распоряжения сведется к весьма незначительным размерам, либо, напротив, безгранично расширится. Далее, если бы, например, ни одна общественная функция не была обязательно связана с собственностью, если бы удел собственника составляли одни выгоды, без всяких обязанностей, то должны ли в таком случае законы разрешать передачу этой великолепной привилегии по наследству,— иными словами, передачу права жить на широкую ногу в праздности? Определение, только что цитированное нами, оставляет этот вопрос не решенным, ибо оно одинаково применимо к двум обществам, одно из которых приняло бы феодальные принципы преемственности прав, т. е. наследование по праву рождения, а другое установило бы законодательным путем передачу мастерских и орудий промышленности**

* «Свобода есть право делать все, что не воспрещено законом».

** Для нас слова эти содержат ту же идею, что деление имущества на недвижимое и движимое.

в руки лиц, наиболее способных дать им надлежащее употребление, независимо от происхождения этих лиц.

Нам скажут: принцип этот бесполезен; читайте Гражданский кодекс, вы найдете в нем все эти законы, ограничивающие абсолютное право распоряжения вещами: вы найдете там, например, что отец может передать свое состояние слабоумным или безнравственным детям, но что ему не разрешается отнимать у них законные надежды, которые они основывали на его смерти.

Вот благородная идея, бесспорно делающая честь принципу, из которого она вытекает. Но она ничего общего не имеет с вопросом, разбираемым нами в настоящий момент: мы не жалуемся ни на краткость, ни на умолчание законов и легистов, — мы не настолько требовательны. Мы ищем лишь способы столкнуться с людьми, знающими наизусть огромное количество писанных строк, но не имеющими представления о связи, существующей между этими строками, т. е. о принципе, которым они были продиктованы³. Между тем, применяя сказанное к определению права собственности, нам необходимо знать, на каком общем принципе основаны исключения, налагаемые законодателем на право собственности, или — что одно и то же — какой общий принцип руководил им, когда он начертал нормы применения этого права; словом, необходимо знать мотив всех этих разрозненных законов.

Надо, однако, признать, что нам незачем нападать на Кодекс, ибо ежедневно раздаются требования о пересмотре наших законов. Искать смысла, духа законов о собственности следует в другом месте; эти слова достаточно указывают, какую книгу мы должны раскрыть — возьмем Монтескье. Здесь мы прошения у наших романтических легистов, которые уже не склоняются почтительно перед именем этого учителя; мы знаем, что среди них есть немало людей, которые в «Духе законов» видят лишь прекрасный литературный памятник, и ничего более. И хотя в социальной науке мы не являемся ни учениками знаменитого президента, ни учениками Сиейеса или Делольма⁴, ни даже учениками Бенгата, мы тем не менее по-иному смотрим на это произведение. Согласно нашему мнению, Монтескье подверг в нем все социальные организации прошлого наивысшей критике, какую только можно было представить себе в XVIII столетии. Однако при всем нашем преклонении перед этим великим человеком, труды которого послужили основой для всех публицистических работ, подготовивших или непосредственно вызвавших нашу революцию, мы должны все-таки признать, что в «Духе законов» нет ни одного места, где собственность трактовалась бы как общий принцип социального порядка.

Однако, подходя с почтением к системе феодальных законов, глубоко взрывая землю, чтобы обнажить, как он сам выражается,

корни этого древнего дуба, листва которого широко раскинулась, а ствол едва виден, Монтескье понимал, что имеет дело с великим событием, только раз пришедшим в мир, событием, построившим новое общество на развалинах древнего. Здесь приходилось, следовательно, создавать все заново. «Этим германцам, которые, по словам Цезаря*, не имели ни собственных земель, ни пограничных меж, у которых князья и судьи раздавали частным лицам земельные участки, какие им хотелось, обязывая их переходить в следующем году на другое место», предстояло скоро познакомиться с аллодами, а затем с ленами. Каким образом были созданы эти великие институты? Почему новому порядку, который они утвердили, было отдано предпочтение перед изменчивым, личным и непостоянным по наследству распределением собственности? Наконец, с какой целью было в конце концов допущено наследование не только должностей, но и привилегий богатства, т. е. выгод, проистекающих от повинностей, которые являются источником доходов для этих должностей?

Таковы корни, которые Монтескье следовало бы разыскать, но они были слишком глубоко скрыты в земле. Кроме того, он, сам того не сознавая, был слишком занят состоянием того общества, среди которого жил,

* Esprit des Lois, livr. XXX, ch. III. Caesar, De bello Gall., lib. V.

чтобы испытывать потребность отыскать основы его реорганизации. Почувствовать необходимость полного переворота выпало на долю его преемников; им он оставил заботу подвести итог его труду, привести в порядок разрозненные материалы, извлеченные им из недр истории, собрать, наконец, воедино, в одну грозную связку, все выкованное им оружие, которому предстояло вскоре уничтожить средневекового колосса.

За эту задачу взялся Руссо. «Общественный договор» должен был, по его мнению, восполнить пробел, оставленный Монтескье; он должен был служить введением или заключением к «Духу законов» и установить общие принципы политического строя всех народов, сообразно обитаемым ими странам и состоянию более или менее глубокой демократизации, к *которому их привели* достижения цивилизации. Напоминая в этих выражениях о философском воззрении, которым руководствовался Руссо и которое он сам так красноречиво изложил*, мы, как нам

* «О, человек, из какой бы страны ты ни был родом, каковы бы ни были твои взгляды, слушай: вот твоя повесть... Существует, мне это известно, возраст, на котором каждый отдельный человек хотел бы остановиться; ты будешь искать возраст, на котором ты желал бы, чтобы весь твой род остановился. Недовольный своим нынешним положением по причинам, обещающим твоему несчастному потомству еще большее недовольство, ты хотел бы, быть может, вернуться вспять; это чувство должно служить похвалой для твоих ранних предков, критикой твоих современников

казалось, могли ожидать, что найдем в «Общественном договоре» по крайней мере несколько решительных высказываний против той части общественного договора, которую автор следующим образом резюмирует в другом сочинении: «Вы нуждаетесь во мне, потому что я богат, а вы бедны; заключим поэтому сделку: я предоставлю вам честь мне служить, с условием, что небольшое остающееся у вас, вы отдадите мне за труд, который я беру на себя, чтобы командовать вами»*. Однако все поиски в этом направлении были бы тщетны. Единственное небольшое примечание в конце главы 9-й книги I позволяет нам судить о самом широко представленном, какое имелось у Руссо относительно распределения собственности; он выразил его следующим образом: «Законы всегда служат на пользу имущим и во вред тем, кто ничего не имеет; отсюда следует, что жить в обществе выгодно людям лишь постольку, поскольку все они чем-нибудь владеют и никто из них не имеет ничего лишнего»**. Но постарался ли Руссо применить эту идею, попытался ли он исследовать, какая политическая организация может наилучшим образом выполнить это условие? Нет, в его «Общественном договоре» на этот счет ничего не сказано.

Незначительное изменение в этом примечании могло бы вывести Руссо на правильный путь; если бы вместо того, чтобы написать: «законы всегда служат на пользу имущим», он заявил: «законы всегда служат на пользу тем, кто их составляет», то он мог бы прибавить в виде заключения: «следовательно, когда законы составляются людьми и в пользу людей, которые ничего не делают, то они служат во вред тем, кто трудится»; а затем он мог бы, продолжая, сделать вывод, что если бы законы составлялись трудящимися, то они не организовали бы собственности таким же образом и для такой же цели, как празднолюбцы. Но собственность была институтом, рожденным успехами цивилизации, и этого было достаточно для того, чтобы Руссо проклял ее и не пытался даже ее усовершенствовать. Пусть нас не обвиняют в том, что мы приписываем Руссо чувства, которых у него не было; он сам провозгласил их в знаменитой фразе: «Первый, кто, огородив участок земли, вздумал заявить, — *это мое*, и нашел достаточно простодушных людей, чтобы поверить ему, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких войн, преступлений, убийств, бедствий и ужасов избавил бы человеческий род тот, кто, вырвав эти колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: „Не слушайте этого обманщика; вы погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем и что земля не является ничьей собственностью!“»⁵.

и ужасом для тех, кто будет иметь несчастье жить после тебя» («Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes»).

* Статья «Economie politique» в «Encyclopedic».

** Из «Contrat social».

Нам легко было бы доказать множеством цитат, что Руссо ненавидел институт собственности и выгоды, доставляемые им праздным людям, которых он без всяких стеснений называет в «Эмиле» ворами; однако — мы смело это утверждаем — во всем его произведении нельзя найти хотя бы одну фразу, в которой указывался бы способ распределения принадлежащей всем земли полезным для общества образом.

Писатели второго ранга, которые плелись по следам Монтескье и женевского мизантропа, только комментировали своих учителей и излагали их своими словами; они атаковали по частям и разбирали камень за камнем здание прошлого, но когда в 1793 г. их задача была завершена, то они обнаружили перед всем миром свое бессилие возвести здание на новом фундаменте.

Можно было бы ожидать, что читая «Энциклопедию», этот могучий рычаг критической философии, мы найдем в ней какие-либо революционные идеи о собственности, т. е. принципы, разрушающие ее прежнюю организацию. На самом деле мы видим другое: легист, составлявший статьи по этому вопросу, горячо отстаивает ее, но против кого? Против сторонников общности имущества, под которую он понимает равный их раздел. Он высмеивает Платона, Мора, Кампанеллу; он не выходит за пределы дилеммы: либо собственность в том виде, как она существует, выгодна, либо предпочтения заслуживает общ-

ность имущества. Как будто другого выбора нет, как будто можно представить себе только эти два способа распределения орудий производства. Разумеется, в такого рода статьях не могли отсутствовать имена Гроция и Пуфендорфа, и автор, по их примеру, полагает, что собственность есть результат общественного соглашения. Но он так же мало, как и они, разбирает вопрос о том, допускает ли это соглашение усовершенствование, или нет, и является ли оно одинаковым во все эпохи цивилизации. А между тем в этом именно заключается основной вопрос, ибо общество приближалось к моменту великой революции, следовательно, надо было подготовить новые соглашения, при помощи которых ему предстояло вскоре обеспечить свое возрождение.

Наконец, появился великий применитель политических теорий XVIII столетия. Мирабо стоило, так сказать, дунуть на прошлое, чтобы заставить его исчезнуть, но он не пошел дальше своих учителей и своим последним вздохом засвидетельствовал свое почтение к институту наследования*. А между

* Вот что говорится в речи Мирабо, оглашенной после его смерти Талейраном 5 апреля 1791 г.: «Если угодно, ничто не мешает представить себе дело таким образом, что имущество со смертью его владельца юридически поступает в общее владение (domaine commun), а затем, согласно общей воле, возвращается фактически к наследникам, которых мы называем законными... общество сознавало, что для перемещения имущества умершего за пределы его семьи пришлось бы

тем, разве громы его красноречия, поражавшие привилегированных членов семьи, не обрушивались также на привилегированных членов общества? «Чего ради,— говорил он,— вы станете обречать на праздность и беспутство (что нередко одно и то же) этих привилегированных в семье, которые благодаря своему богатству считают себя созданными только для удовольствий? Чего ради для содействия одному браку, который часто льстит только тщеславной гордости, вы будете препятствовать ряду других браков, которые могли бы быть счастливыми? Чего ради вы осудите на безбрачие нескольких детей одной и той же семьи, предоставляя одному из них проедать средства, необходимые для устройства всех остальных?»*

Если бы умы не были поглощены потребностью уничтожения неравенства, вытекающего из привилегий рождения, то в этих словах Мирабо легко было бы различить явное осуждение принципа наследования,— принципа, по его мнению, столь разумного, столь справедливого, столь уместного. Разве, в самом деле, не наследование порождает класс людей, созданных исключительно для удовольствий? Разве не оно дает возможность

обобратить эту семью ради посторонних и что это не было бы ни разумным, ни справедливым, ни уместным».

* Заменяв в этой фразе слово *семья* словом *общество*, мы получили бы столь же сильную, сколь верную критику организации собственности по праву рождения.

немногим привилегированным детям великой семьи проедать богатство, которое при лучшем его распределении служило бы для устроения всех других?

Заступничество Мирабо за людей, насильственно осужденных на безбрачие, напоминает нам об усилиях некоторых экономистов (Мальтуса и де Сисмонди) доказать существование, со дня рождения обделенным судьбой, что они не созданы для тихих радостей семейной жизни. Для защиты существующей собственности эти писатели пускаются в рассуждения, которые можно было бы применить к защите самых бесчеловечных учреждений. Они заявляют: существующее распределение собственности обрекает пролетария (какая варварская насмешка заключается в этом слове!) на нищету, если он женится; следовательно, он должен жить на свете одиноким, без подружки, которая делила бы с ним страдания, без детей, которые делали бы для него возможной надежду и привязывали бы его к будущему.

Провозглашая право первородства, средневековые сумело, по крайней мере, вознаградить за отсутствие богатства самым богатым приданым, какого только могла желать тогда любящая душа; оно освящало самый чистый, самый нерасторжимый союз, посвящая обездоленных дев религиозному культу, открывая для младших сыновей барона благочестивые и мирные обители, тогда как наследник его имени поддерживал его славу на полях

сражений. Оно открывало беспредельное будущее, бесконечную надежду перед этими любимыми детьми бога и церкви; скажем более: оно побуждало их смотреть без зависти, даже с презрением, подчас с ужасом на мирскую славу, всегда алчную, почти всегда кровавую, ради которой привилегированные при феодализме вели между собою раздоры.

Что делают сейчас для несчастных пролетариев, обездоленных в пользу первородных детей великой семьи, те люди, которые осуждают их на безбрачие? Ничего. Нищета, одиночество, отчаянье, смерть — вот предел их страданий, вот их будущность. Увы! этого мало: разве Мальтус и его ученики не доказывают, что благотворительность должна отказывать нищете в помощи и даже в убежище!!⁶

Поспешим выйти из ледящей атмосферы, в которой пребывают в грезах своих экономисты; вернемся к Мирабо.

Знаменитый спор о собственности, поднявшийся в Национальном собрании, дает нам множество примеров таких же противоречий, как то, которое мы сейчас отметили. Эти противоречия не представляют ничего удивительного, когда находишь их в революционных или критических воззрениях, ибо руководящим принципом последних *был* принцип нивелирования, равенства — принцип, противоречащий человеческой организации. Но таково уж влияние великих эпох неуряди-

цы, обозначаемых нами названием критических, что они вносят смятение во все умы, даже в умы тех людей, которые с наибольшей силой поддерживают сходящий со сцены общественный порядок.

Послушаем самого блестящего, самого горячего защитника прошлого, высказывающего свое пренебрежение, свое презрение к невежеству импровизированных законодателей 1791 г.:

«Нет такого крестьянина, — восклицает Казалес, — который не научил бы вас тому, что вам неизвестно, я хочу сказать — принципу, в силу которого тот, кто не сеял, не имеет права пожинать! Этот принцип не ведет своего происхождения от феодальной системы; напротив, он построен на признании, что основанием для собственности является труд, — на справедливом, мудром принципе, который далеко не известен вашим комитетам»⁷.

Какой же вывод извлекает Казалес из этого великого принципа? Как он согласует с ним организацию собственности? Каких законов требует он для регулирования ее передачи? Он требует норм римского права! С какой, впрочем, целью этот оратор вновь обращался к столь великому, мудрому и справедливому принципу, в силу которого тот, кто не сеял, не имеет права пожинать? Он хотел доказать, что дочери не имеют права наследовать. Но ему не приходило в голову, что его принцип, гораздо более общий по своему характеру, чем

тот частный случай, который подвергался осуждению, отстраняет от участия в разделе богатств всякого человека, неспособного оплодотворять их своим трудом; что он даже распределяет эти богатства между одними трудящимися, кто бы они ни были по своему происхождению, притом исключительно в соответствии с их способностями.

Новые убудочные построения, которые пытались было воздвигнуть наши первые законодательные собрания, из года в год рушились. Равенство видело в них всегда высоту, которая была для него утомительной, которую оно беспрерывно старалось приблизить к земле; вскоре появились нелепые проекты аграрного закона, имущественного равенства, и в похвалу их авторам надо сказать, что они были самыми сильными логиками своего времени, они доводили до крайних выводов принцип критической философии, нивелировавший все старые социальные преимущества: раз последние были сметены и не было налицо никакой теории, которая позволяла бы создать вместо них новые, то абсолютное равенство являлось логическим выводом неоспоримой силы⁸.

Мы высказываемся по этому предмету с полной откровенностью, ибо понимаем, что люди, так часто слышавшие мечтания о равенстве, когда им излагают идеи о необходимости изменения в структуре собственности, естественно, полагают, что человек, который возвещает эти идеи, в конце концов раз-

решится аграрным законом. И хотя достаточно и не столь глубокого исследования, чтобы видеть, что учение Сен-Симона не может породить подобную нелепость, мы считаем бесполезным отвергать эту нелепость каждый раз, когда к этому представляется случай.

Устав от созидательных усилий уравнилелей, Франция скоро бросилась назад к римскому праву и к феодальным институтам. Но мы не будем останавливать своего внимания на этом вынужденном возврате к прошлому; к счастью, теперь дошли уже до признания, что императорский режим был попросту возрождением старого порядка. Наши публицисты смотрят уже на эту эпоху как на настоящее попятное движение, которое было, однако, необходимо, чтобы выйти из революционной бури и войти в гавань конституционализма.

Таким образом, нам остается только рассмотреть доктрину либеральных публицистов об организации собственности. Здесь наша задача сведется к весьма немногому, ибо нам неизвестно ни одно сочинение, в котором подвергался бы исследованию вопрос о том, каким образом должна быть организована собственность, чтобы облегчить действие конституционного механизма, другими словами,— в котором автор восходил бы к принципу такого порядка, который может ныне узаконить эту последнюю привилегию рождения. А между тем собственность играет очень

крупную роль в нашей политике. Чтобы быть достойным представлять интересы промышленности, чтобы выступить инициатором хорошей системы законодательства или лучшего государственного воспитания, нежели то, какое дают иезуиты, необходимо владеть довольно значительным леном; чтобы быть заседателем при наших судьях, во избежание заблуждения или обмана с их стороны, необходимо быть по меньшей мере обладателем поместья. Мы отлично понимаем, что, например, в средние века, когда от истинных представителей нации требовалось только умение наносить лучшие сабельные удары, их искали в замках и поместьях, ибо там именно находились шпаги хороших полководцев. Но существуют ли такие соображения в настоящее время? Можно ли считать действительно законным фискальное основание нашей политической правоспособности? Мы высказываем просто сомнение, и, как мы полагаем, среди будущих наших противников найдется немало таких, которые поспешат доказать нам, что праздные собственники являются отличными руководителями для общества трудящихся и что, будь у нас несколько поменьше иезуитов, золотой век был бы осуществлен. Но мы рады, что вызвали необходимость в этом доказательстве: по крайней мере, будет стараться оправдать один из наших важнейших институтов, будет приведено в согласие с духом Конституционной хартии наше законодательство о собственности, как это хотят сделать

для всех частей наших кодексов. Тогда мы сможем сказать, что нам известны принципы, которыми обосновывают в конституционной системе общественную полезность современной собственности; мы узнаем, наконец, каким образом передача собственности в силу происхождения, столь естественная при господстве феодализма, последствием и опорой которого она была, является подходящим институтом для общества, утверждающего, что оно восторжествовало над феодализмом.

Мы заявляем, не боясь признаться в своем невежестве, что ничего подобного мы до сих пор не нашли в многочисленных сочинениях, опубликованных за последние 15 лет по вопросам законодательства и политики.

Нам, без сомнения, противопоставят труды великого английского легиста Бентама, который старался свести все законы к одному принципу. Мы слишком большие поклонники Бентама, чтобы обойти его труды молчанием. Он видел, конечно, что оправдать те или иные учреждения можно только их полезностью, и этот первый шаг, бесспорно, очень велик, но он недостаточен: он лишь отодвигает на время трудность, ибо надо еще определить, что следует понимать под общественной полезностью. В самом деле, как мы уже сказали выше, можно представить себе, что рабство было полезной вещью даже для раба, если вспомнить, что оно сменило собою варварское умерщвление побежденных, скажем

более, людоедство* следует ли отсюда, что надо восстановить рабство?

Бентам полагал, что он сделал драгоценнейшее открытие, провозгласив полезность общим принципом законов, ибо он не видел, что всякое общество, когда оно находится в расцвете сил, управляется, по мнению граждан, законодательством, находящимся в полной гармонии с их потребностями, другими словами, что это законодательство кажется тогда народам и их вождям самой полезной концепцией социального порядка и возбуждает в самой высокой степени любовь и преданность всех граждан. Читая Бентама, можно подумать, что законодатели прежних времен всегда забавлялись составлением законов, которые они считали безразличными или бесполезными. Заявить, что общим принципом законов должна быть полезность, значит просто сказать окольным путем, что в данный момент существует много бесполезных или вредных законов, т. е. таких, которые не находятся более в гармонии с обществом, волнуемым новыми потребностями и питающим отвращение к привычкам и чувствам, ради которых эти законы были созданы⁹.

«Полезность,— говорит Бентам,— есть тенденция вещи предохранять от какого-либо зла или приносить какое-либо благо». Но что такое добро и зло? Что такое страдание и

* Блаженный Августин в «Civitas Dei» подтверждает этот факт этимологией слов *servus, servare*; история дает, впрочем, возможность легко проверить его.

удовольствие? Бентам отвечает: «Это то, что каждый ощущает как таковое, крестьянин — так же, как князь, невежда — так же, как философ. Никаких тонкостей, никакой метафизики; для этого нет надобности справляться ни у Платона, ни у Аристотеля*». Таковы определения, которые дает нам английский легист. Но несколькими строками дальше Бентам сам берет на себя задачу выступить мстителем за пренебрежительное легкомыслие, с которым он помянул великие имена Аристотеля и Платона. «Если бы,— говорит он,— сторонник принципа полезности нашел в банальном списке добродетелей какой-нибудь поступок, в результате которого получается больше страданий, чем удовольствий, то он не поддался бы общему заблуждению» и т. д. Значит, мнение крестьянина и невежды о добре и зле все-таки может быть выправлено. Но те сторонники полезного, которые первыми открывают, что вещь, считавшаяся до тех пор полезной, на деле вредна,— разумеется, незаурядные люди; это владыки обширного царства разума, это Сократы, Аристотели, Платоны; это в особенности те, поистине святые люди, которые своей кровью начертали новый кодекс нравственности, предназначенный возродить чувства всего человечества.

Сделал ли Бентам подобного рода открытия? Границы, в которых мы принуждены

* *Traite de legislation civile et penale*, t. I, p. 4.

здесь держаться, освобождают нас от необходимости исследования того, действительно ли этим легистом были указаны новые наслаждения, новые страдания, пороки и добродетели, неизвестные прошлому. Мы вынуждены ограничиться рассмотрением того, какое применение находит у него принцип полезности в отношении собственности.

Одного примера будет для нас достаточно.

Как следует распределить имущество какого-нибудь лица после его смерти? Бентам отвечает: «В законе о наследовании законодатель должен иметь в виду тройкого рода задачу:

1. Позаботиться о средствах существования для нарождающегося поколения.

2. Предотвратить страдания от обманутых ожиданий.

3. Стремиться к уравнению имуществ»¹⁰.

Мы с трудом можем понять, каким образом в этом перечне фигурируют страдания от обманутых ожиданий. Если кто-либо ждет наследства, то потому, что законодательство, под властью которого он живет, сулит ему это наследство; но в данном случае речь идет именно о создании нового законодательства и установлении его основ. Станет ли оно сулить наследство человеку безнравственному, себялюбивому, бездарному и праздному потому лишь, что он сын такого-то человека? В этом весь вопрос. Быть может, приведенные слова Бентама имеют тот смысл, что когда новое законодательство аннулирует надежды, осно-

ванные на предшествующем законодательстве, то необходимо будет несколько щадить людей, применить систему вознаграждения в отношении лиц, консервативные надежды которых обмануты? В таком случае — превосходно, нет в самом деле ничего более согласного с требованиями порядка; но это общая мера благоразумия, которая может замедлить окончательное принятие какого-нибудь закона, но не изменить самой цели его, самого его принципа.

Два остальных пункта кажутся, напротив, основными пунктами, непосредственно применимыми к частному вопросу о собственности. И мы спрашиваем, имеется ли в их формулировке хотя бы одно слово, которое указывало бы, что наследовать должны именно дети или родственники в какой бы то ни было степени родства? Разве забота о средствах существования нарождающегося поколения, стремление к уравнению имуществ означает, что тот или иной миллионер должен все свое состояние или большую его часть оставить своему единственному сыну, а многочисленные дети бедняка должны вступить в мир еще более нищими, чем был их отец в тот момент, когда он покинул этот мир.

Это общие презумпции, заявляет Бентам. Как? Вы исходите из предположения, что в нашем обществе дети богатого человека встретят больше всякого рода трудностей при поисках средств к существованию, чем сыновья бедняка! Вы забываете, что первые

имеют возможность получить воспитание, обеспечить себе которое вторые не имеют ни времени, ни средств? Либо воспитание не есть самая сильная презумпция благосостояния, либо богатые дают плохое воспитание своим детям; обе эти гипотезы зависят от одной и той же причины. Воспитание не приносит почти никакой пользы, когда собственность организована таким образом, что ее большей частью можно приобрести без затраты труда; и затем, богатые дают плохое воспитание своим детям, раз те рано узнают, что при помощи золота своих отцов они в один прекрасный день будут знать все, никогда ничему не учившись.

Но эта презумпция, касающаяся средств существования, носит характер догадки еще в меньшей степени, чем другая презумпция. В самом деле, если при наследовании законодатель должен иметь в виду уравнение имуществ, то зачем передавать все состояние богача его родственникам, а не распределить большую его часть между детьми бедняков?

Этот разбор достаточно доказывает, по нашему мнению, что сам Бентам, стараясь установить один из общих принципов законодательства, не сумел уберечься от влияния слов. Произнеся слово *наследование*, он не сумел отделить его от факта, представляемого этим словом в современных нам обществах.

Между тем *наследовать* — значит только *замещать*; но для замещения человека, который был занят тем или иным трудом, полез-

но, чтобы замещающий удовлетворял известным условиям в смысле способностей, тогда как для того, чтобы наследовать собственнику достаточно быть самым близким его родственником. Если бы великий поборник принципа полезности заметил эту разницу, если бы он исследовал ее происхождение, то он увидел бы, что источником ее является следующее обстоятельство: для того, чтобы быть собственником, не требуется непременно умения что-нибудь делать. Тогда Бентам, без сомнения, пошел бы против общего заблуждения и, изорвав эту страницу банального перечня полезных вещей, объявил бы порочными наши предрассудки относительно наследования. Ибо человек, которого содержат в довольстве, хотя он ничего не умеет делать, должен быть в глазах утилитариста вредным излишком¹¹.

Самые возвышенные умы не избегают подобных ошибок в тех случаях, когда, борясь против пришедшей в упадок политической системы, они не осознают еще, какая система должна ее заменить.

Так, Дестю де Траси выражает удивление * по поводу того, что против собственности постоянно выступали с обвинительными актами. «Если послушать некоторых философов и законодателей, — говорит он, — то может показаться, что в определенный момент люди вздумали произвольно и без всякой причины

* Economic politique, ch. VIII. Introduction.

заявить *мое и твое*». Если бы Дестю де Траси вспомнил, что теперь не говорят больше *мой* раб, то он убедился бы, что эти процессы против притяжательного местоимения не всегда представляют собой одни лишь философские забавы. К тому же, слова *мое* и *твое* несколько не предрешают вопроса о наследовании. Почему этот предмет, сегодня *мой*, будет когда-нибудь *твоим*? Иначе говоря, почему этот предмет *мой*? Потому ли, что он произведен моим трудом, или же потому, что его сделал или украл мой отец?

Де Траси хорошо понимал, что эти вопросы заслуживают решения. Вот как он разрешает их*: «Один из результатов индивидуальной собственности заключается в том, что если владелец не распорядился ею согласно своей воле на случай его смерти, т. е.** относительно того времени, когда у него не будет воли, то закон, по крайней мере, определяет в общей форме, к кому она должна перейти после него. Естественно, что такими лицами являются его близкие; тогда наследование становится средством приобретения и, что еще важнее или, выражаясь правильнее, что еще хуже,— становится средством стяжания без затраты труда».

* *Economie politique*, ch. VIII. *Distribution des richesses*.

** Заметим это ценное «то есть», ибо с нами говорит положительный ученый,— ученый, знающий, что такое смерть и что такое воля, и вполне уверенный в том, что с наступлением первой прекращает существовать вторая.

Как видим, эта фраза в последней своей части является довольно определенной критикой наследования. Естественно, что оно приводит к явно дурному результату, к тому, что можно было бы назвать болезнью человечества, необходимым злом одной из неизбежных язв, как выражается Ж.-Б.Сэй, когда говорит о правительствах. Но действительно ли эта болезнь неизлечима? Действительно ли она как полагает де Траси, в природе человека? Мы этого не думаем. В самом деле, для исцеления от нее было бы достаточно установить законом, в виде общего правила, что пользование мастерской или орудием производства после смерти (или ухода на покой) того, кто ими пользовался, будет переходить всегда в руки человека, наиболее способного заменить умершего. Такой порядок был бы столь же разумен для цивилизованных обществ, сколь наследование по праву рождения казалось разумным варварским обществом.

Общий вывод

Мы показали, что экономисты, легисты и вообще все политические теоретики не выдвинули ни одной новой идеи, которая могла бы оправдать феодальную передачу собственности по праву рождения в условиях наших современных обществ (столь отличных во всех отношениях от обществ, встречаемых нами ранее в истории), либо способна была бы перестроить собственность на основах.

соответствующих нынешним и будущим потребностям человечества. Нам важно было обратить *внимание* на этот факт одновременно с изложением и развитием взглядов сен-симонистской школы на собственность. Мы хотели предостеречь таким путем наших слушателей против возражений, которые возникнут вероятно, в их умах и которые они могут, пожалуй, счесть внушением гораздо более возвышенных доктрин, нежели учения, которыми руководствовались феодальное общество или рабовладельческие народы. Если бы они действительно подумали так, то ошиблись бы, ибо это одни и те же доктрины; наши философы и публицисты продолжали жить в прошлом.

Когда мы нападаем на собственность по праву завоевания, по праву рождения, то мы боремся против античного мира и средневековья при помощи собственности будущего, т. е. той собственности, которая будет оправдана только способностями; той, которая будет приобретаться мирным трудом, а не войной и обманом, личными заслугами, а не происхождением. Тогда это новое право собственности — передаваемое, но лишь таким образом, каким передается знание, — будет достойно уважения и будет пользоваться уважением; ибо при нем позор и нищета будут делом только противообщественных привычек и страстей, тогда как благородным делом труда, самоотверженности и дарования будут богатство и слава.

Лекция девятая*

ОБЩЕЕ ИЛИ НАВРСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мы представили вам, господа, самые общие воззрения школы Сен-Симона на преобразование, которому должна подвергнуться собственность, и на будущую организацию промышленного производства. Разумеется, мы далеко не исчерпали этого предмета; далее нам придется еще развить некоторые другие его стороны. Но в данный момент мы полагаем, что наиболее верное средство облегчить его понимание — продолжить изложение доктрины нашего учителя по другим, не менее важным пунктам.

Мы уже заметили ранее, что нельзя отдавать идеи, относящиеся к будущему состоянию собственности, от всей совокупности идей, к которой они принадлежат. Когда наша система будет представлена в целом, то всем легко будет вновь охватить эти идеи и дать ИМ то дополнение, которого они требуют; впрочем, у нас самих еще будет случай вернуться к ним.

Сейчас мы займемся новым предметом: мы будем говорить о воспитании. Предпринимая

* Прочитана 22 апреля 1829 г.

рассмотрение этого великого социального явления, мы ответим косвенно на некоторые возражения, которые были обращены к нам по поводу собственности, — возражения, не имевшие целью оспаривать справедливость и полезность института, в силу которого мастерские и орудия производства должны доверяться людям, наиболее способным приложить их к делу, но касавшиеся исключительно трудности осуществления этих изменений, т. е. коренного преобразования существующего общественного строя с точки зрения экономической. Все эти возражения связаны, очевидно, с трудностью представить себе средство, при помощи которого общественное сознание освоилось бы с социальным порядком, признаваемым справедливым и полезным людьми самыми нравственными, самыми просвещенными и наиболее заинтересованными в прогрессе общественного богатства. Таким средством, как это было во все органические эпохи человечества, явится воспитание.

Под воспитанием в самом общем значении этого слова следует понимать совокупность усилий, употребляемых для приспособления каждого нового поколения к общественному строю, к которому оно призвано в силу поступательного движения человечества.

Грядущее общество, сказали мы, будет состоять из людей искусства, ученых и промышленников; следовательно, будет существовать тройкового рода воспитание, или, вернее, воспитание будет разделено на три отрасли, кото-

рые будут иметь своей целью развить: одна — симпатию, источник изящных искусств; другая — рациональную способность, орудие науки; наконец, третья — материальную деятельность, орудие промышленности.

Так как общество являет собой этот тройственный лик изящных искусств, науки и промышленности лишь потому, что каждый из входящих в его состав индивидов обладает тремя способностями, причем преимущественное развитие одной из них дает в результате художника, ученого или промышленника; так как каждый индивид, какова бы ни была его специальная склонность, всегда бывает одарен любовью, интеллектом и материальной активностью, то отсюда следует, что все будут получать тройкового рода обучение, начиная с детства и до помещения в одно из трех великих делений общественного организма, и что даже здесь каждое из этих делений действующего поколения будет еще продолжать нравственное, умственное и физическое его воспитание сообразно специальной цели, к достижению которой оно будет стремиться.

Таким образом, деление воспитания подрастающего поколения на три отрасли и продолжение тройкового воспитания действующего поколения в каждом из трех великих делений — таков принцип, который ляжет в основу будущей организации воспитания.

В настоящий момент мы не могли бы взять этот принцип за исходную точку своего изло-

жения; мы резко нарушили бы этим ход идеи, которому вы должны следовать, чтобы перейти постепенно от нынешнего положения вещей к положению вещей в будущем, переступить круг чувств, идей и интересов, среди которого мы живем, и вступить в круг, начертанный Сен-Симоном для будущего общества. Мы должны отыскать сначала переходный порядок и переходную форму выражения наиболее способные облегчить понимание наших взглядов на занимающий нас важный предмет.

Таким образом, прежде чем подвергнуть этот вопрос всестороннему обсуждению и даже с целью ускорения последнего, мы рассмотрим воспитание на топ почве и в тех терминах, которые нам привычны.

С этой точки зрения воспитание может рассматриваться как имеющее двоякую задачу:

1) Посвятить индивидов в отношения общественной жизни; внушить каждому из них чувство, любовь ко всем, объединить все воли в единую волю и все усилия — в направлении к одной и той же цели, — цели общественной. Все это можно назвать общим или нравственным воспитанием.

2) Передать индивидам специальные познания, необходимые им для выполнения различных категорий труда — симпатического или поэтического, умственного или научного, материального или промышленного, к которым призывают их общественные потребности и их личные способности. Такого рода образов?

можно назвать специальным или профессиональным.*

Этой последней областью воспитания только и занимаются в настоящее время: только ее имеют обычно в виду, когда говорят о воспитании. Нам еще придется показать, насколько даже в этой ограниченной области господствующие ныне идеи ложны и неполны, но сначала займемся нравственным воспитанием.

Им почти совершенно пренебрегают, ему не отводят даже места в дискуссиях, вызывающих интерес у публики. Если обнаруживаются какие-либо попытки его реорганизации, то они тотчас наталкиваются на многочисленные выражения неприятия, причем эта неприязнь обусловлена не тем, что предпринятые попытки не отвечают общественным потребностям, а абсолютным предубеждением против самой мысли о систематизации, организации нравственного воспитания.

Эта неприязнь легко объяснима: всякая система нравственных идей предполагает, что цель общества вызывает любовь, что она общезвестна и точно определена. Между тем в настоящее время цель эта составляет тайну,

* Уже из сказанного можно видеть, что в наших глазах одним из величайших преступлений против общества было бы насилие над индивидуальными призваниями, а между тем это неизбежно там, где — при всех уверениях в любви к свободе — высшим социальным догматом не является размещение людей соответственно их способностям и вознаграждение их по труду.

и считается просто невозможным чтобы чело веку было достоверно известно его социальное назначение. Что между физическими явления ми существует связь — с этим все согласны, но в области явлений, касающихся челове чского общества, ее не допускают, считают что эти явления, даже самые общие, зависят случая, подчиняются счастливым или несчаст ным случайностям, следовательно, причинами, стоящим вне сферы предвидения.

Мнение это не всегда выражается в столь открытой форме. От времени до времени мы наблюдаем даже возникновение тех или иных политических теории, и появление такого ро да теорий кажется как будто несовместимых с верой в то, что в общественных явлених господствует полный беспорядок. Если, одна ко, взять на себя труд добраться до источников этих теорий, если проследить их тенденций, то в основе всегда можно найти отмеченный нами взгляд. Так, среди нынешних полити ческих теоретиков одни открыто заявляют, что история представляет собой огромный хаос среди которого невозможно обнаружить ка кой бы то ни было закон, какую бы то ни было гармонию, какую бы то ни было связь. Другие полагают, что каждая эпоха цивили зации была подчинена какому-либо закону, но законы эти — столь же многочисленны, сколь многочисленны различные народы, покрывавшие и покрывающие до сих пор земли, — лишены объединяющей их Они ни в коей мере не выражают общего

закона человеческого общества. Наконец, если некоторые более строгие умы и стараются оты скать достигнутом до сих пор прогрессе

откровение того, что нам готовит будущее, то они по занимающему нас вопросу приходят именно к тому заключению, что привести в

систему, организовать, упорядочить нравст венное воспитание значило бы вернуться назад к самому отсталому общественному состоянию, варварству средневековья или к восточному деспотизму. Поэтому не следует удивляться существующему вокруг нас глубокому без различию к нравственному воспитанию, даже ужасу, который вызывает всякая попытка его систематизации: при существующем убежде нии, что невозможно предвидеть будущее общества, естественно, что никто не старается давать известное направление умам. А если принять в соображение, что, согласно обще распространенному взгляду, люди, до сих пор руководившие массами, всегда наносили вред их развитию, то надо будет признать, что нет ничего более естественного, как отвергать с ужасом подобное руководство, ибо в таком случае оно в самом деле должно представлять ся лишь себялюбивым, невежественным и гру бым деспотизмом.

Между тем, если спросить, существуют ли у человека обязанности по отношению к его ближним, по отношению к обществу, членом которого он является, налагает ли на него его личное положение еще какие-нибудь особые обязанности, вроде семейных и професии-

нальных, то, несомненно, очень немногие за думаются над тем, ответить ли утвердительно. Но спросите затем, каким образом человек узнает, каковы эти обязанности, как он разывает в себе любовь к их выполнению, как его побудить к тому, чтобы он их выполнял; спросите на этот счет наших теоретиков, публицистов или философов, и они ответят вам в зависимости от разделяющих их оттенков, что наилучшее правило поведения для всякого индивида в различных обстоятельствах жизни, в которых ему приходится действовать, всегда с ясностью указывается ему самой природой этих обстоятельств; что, сверх того, индивидуальные силы, направленные к одной и той же цели, — улучшению своего личного положения, уравнивают друг друга, и этого в большинстве случаев достаточно, чтобы ставить каждого не выходящего в своих действиях за надлежащие границы; наконец, законодательство может принудить тех, кого это средство не в состоянии было бы удержать в этих границах.

Замечательно, что люди, ссылающиеся таким образом на законодательство, мало беспокоятся о том, откуда явятся и законодательство, и его полномочия. Не менее удивительно и то, каким образом люди, признающие допустимым давать обществу, по крайней мере в отрицательной форме, известное направление посредством законодательства, — ибо законодательство исправляет отклонения, которые оно считает опасными, — каким образом эти люди

не приходят логически к выводу, что дозволено также направлять общество посредством воспитания.

Некоторые возражают, что каждый носит в своем индивидуальном разуме способ познания своих обязанностей и что в побуждениях своей совести он имеет достаточную санкцию велений своего разума, достаточно сильный мотив, чтобы действовать всегда согласно справедливости и истине. Если послушать их, то можно подумать, что достаточно поставить человека в материальное соприкосновение с обществом, чтобы он при помощи своего разума, своей совести и своей свободы тотчас смог постигнуть общество в целом и в деталях, смог понять все обязательства, которые оно на него налагает; наконец, почувствовать в себе желание, волю и силу выполнить их. В конечном счете это равносильно утверждению, что воспитание и ученичество всего менее необходимы для понимания и осуществления на практике как раз наиболее сложных явлений, оценка которых требует обширнейших познаний, напряженнейшего внимания, редчайшего предрасположения ума и сердца, т. е. такого предрасположения, которое позволяет человеку выйти из сферы индивидуальных интересов и стать на точку зрения интересов общества, всего человечества.

Заметим еще, что все эти разнообразные взгляды, проповедуемые исключительно приверженцами свободы, имеют своим необходимым результатом введение насилия в качестве

единственного средства для поддержания порядка в обществе. Этот вывод — который логически вытекает из взгляда, предоставляющего заботу о регулировании ПОСТУПКОВ каждого человека антагонизму индивидуальных сил и репрессивному законодательству, — составляет столь же законную принадлежность другого воззрения, усматривающего в индивидуальном разуме и совести единственный законный источник общественной морали. В самом деле, так как индивиды, очевидно, не способны понять непосредственно общий строй общества и обязанности, вытекающие отсюда для каждого из его членов, а, следовательно, для них самих, то единственным средством удержать их на надлежащей линии поведения все еще является уголовное законодательство, т. е. все та же сила, насилие.

Мы можем определить действительную ценность обоих этих взглядов, так как они получили почти полное применение на практике. В самом деле, за исключением некоторых весьма слабых и с каждым днем все более слабых моральных устоев, которыми общество обязано обучению католической церкви но которые передаются теперь почти механически, единственными средствами поддержания порядка являются те, которые вытекают из равновесия индивидуальных сил, и (в случае слишком вопиющего беспорядка) из санкции закона в виде штрафов, тюрьмы и эшафота. Ясно, однако, что эти средства сами по себе имеют только отрицательное значение: они

МОГУТ, конечно, предупредить иной раз зло, и то в очень ограниченной сфере, но несомненно одно, что они бессильны склонить к добру.

В то время как старый нравственный кодекс (катехизис) и институты (проповедь и исповедь), при помощи которых он проник в сознание, подвергались страстным и яростным нападкам, некоторые философы пытались найти критерии для оценки человеческих поступков, однако все их усилия привели лишь к морали правильно понятого интереса. Между тем, для того чтобы этот принцип, если предположить, что он правилен, мог считаться действенным, необходимо было, чтобы моралисты, установившие и проповедовавшие его, постарались предусмотреть все обстоятельства, при которых человеку приходится действовать, и позаботились о том, чтобы указать для каждого из этих обстоятельств попечение, предписываемое правильно понятым интересом. Книга, содержащая эти новые проблемы совести, будучи дана в руки каждому человеку, была бы для него законом, священником, проповедником, духовником, одним словом, — руководством. На самом деле ограничиваются обычно тем, что заявляют: понимайте правильно свои интересы, и все пойдет как нельзя лучше; это равносильно признанию того, что каждый индивид в состоянии, притом лучше, чем кто бы то ни был другой, постигнуть отношение своих поступков к общему интересу и предугадать

их значение вплоть до их крайних последствий. — что является явной неслепотой.

Могут сказать, что некоторые люди пойдут дальше что Вольней и некоторые другие писатели составили катехизисы. Мы не рассматриваем такой апологии: просвещенные умы перестали уже воскуривать фимиами идолами, воздвигнутыми во славу прошлого и даже начала нынешнего века; что же касается нас, то здравый смысл народа осудил это отступление от науки.

Система морали, основанной на правдивом понятии интереса, есть отрицание всякой общественной морали, ибо она предполагает, что человек может и должен руководствоваться только чисто личными соображениями или внушениями, но никогда — порывом общественных симпатий; всегда холодным расчетом (к счастью, в большинстве случаев — осознанным), и никогда неотразимым примером людей более нравственных, чем он сам. Если бы мы даже допустили, что эта система может оказывать действительное влияние, это влияние ограничивалось бы тем, что могло бы людям вредить друг другу. Но ведь это не единственное налагаемое на них обязательство: они должны еще взаимно помогать друг другу, ибо их судьбы тесно связаны между собой, ибо они взаимно солидарны в своих страданиях и радостях и не могут идти вперед по пути любви, науки и могущества иначе как при условии непрерывного распространения этой солидарности.

Таким образом, к нравственному воспитанию в настоящее время относятся с полным пренебрежением даже наиболее любимые, наиболее уважаемые публикой люди. И замечательная вещь: важное значение его понимают как будто одни только защитники ретроградных учений. Бесспорно, они заблуждаются относительно характера идей, которые следуют преподавать и чувствовать, которые нужно развивать: в этом отношении противодействие, оказываемое им, вполне законно. Но по самому вопросу о необходимости системы нравственного воспитания они обнаруживают бесконечное превосходство над самыми популярными умами нашего времени.

Между тем эта сторона воспитания, столь заброшенная в настоящее время, является наиболее важной. Если на одно мгновение подвергнуть отдельному рассмотрению общее, распространяющееся на всех воспитание, регулирующее общественные отношения, а также руководящее распределением труда, т. е. развитием индивидуальных способностей, и воспитание специальное или профессиональное, то можно скоро убедиться, что пробел в первом из них влечет за собой гораздо более серьезные последствия, чем те, которые могут встретиться при пробеле во втором. В самом деле, запас специальных знаний все еще может сохраняться и даже совершенствоваться и при отсутствии всякого непосредственного и регулярного обучения; он передается тогда, так сказать, от индивида к индивиду,

правда, без всякого порядка, без предумыслия, но, в конце концов, и в этом состоянии он сохраняется и даже расширяется. Таковы наши дни в этом роде познаний достигнутых успехов, несмотря на то, что учреждение, которое возложено распространение этих знаний, крайне несовершенно и что в этом отношении отсутствует даже какое бы то ни было общественное предвидение. Иначе обстояло бы дело с чувствами общими или возвышенными* (в данном случае оба эти слова являются синонимами): как только прекращается нравственное воспитание, общественные связи слабеют и скоро совершенно порываются. Тогда для человечества наступает не то замедление и приостановка в его прогрессе, не то шествие, но, с известной точки зрения, тенденция к попятному движению, т. е. возврат социальной жизни к жизни одной семьи и от нее — к дикой жизни, к самому грубому эгоизму. В такие именно критические моменты человек, переставая понимать самоотверженность, называет ее безумием, мистицизмом, дряблостью, чем-то смехотворным; в кое благородное чувство гаснет в его душе, но он и тогда еще продолжает пылко, со страстью трудиться; но какова цель этого труда? Разве промышленник и ученый выбиваются из сил и не спят ночей для того, чтобы человечество не страдало больше от нищеты

* По-французски игра слов: *généraux* и *général* (прим. ред.).

невежества? Нет, они делают это для обогащения своего я, для его просвещения, для удовлетворения чисто эгоистических физических и умственных вожделений.

Таким образом, уже одного соображения с необходимостью вернуть человека к полноте его бытия, ко всему величию его существа было бы достаточно для того, чтобы прежде всего заняться реорганизацией нравственного воспитания. Но это необходимо сделать и с другой точки зрения, а именно — в интересах самого специального труда. Ибо для того чтобы каждая профессия осуществлялась соответственно требованиям известного социального порядка, необходимо наличие согласия всех индивидов в пользу этого социального порядка, иными словами, необходимо, чтобы социальный кодекс был сформулирован, чтобы ему обучали систематически и регулярно.

К этим соображениям мы прибавим еще одно, которое уже само по себе достаточно осуждает, как нам кажется, безразличие и даже неприязнь, обычно выпадающие теперь на долю всякой попытки систематизировать нравственное воспитание.

Законы всегда регулируют лишь то, что не было урегулировано воспитанием; в самом деле, как представить себе необходимость принудительного воздействия, если не для того, чтобы сломить сопротивление воли? Но, повторяем, цель воспитания в том именно и состоит, чтобы привести чувства, расчеты и поступки каждого в гармонию с обществен-

ными требованиями: следовательно, вмешательство закона становится необходимым лишь тогда, когда существует пробел или недостаток интенсивности в нравственном суждении.

Несомненно, во все времена будут существовать ненормальные натуры, не поддающиеся влиянию воспитания, каким бы усовершенствованным мы ни представили себе его. Во все времена будут существовать люди, лично которых будет восставать против общественного порядка, как бы благоприятен этот порядок ни был для общего развития. Но, к счастью, это только исключения, иначе было бы невозможно существование общества, исключения весьма редкие, если судить даже по историческим эпохам, когда они должны чаще всего встречаться, ибо тогда не существовало никакого общего порядка, общезвестно пользующегося любовью и влияющего на индивидуальные поступки, ибо тогда общество не сознает у себя никакой цели, а члены его никакого долга. Последний предел совершенства, достижимый путем развития воспитания, состоял бы в сведении необходимо законодательного принуждения только к случаям таких печальных аномалий. Человечество непрерывно приближалось к этой цели по мере того, как совершалось его прогрессивное развитие, нравственное воспитание становилось более непосредственным, определенным, охватывало большее число случаев, сводя их вместе с тем к меньшему числу

отдельных принципов: законодательство как принудительная сила пропорционально теряет в то же время свое значение и свой насильственный характер.

Таким образом, противиться в настоящее время организации нравственного воспитания значило бы действительно заставить общество воплотить в жизнь. Это означало бы вернуть политической силе ту роль, которую она имеет тенденцию терять.— роль, приличествующую ей, пока на земле существовали войны, пока в каждом обществе существовало два общества — господ и рабов, но которую она не может сохранить впредь, так как человечество призвано составить отныне одну семью и развивать свои силы только в мирном направлении.

Аскция десятая *

ОБЩЕЕ, ИЛИ НАВРСТВЕННОЕ, ВОСПИТАНИЕ

(продолжение)

Мы старались, господа, оттенить важное значение нравственного воспитания, убедить вас в том, что оно должно быть предметом общественного предвидения, предметом особой политической функции. Мы показали, как прогресс воспитания связан с развитием общего освобождения человечества. Наконец, мы доказали, что взгляды, отвергающие в на-

* Продолжение, май 1829 г.

стоящее время всякую систематизацию этой отрасли воспитания, имеют своей неизбежной тенденцией умаление человеческого достоинства. Нам остается изложить свои воззрения на природу, объем и способ действия нравственного воспитания.

Слово *воспитание* обычно напоминает лишь о культуре детского возраста; действительно так как этот первый период жизни является для человеческого существа только подготовкой к периодам, которые должны за ним последовать, то естественно, что с ним особенно тесно связываются идеи воспитания. А между тем воспитание, особенно та сторона его, которой мы сейчас занимаемся, отнюдь не ограничивается детским возрастом; оно должно следовать за человеком в продолжение всего его существования. В самом деле, если принять во внимание, что человек во всяком возрасте постоянно побуждается тем или иным желанием, что он действует всегда под влиянием своих симпатий, то следует признать, насколько важно распространить социальное предвидение на все факты, способные пробудить и развить в нем симпатии, соответствующие цели, к достижению которой общество стремится. Словом, если человек способен извлекать пользу из нравственного обучения в течение всей своей жизни, то общество должно позаботиться о том, чтобы в этом обучении у него никогда не было недостатка.

Ничто не может заменить воспитания в молодости. Раз человек уже окунулся в тру-

ды активной жизни, он не обладает больше моральной гибкостью, необходимой для восприятия недостающей ему культуры, а между тем он нуждается в ней тогда вдвойне. Желания его не могут оставаться в бездействии; если поэтому не направлять их к добру, т. е. к общественному прогрессу, то представляемые самим себе они направляются ко злу, т. е. к эгоизму. Таким образом, отсутствие воспитания почти всегда равносильно неправильному воспитанию, и человек, первоначальному воспитанию которого пренебрегли, должен не только учиться, но и отучаться. Существует лишь весьма незначительное число избранных натур, которых мысль о возложенной на них миссии настолько поддерживает и поощряет, что они в состоянии превозмочь неправильное первоначальное воспитание.

Правда, история являет нам примеры целых поколений, перенесенных в некотором роде внезапно из одной моральной сферы в другую. Но, прежде всего, эти перемены никогда не бывают столь внезапными, какими они кажутся с первого взгляда: присматриваясь к ним ближе, всегда убеждаешься, что они подготовлялись задолго до того момента, как проявились со всей яркостью. Затем мы видим, что они совершались сначала лишь в самой общей области чувств, идей и интересов, и только много времени спустя, притом постепенно, им удалось захватить сферу вторичных поступков, мыслей и привязанностей. Поэтому мы и видим, что поколения, которые избира-

жаются перед нами как внезапно обращенные в течение длительного времени не способные полностью осуществить тот общественный строй, к которому потенциально призваны признанные ими принципы. Народы, подвластные Римской империи, в продолжение нескольких столетий готовились к труду философов к восприятию слова апостолов, оставались еще в течение нескольких веков такой же мере язычниками, как и христиан, и после проповеди Евангелия, закон которой они, между тем, признавали. Подлинно христианское общество явилось только тогда, когда носители нового учения смогли одеть человека с самого его рождения, отлить от него чувства и привычки старого общественного порядка и внушить ему чувства и привычки, соответствующие новому общественному порядку.

Таким образом, воспитание в молодом возрасте, бесспорно, является крайне важным. Но одного недостаточно; если привитые им чувства не поддерживают непрерывно и возобновляют их в человеке после его вступления в активную жизнь, то они вскоре перемещаются в область смутных воспоминаний и в короткое время совершенно стираются. В моменты многочисленных событий, имеющих отношение к личному положению человека, способных поглощать все его внимание, требуются затраты всей его энергии. В тот момент, если человек начинает тогда размышлять над нравственными правилами, которыми

обучался, то может случиться, что он не понимает больше ни их уместности, ни смысла ни пользы и даже сочтет их противоречащими фактам, которые его волнуют и которые он считает необходимыми. Следовательно, для того чтобы впечатления первого начального воспитания сохраняли свое влияние, требуется ежеминутно воспроизводить их; иными словами, нравственное воспитание должно продолжаться в течение всей жизни индивида.

Чем больше успехи делала цивилизация, тем больше нравственное воспитание расширяло свои предвидения, тем больше ему удавалось продлить свое влияние на личную жизнь.

В древности каждый гражданин — многочисленный класс рабов, разумеется, не входил в это обозначение, — будучи призван осуществлять на общественной площади интересы общины и принимать участие в начинаниях, которых эти интересы требовали, становился, таким образом, на достаточно возвышенную точку зрения, чтобы понимать соотношение между его личными поступками и общим интересом; это не освобождало его, однако, от первоначального воспитания, которое должно было раскрыть ему сущность того общества, членом которого он являлся. Несомненно, правила этого воспитания могли бы, строго говоря, сохраниться в нем и без помощи специального института, предназначенного напоминать ему о них. А между тем посмотрите на пышность олимпийских игр, на мистерии, религиозные церемонии, на весь многочислен-

ный класс жрецов, свивил, авгуров, живое разъяснение социальных судеб пр. дает самопожертвование и энтузиазм.

Это положение изменилось: ни один не ограничен теперь более пределами города и не в состоянии поместиться на ственной площади, где общие интересы бы обсуждаться всеми или в прису всех. Разделение труда, одно из существ. условий успехов цивилизации, замыкая во все более ограниченный круг, вместе все более удаляло их от непосредств. рассмотрения общих интересов, и так процесс совершался в то самое время, к интересы, вследствие усложнения общ. ных отношений, становились все более ными для понимания. Таким образом, и того как разделение труда расширяло реализации приносимых им выгод необ. было придать бóльшую интенсивность лярность нравственному воспитанию, одно способно вновь поставить индив. общую точку зрения, от которой их о. специализация труда. Надо было так. тщательно позаботиться о том, чтоо. чатления первоначального воспитания. рывно, в течение всей жизни челове. держивались и укреплялись в нем. внешнего, прямого, систематическо. действия.

Но если разделение труда имело и. ственным результатом сужение сферы дуальных занятий, то оно в то же в

звало избранным натурам в большен. степени отдаваться созерцанию общих явлени и путем воздействия на других людей сторицей вернуть обществу выгоды. приписываемые соединению разных видов труда в руках каждого отдельного человека.

Рассмотрим теперь, какая способность де. лает человека пригодным для восприятия нравственного воспитания и какая способ. ность должна преобладать у тех, кто призван направлять это воспитание.

Философы, которые при сравнении совре. менности с древними временами не задумы. ваясь признают превосходство первой, обосно. вывают обычно это превосходство все возра. тающим преобладанием рассуждения над чувством, ибо в чувстве они видят атрибут детского возраста человечества, а в рассужде. нии — атрибут его возмужалости. Быть может, этот взгляд имел бы видимость справедли. вости, если бы он ограничивался тем, что объ. яснял достигнутый прогресс все более замет. ным обособлением этих двух проявлений чело. веческой деятельности, т. е. непосредственным применением каждого из них к той категории труда, с которой оно более специа. льно связа. но. Оно было бы справедливо в том случае, если бы его целью была констатация не. удобств, пронстекавших, как мы уже сказали, от смешения поэзии с наукой в начальные пе. риоды существования обществ. Если, напро. тив, в этом полезном разделении труда видит подлинное ослабление роли чувства, то чело.

нечество напрасно казнят. Между тем, точно послушать ежедневные апологии и речу рассуждения и резкие выпады и чувства, чтобы убедиться, что таково общераспространенное воззрение нашего мени. С каким аффектированным пренебрежением клсмят прозвищем смешного все происходит от возвышенного источника ви! С какой наивностью воображают, что казали полную несостоятельность какой-либо концепции, какого-либо начинания, если тают себя вправе заявить о нем: все это чувства! Можно подумать, что вдохновение, е. дарование, есть злое начало нашей роды и что все наши усния должны быть правлены к тому, чтобы избавиться от страшного врага. И сколько людей действительно преуспевают в этом и одерживают прискорбную победу!

Разумеется, не всегда это мнение высказывается с такой откровенностью, но оно ствует в основе всех систем, претендующих, что они имеют отношение к прогрессу вечества. Видя, как мы берем на себя чувства против рассуждения, можно бы с первого взгляда подумать, что мы нам выступить с апологией спиритуализма в материализму; но это заблуждение. Обозрения, противопоставленные друг друга сражаются одним оружием, оспаривают у друга одно и то же завоевание — разум. одному из них не ведомо, что такое м, оба анализируют, делят, дробят дух на

рию до самой низшей их модальности или самой крошечной молекулы: оба обращают в пыль пробегаемое ими поле: оба несут всюду смерть, ни одному из них не будет принадлежать жизнь.

Вернемся к мнимоу превосходству рассуждения над чувством. Ясно, что этот взгляд непременно должен оказывать большое влияние на отношение людей к занимающему нас предмету: в самом деле, с этой точки зрения специальная, если не единственная, задача воспитания состоит в том, чтобы культивировать у человека рассудочную или научную способность с целью дать каждому индивиду возможность усваивать самостоятельно, путем доказательства, догматы социальной науки и совершать ни одного действия иначе, как рассчитав зрело, каковы будут последствия этого действия и для него самого и для всего общества. Полагают, что таким образом каждый будет застрахован от неожиданностей и иллюзий, порождаемых его симпатиями, в особенности же — от влияния людей, обладающих способностью волновать сердца; люди радуются, когда считают, что приблизились к столь жалкому результату.

В наши намерения не входит характеризовать в настоящий момент эти две великие формы бытия — рассуждение и чувство, равно как показать различные аспекты, под которыми мир и человек представляются самому человеку, смотря по тому, следует ли он в своих изысканиях по рациональному пути или

по пути чувства. Мы скоро займемся этим
интересным анализом. Сейчас же огранич
догматическим изложением тех идей, ко
которые в этом отношении более специа
связаны с вопросом.

В процессе развития человечества р
дочная способность совершенствуется н
счет способности чувствования: та и др
развиваются в одинаковой степени. Ес
настоящее время первая как будто преоб
ет, то это зависит исключительно от того
между нами существует самая минимал
ассоциация, самое минимальное един
какие только возможны между людьми
ставляющими одно целое. Это положени
цей легко будет понять, если припомн
какими чертами мы охарактеризовали кр
ческие эпохи.

Человек живет чувством и благодаря
способен к жизни в обществе; именно чув
привязывает нас к миру, к человеку, им
он связывает нас со всем окружающим, и
гда эта связь порывается, когда мир и чел
как будто отталкивают нас, когда привя
ность, привлекавшая нас к ним, начинае
бывать и умирает, то жизнь для нас
крадется. Если отвлечься от симпатий,
зывающих человека с его ближними, за
ляющих его страдать их страданиями, ф
ваться их радостями, вообще жить их жи
то в обществе невозможно видеть что
иное, кроме скопления индивидов, лише
взаимных связей и отношений, руководя

щихся в своих поступках только побуждения
ми эгоизма

Только чувство побуждает человека заин
тересоваться своим назначением: только оно
впервые открывает человеку это назначени
На долю науки выпадает тогда несомненно
важная роль: она призвана проверять внуше
ния, откровения, угадывать чувства, наделить
человека знаниями, способными облегчить ему
быстрое и уверенное движение к открывшейся
ему цели. Но и здесь опять-таки одно лишь
чувство, побуждая его желать, любить эту
цель, может наделить его волей, чтобы добить
ся ее, и силами, необходимыми для ее дости
жения.

Несмотря на большую роль, которую мы,
вопреки общему мнению, отводим чувству,
мы, разумеется, весьма далеки от желания
подавить или умалить значение усилий, со
вершаемых нынешним поколением для того,
чтобы двигаться вперед на поприще рассу
ждения. В самом деле, если вы обратитесь
к нашим первым лекциям, то вы припомните,
что, согласно нашему убеждению, наш век не
только не перешел границы роста в области
разума, но, напротив, остался далеко позади
нее и в этом отношении остается еще доби
ваться весьма значительных успехов; что, не
смотря на свои претензии в этом смысле, наш
век в отношении многочисленных новых эле
ментов, имеющихся в его распоряжении, стоит
даже гораздо ниже ряда предшествовавших
эпох. Обратившись к тому, что мы

сказали о позитивном методе, о его цели, о способе, при помощи которого надо пользоваться им, о применении, которое сами находили ему при изучении великой цели коллективной жизни человечества. Убедитесь, что мы придаем немалое значение рациональному методу, и что в пользу нами мы соблюдаем не меньшую строгость, чем люди, труды которых считаются тем наиболее позитивными, т. е. продуктом высшего рационализма.

Но это должно дать нам, по крайней мере, право вновь заявить, что все нравственное для человека не заключено только в его социальной способности; что у него имеются другие способы познания, кроме этого одного метода, другие элементы веры и знания, кроме научных доказательств, всякая наука, как мы уже сказали, предполагает аксиомы.

Ученые, занимающиеся общими проблемами (становясь здесь на точку зрения симоновского учения, мы разумеем под названием носителей науки о человеке социальной физиологии), могут, конечно, при помощи указаний, которые дала им новая цепочка, при помощи метода, пользоваться которым она учит их, выводить будущее из наблюдений над прошедшим, указывать, к какому пределу приближается ряд уже совершившихся общих явлений. Можно также признать этими способностями определения, при помощи этого систематического исследования

фактов, или при помощи логических дедукции, социальной комбинации, наиболее подходящей для той цели, которую открывают им симпатия, следовательно — начертать обязанности индивидов в зависимости от места, которое они должны занимать в общественной иерархии. Но само это место может быть указано только любовью, т. е. людьми, наиболее сильно воодушевленными желанием улучшить участь человечества. К тому же, если даже приписать науке эту способность, то разве отсюда следует, что она должна руководить нравственным воспитанием? Стоит хоть немного подумать над этим вопросом, чтобы признать ее бессильной выполнить такую задачу; эта миссия выше ее возможностей.

В самом деле, для того чтобы предписания науки закрепились в себе, обязательно было бы предположить, что благодаря доказательству они стали признанием, творением тех, кто их признает. Но такое доказательство требовало бы от каждого совершенного знания социальной науки; и если даже предположить, что все люди способны приобрести таковое, то необходимо было бы еще, чтобы они отдавали ему все время, предназначенное для специального образования, в котором они нуждаются, чтобы надлежащим образом выполнять свои функции в обществе, а это явно невозможно.

Подавляющему большинству людей результатов общественной науки могут представ-

ляться только в догматической форме, те немногие лица, которые разрабатывают посвящая ей всю свою жизнь, в состоянии представить себе ее проблемы: следовательно, надо полагать, это также единственные люди, над умом которых предписания и могут иметь достаточно власти, чтобы сделать для них обязательными. Но это, как вы только предположение. В самом деле, наука доказательство может оправдать логическую уместность тех или иных актов, но оно недостаточно, чтобы вызвать их; для этого требовалось бы, чтобы оно заставило полюбить. Но в этом не заключается его роль. Достоинство не содержит в самом себе никакое необходимого основания для действия; как, как мы только что сказали, может вызвать средства, которые необходимо употребить для достижения той или иной цели, почему одна цель предпочтительна перед другой? Почему не остановиться на полпути? почему не пойти даже назад? Только чувствительность, т. е. сильно выраженная симпатия к отеческой цели, может разрешить это затруднение¹.

Для того чтобы индивид согласился вступить в начертанный для него круг, достаточно, чтобы ему были известны цель общества и средства к ее достижению; ведь мы хотим, чтобы эта цель, эти средства являлись для него предметом любви и желания. Мы тем ученые могут, конечно, констатировать самый феномен, следовательно, могут ска-

что надо любить для того, чтобы не препятствовать ходу цивилизации, предугадываемому последовательной связью исторических фактов.— но они не способны вызвать чувства, необходимость которых они признают.

Эта миссия принадлежит другому разряду людей, которых природа специально одарила симпатической способностью. Мы не хотим, разумеется, сказать этим, что люди, призванные давать импульс обществу, должны оставаться чуждыми науке; но наука принимает в их руках новый характер: она приобретает тогда жизнь, санкцию, которую могут дать ей только люди, приводящие ее в связь с назначением человечества.

Чтобы убедиться в сказанном, достаточно рассмотреть, какими людьми и какими средствами определялись до сих пор общественная воля и общественные акты, из какого источника индивид черпал всегда удовлетворение, которое приносит ему исполнение его обязанностей. Мы найдем, что всегда и везде обществу давали направление люди, обращавшиеся к сердцу; что рассуждения, умозаключения всегда были в этом отношении только второстепенными и косвенными средствами; наконец, что общество всегда непосредственно поддавалось увлечению только благодаря различным формам выражения чувства.

Эти формы, носящие название культа в органические эпохи или изящных искусств в

эпохи критические, всегда имели тот факт, что возбуждали желания, сообразно цели, к достижению которой должно идти общество, и вызывали таким образом действия, необходимые для общественного прогресса. В этом смысле между одним, являющим общество и другим, органически критическим, различие заключается лишь в характере чувств, которые культ или искусство призваны развивать, как и в характере обязанностей, которые они предъявляют. Во всех этих отношениях средневековая стояла значительно выше предшествующих ей эпох. Здесь уместно будет сказать о нравственной дисциплине, о которой мы лишь упомянули в прошлой лекции, мы разумеем исповедь.

Исповедь была в последнее время предметом единодушного осуждения. В ней не только средство соблазна и шпионажа, о используемый духовенством для поддержки своих честолюбивых замыслов и удовлетворения личных страстей. Этот приговор является логическим следствием осуждения, которому подвергали католическое учение в целом.

В самом деле, раз на это учение смотреть как на орудие обмана, как на средство деспотизма, осуществляемого в пользу незначительного меньшинства, то ясно должно было быть отвергнуто с полным и отвращением все, что может способствовать

его укреплению и распространению, в частности — столь могущественная в достижении этой цели исповедь. Но если, став на другую точку зрения, видеть в католичестве (т. е. в социально организованном христианстве) в эпоху его наибольшего могущества нравственное учение, наилучшим образом приспособленное к потребностям общества, то надо будет признать, что учреждения, имевшие своим назначением запечатлеть его в умах, были в высшей степени полезны, в высшей степени нравственны до тех пор, пока само это учение продолжало гармонировать с потребностями человечества. Лишь тогда, когда эта гармония исчезла, исповедь, оставшая в стороне преувеличения, всегда примешивающаяся ко всякой реакции, стала заслуживать упреки, обращаемые к ней в настоящее время. Но в пору расцвета католического учения, для которого исповедь являлась одним из главных способов воздействия, в ней следует видеть только своего рода консультацию, к которой люди менее нравственные, менее просвещенные прибегали с целью нанять недостающие им знания и силы у тех, кто стоял выше их по интеллектуальному развитию и нравственным качествам. Для последних она была средством будить и поддерживать общественные и индивидуальные симпатии, развивать и направлять которые составляло их миссию. И если подумать о реабилитирующем значении тогдашней исповеди, то нельзя будет не признать в ней в высшей степени ценную

нравственную силу и средство воспитания. Тогда как проповедь и катехизис, обр-мы ко всем, могли разрешать только с-лучаи и по необходимости были рассчитаны на средний ум и чувство, исповедь сама по себе, без комментария к ней, произносила свои мысли относительно столь многочисленных индивидуальных случаев и таким образом приносила католическое учение ко всякому ко всякому складу чувств. Ни один могучий прием для продления и сохранения первых впечатлений воспитания в древности не применялся.

Мы сказали, что пригодные для воспитания средства должны быть подобными образом черпаться в области чувств, что руководить этим воспитанием должны люди, одаренные самой высокой интеллектуальной способностью. Мы можем утверждать, что это — первое условие всякой ассоциации, ибо не существует общества там, где желанной цели, где объединенных индивидов не ведут, не направляют, не увлекают и наиболее пылко стремящиеся к достигнутой цели. Это условие осуществилось в будущем, как оно осуществлялось на протяжении всего прошлого. Мы не хотим сказать, что и впредь должны будут сохраняться та же практика, те же формы, что и в прошлом. Но должны быть сохранены катехизис, культ, сказание, воспламенявшие некогда сердца верующих. Это должен остаться неизменным способ воспитания за советом и отпущения, известия

названием исповеди. Мы лишь полагаем, что в будущем придут примененные аналогичные, но еще более усовершенствованные средства, для того чтобы продолжать воспитание человека в течение всей его жизни.

К нам, несомненно, обратятся теперь с рядом вопросов. Прежде всего нам скажут: вы показали важное значение нравственного воспитания и необходимость придать ему действительный политический, социальный характер; вы определили границы, в которых оно должно действовать, и тот род способностей, которые оно должно использовать; теперь вам предстоит указать, какие обряды, идеи, чувства должны составлять его содержание. Эти обряды, идеи, чувства вытекают для нас, господа, из изложенных уже нами воззрений на будущее человечества и из тех соображений, которые мы еще представим вам в дальнейшем. Иными словами, доктрина, которую надлежит преподавать в будущем, согласно нашему мнению, есть то самое учение, с которым мы взяли уже сейчас ознакомить вас.

Нам, без сомнения, зададут еще следующий вопрос: в прошлые времена люди, обязанностью которых было направлять общество путем воспитания, обладали в качестве носителей священной власти могущественной санкцией на обучение. Будут ли располагать подобной санкцией люди, которым выпадет такая же миссия в будущем? Это приводит нас к рассмотрению чрезвычайно важной проблемы,

которую можно формулировать следующим образом. есть ли у человечества религиозная будущность? И в том случае, если бы на этот вопрос был дан утвердительный ответ, с чего ли представлять себе религию будущей как чисто индивидуальное чувство без установленной догмы и без внешнего культа? Или она должна быть выражением социальной мысли и в таком случае иметь доктринальный характер в общепринятом значении этого слова? Займет ли она место в политическом устройстве? Будет ли она призвана всецело владеть жизнью над ним? Каково будет ее отношение к предшествующему религиозному развитию человечества?

До разрешения этой проблемы невозможно установить отчетливо свои взгляды на те или иные средства, которые должны применяться к нравственному воспитанию; нам придется поэтому временно отложить ее.

Лекция одиннадцатая *

СПЕЦИАЛЬНОЕ, ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В предшествующих лекциях мы занимались общим воспитанием; предметом предстоящей будет специальное образование

* Прочитана 20 мая 1829 г.

образования, назначение которого — сделать индивидов пригодными для различных, отвечающих состоянию общества категорий, труда, которыми им надлежит распределять между собой.

Все явления, которым дают место существующие общества, могут быть выражены в отвлеченных терминах таким образом, чтобы относиться одинаково ко всем временам и ко всем местам. Без этой абстракции человеческий ум не мог бы подняться до идеи взаимной связи в области общественных явлений, как и следить за их прогрессом. А между тем, несмотря на тождественность этих явлений, которая служит верным отражением тождественности человечества на протяжении поколений и в различных точках земного шара, надо твердо помнить, что абстрагированное таким образом и перенесенное из одной эпохи в другую социальное явление содержит в себе новый элемент прогресса, которого не может дать непосредственное и изолированное наблюдение этого явления, а может открыть только общая концепция о назначении человечества.

Это соображение приобретает особую важность, когда какое-либо явление прошлого переносит в будущее. Прошлое на всем своем протяжении представляет только один общественный строй, и, собственно говоря, все революции были только более или менее глубокими видоизменениями его, тогда как будущее, разрывая цепь человеческих

судеб, выступает перед нами как существо новое строю.

Характеризуя в наших предшествующих лекциях великие различия, отделившие прошлое от будущего, мы особенно настаивали следующем: на протяжении всего прошлого общественный строй покоился в большей или меньшей степени на эксплуатации человека человеком: в настоящее время самый важный прогресс должен заключаться в том, чтобы положить конец этой эксплуатации, в какой бы форме ни представлять ее себе.

С первого взгляда могут не уловить существующей между уменьшением эксплуатации человека человеком и вопросом о питании, а между тем эта связь самая тесная. Господство физической силы — основное начало, смысл и цель всякой политической организации в прошлом — имело своим необходимым следствием установление каст, или классовых делений (classifications), которые должны были быть увековечены средствами передачи их по наследству. Чем дальше мы восходим к древности, тем глубже, отвлеченнее, тем менее гибки эти классовые деления, чем больше мы приближаемся к новым временам, тем они становятся шире и в особенности теряют свою резкость, но они все же существуют. Как бы ни были ослаблены теперь эти классовые деления, они еще, однако, представляют нечто поистине роковое для привилегированных и непривилегированных видов, ибо поприще, которое должны про-

те и другие, непреложно определяется соображениями, не имеющими ничего общего с их личными способностями. Когда для них наступает момент принять участие в активной жизни, с их склонностями, способностями, призванием не считаются, обращают внимание только на их происхождение, на касту, к которой они принадлежат, и стараются, худолу, хорошо ли, приспособить их к назначению, предопределяемому этими обстоятельствами. Но политический строй прошлого является в конечном счете только одним из выражений эксплуатации человека человеком. Если верно, что эта эксплуатация в настоящее время приходит к концу, если верно, что она должна совершенно исчезнуть в грядущем социальном строе, то ясно, что распределение специального образования должно происходить в будущем сообразно природным задаткам, сообразно призваниям различных индивидуальных натур, а не согласно происхождению.

Приверженцы критических идей, возможно, заявят, что благодаря философии XVIII века и последовавшей за ней политической революцией, результат, к которому мы лишьзываем, уже достигнут. Посмотрим, на чем могут основываться их притязания в этом отношении. Философия и революция прошлого столетия несомненно разрушили наиболее явные классовые деления и, освободив от этих пут низшие классы, провозгласили право

каждого индивида занимать в обществе место, на которое он может притязать в своих заслугах. Но что они сделали для чтобы это право стало реальным? Что сделали такого, что не было бы чисто от тельным? Они смели с пути препятствия и все ли еще препятствия сметены ими?

Конечно, нет: образование, без которого наиболее выраженные призвания обречены на бесплодие, не является теперь доступными для всех без различия. Образование составляет еще привилегию богатства, а само богатство есть привилегия, почти всегда несо размерная с заслугами тех, кто им обладает. Мало того, даже в отношении того небольшого числа людей, которые могут претендовать на блага образования, ничего не сделав, чтобы распределить его между ними соответственно их природным задаткам и призванию, не существует никакой власти, на которую была бы возложена обязанность оценивать и развивать индивидуальные склонности; в этом отношении все предоставлено тщеславию и честолюбию семьи или поверхностным интересам детей.

В конечном итоге, несмотря на политическое торжество философских идей XIX века образование все еще остается недоступным для большинства; что касается тельного меньшинства, для которого оно доступно, то в его среде образование распределяется случайно, без выбора и пререния.

В той новой ассоциации, которую люди призваны образовать, — ассоциации, где, согласно нашей характеристике, ни в малейшей степени не будет допускаться эксплуатация человека человеком, — учреждения должны будут позаботиться, с одной стороны, о том, чтобы образование было доступно всем, без различия происхождения или богатства, а с другой, — чтобы оно распределялось соответственно индивидуальным способностям и призваниям.

Это распределение индивидов по принципу образования вызовет, быть может, представление о насилии. В таком случае мы напомним сказанное нами вначале: в возмещаемых нами переменах надо всегда принимать в расчет элемент, от которого теперь слишком склонны абстрагироваться, а именно — нравственное воспитание, призванное превращать для каждого человека в идею долга, в предмет любви обязанности, которые налагаются на него подлинными руководителями, законными вождями общества.

Эта забота об оценке склонностей и природных задатков налагает на преподавательскую корпорацию будущего задачу, которую можно считать совершенно новой, ибо общественный строй прошлого не допускал ее по крайней мере в пределах, достаточно широких для того, чтобы она могла стать предметом общего предусмотрения. Распределение образования между индивидами соответственно их способностям могло бы уже само по себе

представлять весь социальный строй будущего, по крайней мере в его противопоставлении прошлому. В самом деле, именно этим каждый человек достигнет всей силы, благосостояния, на которые он может претендовать по своей природе; этим именно будет осуществлено то равенство, которого чувство уже так давно требует, хотя не было до сих пор в состоянии определить, в чем оно заключается.

Мы показали, какая общая перемена должна произойти в деле образования, перемена, которая должна навсегда обеспечить и освобождение большинства; теперь мы можем рассмотреть детально некоторые из ее социальных выгод.

Так как различные должности и профессии будут распределяться соответственно способностям, то они в результате будут выполняться с более высокой степенью совершенства. Уже по одному этому во всех отраслях человеческой деятельности прогресс будет осуществляться с гораздо большей быстротой, чем в какую бы то ни было эпоху прошлого разделение труда с полным основанием считать одной из самых могучих причин успехов цивилизации, но ясно, что все свои плоды принесет только тогда, когда в основу будут положены различия в способностях трудящихся.

Регулирование, возмещаемое нами будущим, дает новую, очень большую гарантию нравственного порядка. Чувство

одинаково показывают нам, что в прошлом источником почти всех неурядиц были неудавшиеся призвания, насилия над склонностями, навязанные профессии и проистекающие отсюда неудовольствия и злобные страсти. Но этот источник должен неизбежно иссякнуть благодаря регулированию, о котором мы говорим. Разумеется, мы не хотим утверждать, что никогда не будут иметь места ошибки, случайности, даже пристрастие в этом новом распределении образования и социальных выгод. Мы отводим значительное место человеческому несовершенству; быть может, обществам никогда не дано достигнуть предела, который они представляют себе как конечную цель своего прогресса, но уже по одному тому, что они шествуют к этому пределу, используя все знания, все силы, которыми могут располагать, что они делают успехи, мы вправе сказать, что цель, истинный предел в меру сил человеческих достигнуты. В таком случае ошибки, случайности, несправедливости являются только исключениями; они составляют лишь все более ничтожную долю, лишь одну из наименее поражающих ступей всей совокупности социальных явлений.

Сейчас займемся непосредственно специальным образованием, предметами, которые оно должно охватывать, и делениями, которые оно допускает.

Эта часть образования, как мы сказали, имеет своим назначением приспособить

отдельных индивидов для различных категорий труда, требуемого состоянием общества. Следовательно, уже по самому определению очевидно, что система специального образования можно представить себе только как результат социального предвидения, как предмет политической функции. Мы не намерены вступать в прямую полемику с теми, которые хотели бы предоставить отныне дело специального образования неограниченной индивидуальной конкуренции и которые видят в нем только промысел, долженствующий, подобно другим промыслам, стать ареной борьбы, войны и, следовательно, обмана и шарлатанства. Для полного опровержения этого взгляда достаточно будет того, что нам придется сказать об условиях, необходимых для хорошей системы специального образования.

Чем больше мы углубляемся в прошлое, тем более ограниченными и неполными мы находим средства специального образования. Пока люди были разделены по происхождению на касты, сословия, классовые группы, эта сторона образования сводилась к простой, традиции; она передавалась по наследству от отца к сыну в пределах каждой семьи, посвятившей себя какой-нибудь профессии. По мере приближения к новым временам мы видим, что общества все больше стремятся сделать из специального образования предмет политических преимуществ, социального предвидения. Сначала это предвидение

охватывает лишь небольшое число профессий, но мало-помалу мы видим, как сфера его расширяется. Достаточно проследить за рядом уже достигнутых в этой области успехов, чтобы убедиться, что специальное образование, поскольку оно находится в ведении государственной власти, должно в конце концов охватить все категории труда, все функции, которые допускаются данным состоянием общества.

Социальное предвидение в этом отношении проявляется ясно в средние века в учреждениях, задуманных и осуществленных людьми, отправлявшими тогда эту высокую функцию предвидения. Мы остановимся внимательно на этой эпохе, ибо, несмотря на улучшения, проведенные с тех пор в деле специального образования, оно не дало места ни одной новой общей концепции, по крайней мере ни одной, которая допускала бы широкое политическое применение. Во многих, и притом в самых важных, отношениях старая концепция продолжает еще преобладать. Если нам удастся оправдать ее целесообразность для того времени, когда она зародилась, мы тем самым определим ценность, которую она может представлять сейчас, и отыщем без труда изменения и преобразования, каким она должна подвергнуться.

Первые заведения, дававшие специальное образование в средние века, имели своей единственной целью формирование людей для духовенства белого или черного, согласно

установившемуся тогда различию в заведениях, которые все зародились в монастырях и при кафедральных соборах и на прочее. Основание этих ведет свое начало лишь с VIII—IX веков, преподавали что составляло тогдашний запас человеческих знаний: преподавание охватывало догматическое богословие и так называемые семь свободных искусств. Благодаря этим школам увеличился запас знаний, труды древних отцов церкви, в которых было наукообразно разработано христианское учение, были возобновлены с того пункта, на котором их прервало великое дело политического переустройства, занимавшее в течение нескольких столетий самых способных людей. Энциклопедические рамки были в то время расширены, во ввели рациональное богословие, гражданское и церковное право, медицину. Круг преподавания стал шире пропорционально расширению науки, и сама преподавательская корпорация должна была принять новую форму: новую организацию: переворот, начавшийся в этом отношении в XII столетии, завершившись в XIII веке учреждением университетов. Тогда именно были окончательно установлены самое содержание и метод преподавания с тех пор в них вносились лишь незначительные улучшения.

В этой системе специального образования единственными повседневными прикладными отраслями, имевшимися в виду, были труд моралистов, легистов и медиков. Все индустриальные профессии и даже военная профессия.

в то время самая важная среди светского мира, стояли вне политически организованного обучения. Было бы несправедливо утверждать средневековую ученую корпорацию в том, что она пренебрегала этими профессиями. Прежде всего, она была совершенно естественно, что она не старалась усовершенствовать военную профессию, ибо главной ее миссией было бороться с положением вещей, делавшим эту профессию необходимой, уничтожить его. Что касается индустриальных профессий, то для признания их важности еще не наступило время; к тому же научные теории тогда еще слишком мало подвинулись вперед, а технические приемы промышленности были слишком грубы для того, чтобы между теми и другими могло произойти сближение или, по крайней мере, для того, чтобы возможность такого сближения могла быть осознана*.

Таким образом, в состав специального образования входили в эту эпоху все профессии, какие только оно могло охватить.

Здесь нам приходится сделать несколько замечаний относительно преподавания латинского языка.

* Нам, впрочем, придется показать в дальнейшем, что это пренебрежение к промышленным интересам и физическим наукам находилось в зависимости от глубокой причины и было лишь логическим следствием всей христианской догмы, которая не могла и не должна была охватывать развитие матерьяльной деятельности человека, ибо в ту эпоху нужно было прежде всего уничтожить форму, в которой эта деятельность заключалась: уничтожить войну.

ского языка, занимавшего столь большую
сто и прошлом и составляющего ныне
стольких споров, которые могут быть
бесконечно долго, если не оценить над
щим образом смысл и происхождение
преподавания. В средние века народы Ев
были бесконечно раздроблены в све
области. Напротив, в области духовной
были тесно связаны между собой и состо
ли самую сильную ассоциацию, которая
была когда-либо до тех пор задумана и
ществлена, — ассоциацию, обеспечивавшую
бесспорное превосходство над всеми наро
древности. Обширное христианское соо
ство было представлено и находило свое
площение в корпорации, располагавшей вы
знаниями того времени и развивавшей в
тичную деятельность во всех пунктах Е
пы, по которым она была рассеяна. Един
этой корпорации, являвшееся результа
единства в любви, учении и деятельно
было связано, в числе прочих внешних
вий своего существования, с единством яз
Каким образом латынь стала языком бы
ной корпорации средних веков? Было бы
полезно заниматься здесь этим вопросом,
нас достаточно признать в качестве несом
ного факта, что язык этот стал, если мо
так выразиться, национальным наречием
толического духовенства; что он посте
связывал и сближал его членов, рассел
по всему лицу христианского мира; что б
даря ему в особенности была осуществ

великая ассоциация интеллектуальных трудов
средневековья. Так как специальным образо
ванием охватывались в то время только уче
ные профессии, то ясно, что оно должно было
иметь своей основой обучение латыни, кото
рая являлась общим языком для всех этих
профессий. Но мы не видим, чтобы латынь
сама по себе считалась тогда наукой, от
расью знания, чтобы она составляла цель
особого преподавания.

Когда в XVI столетии в Европе началась
атака на духовное единство, то нападение
подверглось и единство языка. Иначе и не
могло быть: единство языка и единство уче
ния представляли лишь две различные сто
роны одного и того же явления, и инстинкт
первых деятелей реформации сразу же под
сказал им это обстоятельство. Когда единство
учения было нарушено, то вскоре последо
вало и нарушение единства языка: мало-по
малу латинским языком перестали пользо
ваться, и за незначительными исключениями
научные труды давно уже создаются и хра
нятся на различных национальных языках
Европы.

Но так как тесная связь, существовавшая
между обучением латинскому языку и като
лическим единством, установилась инстинк
тивно, а не в силу размышления; так как
у духовенства никогда не было ясного созна
ния этой связи, то с реформаторами про
изошло то же, когда они выступили против
единства. Несмотря на успехи реформации,

господство латыни в школах не было нарушено. Латинскому языку продолжали обучать не только тех, кто предназначал себя для старых ученых профессий, для которых этот язык становился все менее и менее полезен, так как общеслуженные группы, претендовавшие на литературное образование, становились с каждым днем все более многочисленными, то его стали преподавать также художникам, военным, промышленникам, — наконец всем, кто в состоянии был нести связанные с обучением расходы. Следует отметить то обстоятельство, что как раз тогда, когда употребление латинского языка перестало быть полезным и утратило свой смысл, стали в тысячу ладов оправдывать его преподавание. Его рекомендовали как коренной язык, рвали хваливали его богатство, благозвучие, совершенство произведений его поэтов, ораторов и историков. Все эти аргументы, которыми хотели оправдать затрату десяти лет на изучение мертвого языка, не стоят того, чтобы мы останавливались на их опровержении.

Из сказанного нами следует, что вопрос целесообразности, поскольку речь идет о преподавании латыни, может быть решен в двух словах. Пока латынь была в Европе общим языком моралистов и ученых, словом — духовенства, последнее должно было беспорочно изучать латынь, т. е. свой язык, так как иначе оно рисковало, что члены его перестанут понимать друг друга. Но в настоящее время, когда научные трактаты, написанные по-латински,

устарели, когда моралисты и ученые пользуются новыми национальными языками, в особенности когда образованные люди не составляют больше одной корпорации, изучение латыни не только потеряло все свое значение, но, за немногими исключениями, ограничивающимися чисто филологическими трудами, оно стало более чем бесполезно, оно стало прямо вредным вследствие требующей им значительной затраты времени. Наконец, оно давно уже поддерживается только обязательством, налагаемым в этом отношении университетскими уставами².

Это отступление о преподавании латыни должно привести нас к заключению, что специальное образование идет по ложному пути. С другой стороны, оно дает нам также новое доказательство сказанного нами выше, — что со средних веков не была создана ни одна общая концепция, касающаяся образования. Мы далеки, разумеется, от утверждения, что в этом направлении не произошло никакого улучшения; мы признаем, что преподавание ряда наук, которые читались в средние века, поставлено теперь на уровень успехов, достигнутых по пути их усовершенствования.

Затем, для изящных искусств и физико-математических наук основаны специальные школы, косвенным результатом чего явилось промышленное обучение. В этом последнем отношении были даже сделаны недавно некоторые попытки во Франции и в Англии, но

так как они не были связаны ни с каким воззрением на общественные нужды; характер работ, требуемых этими науками, то они остались почти бесплодными, и в конечном итоге образование, неправильно поставленное в некоторых отношениях, оказалось несовершенным во всех других.

В настоящее время мы можем предложить себе совершенную и правильную систему специального образования только при соблюдении следующих отвлеченных условий: 1) обучение будет охватывать все человеческие знания в наиболее современном их состоянии; 2) преподавательская корпорация будет низована таким образом, чтобы все достижения науки легко переходили из области теории в область практики, из рук ученых, совершенствующих науку, в руки ученых, подающих ее, а затем от последних — к студентам, непосредственно применяющим эти достижения на практике; 3) специальное образование будет охватывать все профессиональные потребности в которых вызывается общественной потребностями; 4) наконец, обучение будет распределено таким образом, что каждая ступень его была одновременно средством предшествующей ступени и продвижением к последующей; тогда образование, такое в целом, составит для каждого индивидуума правильный и однородный ряд учебной работы, последняя ступень которого приведет непосредственно к профессии, к социальной функции.

Ни одно из этих условий не выполняется в настоящее время.

1) Специальное образование не охватывает всех знаний на том ступени совершенства, которого они достигли; напротив, некоторые отрасли знания, входящие в его состав, бесполезны либо отстали. Беспольны в пределах сделанных нами оговорок древние языки и древняя словесность, рассматриваемые как основа преподавания. Отстали: богословие, философия, история и законодательство в его метафизической части. В этих отношениях обучение не только несовершенно; оно имеет серьезный пробел, так как каждая из отраслей бесполезных и отсталых познаний, которые оно распространяет, может быть с успехом заменена.

2. Преподавательская корпорация не организована таким образом, чтобы овладевать научными завоеваниями по мере того, как они совершаются; это достаточно подтверждается сказанным выше. Для того чтобы это условие выполнялось, она должна была бы находиться в прямой связи с корпорациями, на которых возложено совершенствование теорий. Между тем в настоящее время таких корпораций не существует; что же касается тех, которые можно было бы считать облеченными этой задачей, то они не находятся в прямой связи с преподавательской корпорацией.

3. Специальное образование не охватывает всех профессий, которые оно могло бы охватывать. Мы не станем говорить об изысканных

искусствах, для которых существует несколько специальных школ, хотя истинный характер изящных искусств до сих пор еще не ясен, и образование в этом отношении остается в высшей степени несовершенным и полным недостатков. Мы будем говорить лишь об индустриальных профессиях, которые почти все продолжают оставаться вне государственного обучения. А между тем при тех успехах, которых достигли, с одной стороны, научные теории, с другой,— промышленные приемы можно не только представить себе в настоящее время сближение между ними, но должно быть также ясно, что промышленность в целом имеет тенденцию стать прямым приложением научных теорий. Однако для установления этой связи между наукой и промышленностью до сих пор ничего не сделано, по крайней мере, ничего достаточно важного, чтобы на нем стоило остановиться.

4. Наконец, обучение на различных его ступенях не представляет никакой последовательности, никакой взаимной связи; нет и начального обучения, по крайней мере в надлежащем значении этого слова. Первоначальная его ступень, отличающаяся сейчас некоторой регулярностью,— это обучение в колледжах. Но это обучение, главным содержанием которого являются в настоящее время древние языки и словесность, представляет собой, согласно сказанному нами, лишь начальное обучение средневековья. Оно не только вводит ни в одну из прикладных областей

требуемых состоянием общества: оно подготавливает учеников к школам высшей ступени разве только в смысле предоставления им права. Так как приобретаемые здесь познания почти бесполезны для этой второй ступени, то каждому лицу, которое желает достигнуть ее, приходится наспех вновь приобретать специальное образование, причем оно предоставлен в этом деле собственному вдохновению, своим личным усилиям. Что касается школ высшей ступени, очевидно слишком малочисленных, чтобы соответствовать даже самым главным подразделениям различных работ в обществе, то они совершенно недостаточны для заполнения пробела, всегда отделяющего теорию от практики. Поэтому лицам, прошедшим обучение в этих школах, приходится заполнять потом этот пробел собственными силами, чего они почти никогда не в состоянии сделать, а если и делают, то лишь дорого заплатив за приобретаемый ими опыт.

Нас спросят теперь, что же должна представлять собой, по нашему мнению, система специального образования, которую надлежит установить, каковы должны быть ее распорядок, ее распределение. Чтобы исчерпывающим образом ответить на этот вопрос, нам пришлось бы пуститься в подробности, в разъясняющие выходящие за рамки, которые мы отметили; эти подробности были бы во многих отношениях предвосхищены будущим. А так как, кроме того,

сделанных нами: критических замечаний достаточно пока, чтобы дать общее представление об идеях сен-симоновского учения, касающихся учреждения специального образования, то мы прибавим лишь несколько слов.

Специальное образование имеет своей задачей сделать индивидов способными выполнять функции, к которым их влечет собственное призвание и призывают нужды данного общественного состояния. Если хотеть знать, чему оно будет обучать и каковы будут его главные подразделения, то ясно, что прежде всего следует установить, каких работ, каких функций требует состояние общества; остальное представляется лишь комбинацией производного характера. Мы сказали, что все проявления человеческого существования могут быть подведены под эти три главные категории фактов: изящные искусства, науки и промышленность. Это основное деление дает нам также общее указание относительно цели обучения: нужно создавать художников, ученых, промышленников. С этим первым делением связаны бесчисленные подразделения, но так как оно поконтрастировано с реальностью, которая доступна оценке каждого, то мы можем на нем основываться.

Не следует забывать, что независимо от специального образования, к которому призваны художники, промышленники и ученые, чтобы подготовиться к возложенным на них особым работам, все должны получать из

вариантельно общее образование, являющееся основой: исходным пунктом всех позднейших назначений. Мы имеем здесь в виду нравственное воспитание, о котором речь шла раньше и которое для нарождающегося поколения представляется своего рода подготовкой ко всем индивидуальным назначениям. В самом деле, при таком порядке в детском возрасте совершается первое посвящение в изящные искусства, науки и промышленность в тех пределах, в каких эти различные категории знания представляются необходимым введением для отправления всех функций, для всех профессии.

После завершения этого начального образования, которое можно в идее более или менее расширить, сузить или подразделить, должен происходить отбор, о котором мы говорили; его цель — распределить индивидов соответственно обнаруженным им различным природным задаткам и призваниям. Соответственно этому первому отбору для учеников будут открыты три крупных школы: изящных искусств, наук, промышленности. Как бы многочисленны ни были особые подразделения, которые могут быть введены в каждой из этих школ, надо представить себе необходимость известного образования, общего для всех художников, как таковых, точно так же, как для всех и для всех промышленников, каковы были подразделения, допускаемые и в искусствах, и наукой, и промышленностью. Лишь по окончании этой второй

подготовки молодые люди, отныне окончательно утвердившиеся в своем будущем по прише, будут распределяться по различным прикладным школам, соответствующим всем подразделениям, которым подлежат три крупные категории работ, отмеченные здесь в общей форме. Прикладные школы должны будут довести своих воспитанников до того момента, когда общество, признав их достаточно подготовленными, доверит на этом основании каждому из них функцию, к выполнению которой он станет пригодным.

Мы пользовались только что выражением, которое, без сомнения, будет неправильно понято: термином *художники*. Можно было, однако, видеть, что слово это имеет для нас гораздо более широкий смысл, чем тот, какой ему обычно придают; мы заменим его потом другим, которого не употребляем сейчас только потому, что оно, несомненно, было бы понято еще более неправильно. Это соображение заставляет нас пользоваться временно словом *художники* для обозначения людей, в высшей степени одаренных симпатической способностью, — проявляется ли она в отношении всего человечества, или замыкается в круг самых узких социальных привязанностей, — той способностью, которой, согласно высказанному нами убеждению, должна принадлежать руководящая роль в деле нравственного воспитания. Таким образом, мы приходим снова к необходимости заняться религиозной проблемой, границы которой

были установлены в предшествующей лекции. Однако прежде чем приступить к ней, нам необходимо бросить беглый взгляд на часть социального строя, стойкую в неразрывно! связи с предметом, о котором только что шла речь: мы разумеем законодательство.

Л е к ц и я двенадцатая

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Последние наши лекции были посвящены тому, чтобы показать вам, господа, при помощи каких средств социальное предусмотрение может воздействовать на новые поколения, для того чтобы направить каждого индивида к той функции, к которой он предназначен и силу своих способностей. Мы сказали вам, что воспитание охватывает даже более широкое поле, нежели то, на которое мы обратили наше внимание; что оно сопровождает человека от колыбели до края могилы, неустанно развивая семена, заложенные в сердце и уме ребенка и юноши. Остановившись особо на этих двух первых периодах жизни человека, предназначенных для его подготовки, для его посвящения в активную жизнь, мы указали на пробел, который делает наше изложение неполным и который нам придется скоро устранить, чтобы вслед за тем бросить снова взгляд на обширный вопрос воспи

танин. В самом деле по характеру разъяснений, которых от нас требовали, и по спорам, поднятым этими вопросами, вам действительно нетрудно было заметить, что основа будущего нравственного воспитания должны быть установлены безотлагательно. Тогда нам не смогут больше противопоставлять то, что мы не боимся назвать предрассудками, в том смысле, что взгляды, которыми нас часто стараются побивать, почерпнуты из области фактов, идей и чувств, чуждых обществу строю, возвешаемому нами для души.

Здесь, господа, необходимо одно замечание, которое, как мы надеемся, сможет сделать более полезными прения, происходящие в конце каждого из наших собраний. Если, как мы считаем, учение Сен-Симона есть социальное учение будущего, если оно должно оказать на все человечество обновляющее воздействие, подобное тому, какое было оказано христианством на некоторые народы, то вам должно стать понятно не только то, что мы не можем тратить своих собраний на детальное обсуждение учений прошлого, под каким бы названием они ни выступали, но и что нас невозможно с успехом атаковать, не став на почву нашего же мировоззрения. Одно сравнение пояснит эту мысль. Если бы какой-нибудь греческий или римский философ, например, император Юлиан (ни один из наших противников не будет, разумеется, уязвлен этой параллелью), если бы, говорим мы,

Юлиан, споря с первыми христианами о братстве между людьми, проповедуемом Евангелием, черпал свои аргументы в своем сознании, просвещенном греческой философией, если бы он оспаривал апостолов при помощи различия двух натур, — природы свободной природы рабской, — если бы он третировал учение Христа как утопию, как мечту, на том основании, что оно стремится разрушить и заменить собой чувство, которое до тех пор было самой прочной опорой социального порядка, так как оно освящало полезность, необходимость и даже справедливость рабства, то польза от такого спора по необходимости была бы невелика. Он мог бы принять весьма, оживленный характер, мог бы возбудить ненависть и гнев — не у христиан, питавших твердое убеждение, что они приносят человечеству нечто новое, а у Юлиана, сознание которого возмущалось против противников того нравственного порядка, одним из блестящих украшений которого он являлся; об этом свидетельствует история. Но судьбам человечества он принес бы пользу только тем, что демонстрировал бы веру мучеников. В настоящее время — и за это мы должны быть благодарны христианству — человек должен просвещаться иным путем.

Лишь допустив предварительно, в качестве гипотез, главные догматы новой философии, излагаемые перед вами, лишь рассмотрев последовательно, отвечают ли они различным проблемам социального порядка подобно

тому, как учения прошлого отвечали запросам тех времен, когда они были выдвинуты, вы можете ответить себе определенно на первый вопрос: является ли сен-симоновское общественное устройство чем-то законченным или нет? Затем, вернувшись к чувствам, привязывающим вас ко всякому другому учению, и сравнив их с чувствами, которые внушит вам доктрина нашего учителя, вы либо упорно сохраните догматы, завещанные вам прошлым, либо присоединитесь к нам, чтобы возжелать и ускорить осуществление будущего, возвещенного Сен-Симоном.

Перейдем теперь к предмету, который должен занимать в настоящем собрании.

Мы только что сказали вам, что нам предстоит скоро изложить перед вами основы моральной санкции, без которой не может обойтись ни одно действительно благоустроенное общество, и что этим будет дан ответ на ряд сомнений, которые могли возникнуть в вашем сознании тогда ли, когда мы говорили о структуре собственности и об ее распределении по праву способностей, вместо существующей ныне передачи ее по праву рождения, или тогда, когда мы указывали вам, каким образом социальное предвидение prepares нарождающееся поколение к тому, чтобы оно непосредственно сменило ныне действующее поколение.

Однако прежде чем приступить к этой основной проблеме, проливающей новый свет на все те вопросы, в которых заинтересовано

человечество, прежде чем подойти к самому сердцу, отыскать жизненное начало изучаемого нами коллективного существа, нам предстоит еще закончить в одном важном пункте ту, так сказать, анатомическую работу, которую мы предприняли и которую хотели бы скорее привести к концу. Да, господа, пока мы не уловили симпатической цепи, связывающей всякого человека с тем, что существует вне его, делающей из него необходимую функцию разностороннего феномена, часть коего он составляет, до тех пор мы имеем перед собой лишь безжизненное существо, труп, факт, лишенный нравственного смысла. Но так как мы вынуждены стать временно на бесплодную почву, на которой в некотором роде остановились сейчас люди, к которым мы желаем обратиться, то нам приходится рассмотреть эту косную материю, культивируемую ими, хотя бы только для того, чтобы доказать ее бесплодие.

Законодательство, специальный предмет изучения для некоторых из вас, господа, не было еще до сих пор непосредственным предметом ни одной из наших лекций. В том пункте, до которого мы дошли, было бы трудно обойти его молчанием, хотя мы предпочли бы коснуться этой стороны общественного строя только как вывода из нравственного кодекса, защита которого ему вверена. В самом деле, легко понять, что законодательство всегда определяется и в своем содержании и даже в своих формах симпатиче-

ским либо антипатическим расположением общества в пользу или против известного рода фактов, либо способом выражения (соответственно ступени цивилизации) этой антипатии и симпатии, т. е. наказаниями, которые оно налагает, или вознаграждениями которые оно присуждает. Однако самая поразительная сторона законодательства та, что оно тесно связано с воспитанием, дополнением которого оно является; это и заставляет нас изложить, по крайней мере вкратце основные идеи нашей школы по данному предмету. При этом мы оставляем за собою право — как и относительно всех вопросов, трактованных в предшествующих лекциях, — вернуться к этой теме, когда мы рассмотрим идеи, в которых само законодательство черпает санкцию, необходимую ему для того, чтобы оказывать позитивное влияние, которое оно должно иметь, — влияние, остающееся чисто отрицательным, пока у него нет этой санкции.

Остановиться на этом предмете нас побуждают еще, сверх того, некоторые вопросы, с которыми к нам обратились.

Не дожидаясь нашего объяснения природы чувств в будущем, некоторые пожелали узнать полностью наше мнение о пресечении известных поступков, которые, как мы заранее заявили, должны будут когда-нибудь рассматриваться как безнравственные, вредные для общественного прогресса, осуждаемые обществом. Находились и такие, которые пошли

еще дальше; они заранее определили наше мнение о более или менее суровых формах, которые примет эта репрессия. Забыв, что мы возвестили конец царства насилия, они чуть было не предположили у нас скрытой задней мысли — сохранить смертную казнь или, по крайней мере, пытку и штык жандарма.

Подобные ошибки неудивительны, когда люди имеют дело с совершенно новой социальной системой, и мы рады, что их совершают, ибо они каждый раз предоставляют нам случай дать почувствовать огромное расстояние, отделяющее сферу чувств, идей и поступков, в которой мы пребываем, от той, к которой мечутся даже воодушевленные наилучшими намерениями люди, силящиеся исправить пороки прошлого, исцелить недуги старого человека, тогда как требуется дать ему новую жизнь, создать и вселить воодушевление в нового человека.

Теперь рассмотрим бегло цель и природу законодательства, факты, которые оно хватывает, и средства, которыми оно пользуется, наконец — вопрос о том, какие способности должны служить основой для организации магистратуры.

Законодательство имеет целью поддержание нравственного порядка и обучение ему особой форме.

Оно охватывает исключительные общественные факты, т. е. факты ненормальные, регрессивные или отсталые, другими словами, нравственные или безнравственные дей-

ствия, которые больше всего вызывают похвалу или порицание.

Оно делится, следовательно, на две отличные друг от друга части: законодательства отрицательное и положительное, или наказуемое и вознаграждающее. Это подразделение придает ему двойственный характер, обусловленный страхом и надеждой: в одном своем облике оно выступает как препятствие пороку, в другом — как поощрение, как средство, вызывающее к жизни добродетель.

Остановившись на мгновение на этом положении, представленном нами в трех различных формах. Мы произнесли в конце фразы два слова: порок и добродетель, дававшие во все времена повод для слишком многих криво толков; это и побуждает нас поспешить твердо установить значение, которое мы им придаем.

Каждый человек может предпринимать какое-нибудь действие, либо рассматривая себя как центр, либо становясь на периферии области, в которой должна происходить его деятельность, иначе говоря, — он может подчинить общий интерес, каков бы он ни был, своему частному интересу, или наоборот. Первый случай дает место эгоизму, второй — преданности*; один в узком смысле слова соответствует интересам, другой — обязан-

* Точнее было бы сказать — самоотречению, самопожертвованию, чем преданности. Это изменение терминов заключало бы решение величайшей нравственной проблемы, какую когда-либо ставило себе

человечество, но оно потребовало бы подробных разъяснений, которые будут даны лишь во втором томе, когда мы приступим к вопросу о религиозной догме удушья. В настоящий момент мы ограничимся замечанием, что во все прошлые времена со словом преданность (devouement, devotion) всегда соединялась идея самоотречения, самопожертвования, тогда как в будущем преданность должна состоять в приведении в гармонию общего, интереса и интереса частного, так чтобы одинаково исчезли и самоотречение и эгоизм, такой порядок возможен только в обществе, где каждый, каково бы ни было его происхождение, занимает место сообразно своим способностям и вознаграждается по своим делам.

окружающего их, т. е. у тех, которые становятся одновременно в центре и на периферии

Именно потому, что философы XVIII века не рассматривали человека с этих двух сторон, они воскрешали в различных формах материалистический эгоизм Эпикура или спиритуалистический эгоизм стоиков но, во всяком случае, эгоизм. Эта путаница столь же очевидна в *правильно понятом интересе* Гельвеция, как в *обязанностях по отношению к себе самим* метафизиков-спиритуалистов: первый сводит человека к пассивной массе, движимой непосредственными и чисто личными вожделениями, вторые силятся возвысить его в собственных глазах, произнося священное слово *долг*. Но этот долг налагают не общие потребности человечества; не глас божий, не глас народа стараются уловить и понять метафизики, они прислушиваются к своему собственному голосу, они ищут открытий у своего индивидуального сознания.

И вот — спешим отметить этот факт — все эти философы, выстроившиеся под двумя великими знаменами разного цвета, разделенные затем на группы неуловимых оттенков, третирующие друг друга как врагов, когда они находятся на философском поприще, любезно, как видите, подают друг другу руки, лишь только вступают на поприще морали и политики. Атеист Гольбах, деисты Вольтер и Руссо,— словом, все философские секты, примкнувшие к протестантизму или

скажем лучше, к галлицизму, хором проповедуют одно и то же социальное учение.

Такое внушительное единодушие в политических вопросах всех защитников индивидуализма должно было послужить для них достаточным доказательством того, что их общественные верования не являются логическими выводами из их так называемых философских учений, и по одному тому заставить их усомниться в ценности этих верований, и если бы догматы, принятые в этих различных сектах, допускали восхождение к источнику более высокому, чем индивидуальное сознание, то наши философы и публицисты без труда признали бы, что они ученики одного и того же учителя.

Это отступление для нас полезно: прежде чем покончить с тем, что нам следует сказать о словах *порок*, *добродетель*, мы хотели показать на одном знакомом нам всем примере во избежание ошибок, сходных с теми, которые мы сейчас указали, что значение этих слов недвусмысленно определяется не тогда, когда тот или другой индивид хочет установить их ценность, советуясь только со своей совестью (завется ли он Локк, Рид, Кондильяк или Кант), а тогда, когда это откровение индивидуальной совести подтверждается общими потребностями человечества сообразно состоянию его цивилизации,— потребностями, которые на первых порах выражаются массами так смутно, что их различают только люди, испытывающие

к этим последним самую сильную, самую великодушную симпатию.

Ни один кодекс нравственности (ибо нам претит называть этим именем мистические системы эгоизма в критические эпохи, и все человечество в достаточной мере оправдывает наше отвращение),— ни один кодекс нравственности не рассматривал индивида как центр, т. е. не проповедовал эгоизма. Все учреждения органических эпох, напротив, устроены таким образом, чтобы приводить гражданина к периферии, если бы он был отвлечен от нее частными обстоятельствами; они постоянно имели целью напоминать ему об его обязанностях, побуждая его выполнять их или же внушая ему страх перед их невыполнением.

Здесь, господа, нет надобности обращать ваше внимание на то, что мы не собираемся открывать сейчас перед вами систематический курс морали и что все сказанное нами до сих пор стоит вне зависимости от характера социальных обязанностей, налагаемых на человека в ту или в другую из различных эпох его развития. Важно, однако, напомнить вам по этому поводу некоторые общие идеи нашей школы относительно развития человечества,— идеи, которые в настоящий момент находят себе применение.

При всяком социальном обновлении более развитая человеческая чувствительность устраняет из карающего или вознаграждающего законодательства известные поступки,

переставшие быть вредными или полезными. Но в то же время она вводит в него новые поступки, принимающие тогда этот характер, т.е. становящиеся предметом его отвращения или преклонения.

Так, при господстве христианства добродетель потеряла не только в пределах церкви тот свирепый характер насилия и коварства, какой она имела в древности; даже в самом войне она приняла форму, удивительно смягченную любовью, и блестящие нравы рыцарства отвергли бы как жестоких и неотесанных людей всех героев Гомера, перед которыми Греция и Рим преклонялись как перед благороднейшими человеческими типами.

Таким образом, в великие эпохи возрождения совершается трансформация нравственной системы, как и системы политической; старые слова приобретают новый смысл, появляются новые слова для обозначения столь же новых впечатлений. Это предупреждение кажется нам необходимым, во избежание возражений, которые могли бы возникнуть вследствие того, что под выражения *порок* и *добродетель* подведут поступки, которые именуются так в настоящее время, но которые когда-нибудь будут именоваться иначе. Достаточно сказать, что мы хотим, с одной стороны, термином *добродетель* обозначить все факты, кажущиеся нам благоприятствующими движению общества к цели, которую оно себе поставило; с другой, термином *порок* — факты, кажущиеся, напротив, препятствием для его

развития. Так, например, превратить смерть в шутку, идти на нее смеясь, бесстрашно, без самопожертвования, подвергать себя опасности единственно ради того, чтобы показать свою храбрость,— добродетель по преимуществу древних времен,— все это будет, пожалуй, считаться безумной смехотворной и даже опасной бравадой в такую эпоху, когда не будет больше надобности, чтобы человек был всегда готов к борьбе, к войне. Точно так же люди всегда будут, конечно, восхищаться силой, например силой Уатта, как восхищались некогда силой Ахилла, но это не будет в действительности та же самая сила, ибо она будет проявляться в целях, совершенно отличных от той, какую она ставила себе в былые времена. Наконец, несомненно, всегда будут преследовать позором и бесчестьем трусость, но это не будет трусость прошлых времен: празднующие — вот трусы будущего. Расширять научное или промышленное достояние человека, совершенствовать его чувства — вот, господа, сила и храбрость, вот добродетель будущего, вот какими средствами можно будет когда-нибудь заслужить личную знатность и славу.

Законодательство, как мы сказали, делится на законодательство наказующее и законодательство вознаграждающее: двоякая санкция, заключающаяся в институте наказаний и вознаграждений, соответствует делению на пороки и добродетели, которое устанавливается в отношении человеческих поступков в

зависимости от их нравственного характера. Прибавим теперь, что судейская корпорация является тогда органом, при посредстве которого общество выражает порицание или похвалу.

Хотя обе эти части законодательства должны как будто трактоваться одновременно, мы постараемся по возможности ограничить наше рассмотрение одной из них, и вы без труда поймете, из каких соображений мы это делаем. Несмотря на усилия Беккариа и Бентама, решившихся, правда, безуспешно, подойти прямо к вопросу с двоякой точки зрения, все труды легистов и публицистов имели в действительности своим предметом только наказующее законодательство. И это было вполне естественно, так как единственное учреждение, обладавшее в течение нескольких столетий моральным авторитетом огромной силы, теряло с каждым днем свое влияние, не будучи в то же время заменено аналогичным учреждением, которое могло бы придать сколько-нибудь вескую санкцию приговорам человеческого правосудия, в особенности же провозглашать реабилитацию виновного и присуждать венки дарованию.

Почет, в котором человечество отказывало церкви, был вскоре оказан жалким божествам доктрины индивидуализма, двум созданиям разума — совести и общественному мнению. Все законодательство о вознаграждениях свелось тогда к одному догмату, который метафизики выражают следующим образом:

«добродетельный человек находит награду в своей совести», тогда как публицисты, настроенные критически, заявляют: «общественное мнение вознаграждает добродетельного человека». Это приводит, как мы сказали выше, к одному и тому же политическому результату: противодействию всякой попытке организации направляющего центра нравственных интересов человечества, к ненависти по отношению к власти.

Прежде чем уйти в рассмотрение наказующего законодательства — единственного средства для поддержания порядка, какое сумела придумать критическая политика, именно потому, что она до последней степени лишена нравственного содержания, — остановимся, господа, на мгновение на том огромном пробеле, который представляет общественное устройство наших дней и который приходится так наруку ретроgrадам, мечтающим о возврате к учреждениям прошлого. Мы вернемся еще к этому вопросу после того, как изложим свои воззрения на нравственную будущность человечества, однако, беглое описание общественной деградации в этом отношении послужит уже теперь подготовкой к тому, что нам придется сказать вам позднее.

Заметьте, господа, что пробел, о котором мы говорим, это вдовство (*veuvage*) общества, лишенного нравственной силы, которая поддерживает слабого, удваивает силу дарования, которая одна в состоянии примирить раскаивающегося преступника с оскорб-

ленным им обществом, — заметьте, говорим

что этот пробел сказывается не только в отсутствии той части законодательства, которую мы назвали вознаграждающей. Доказательством тому служит общепринятое различие между правосудием и справедливостью; отвергнув нравственный порядок и лишившись его поддержки, законный порядок оказался бессильным отразить оскорбление, заключающееся в этом разграничении. Но это не все: ему было уготовано еще другое, более явное оскорбление, и оно выразилось в учреждении института присяжных заседателей¹ — суровая награда за усилия, потраченные легистами на разрушение политических основ нравственного порядка прошлого, но справедливое наказание за непредусмотрительность, *обнаруженную ими в постройке* нового здания.

В самом деле, господа, что такое институт присяжных, как не следствие недоверия, внушаемого либо предполагаемой безнравственностью закона, либо опасением коррупции или, по крайней мере, невежества магистратуры. Люди пожелали быть судимы равными себе, как только и в морали и в политике перестали признавать высших. Повинуясь счастливому инстинкту, никогда полностью не покидающему человека, пожелали тогда верить букве закона утраченную ею силу мнения. Тщетные усилия: урна, из которой регулярно извлекаются несколько неизвестных имен, не есть тот чистый источник, откуда текут воды

общественного примирения и даже воды общественного осуждения.

А между тем, господа, это единственная гарантия в пользу нравственного порядка требуемая в настоящее время законодательством. Немногие умы заблуждаются в такой степени, чтобы не признать, насколько убоги холодны, бесцветны подобные институты. Кто хотя бы на миг призадумался, пусть даже в целях критики, над приговорами, которые христианская церковь выносила в эпоху своего могущества; над канонизацией добродетели христианина, рекомендовавшей всем верующим, всему потомству; над отлучением, вследствие которого виновный уже при жизни попадал в мучительное чистилище; наконец, скажем смело, даже над индульгенциями в ту эпоху, когда церковь еще не делала из них предмета позорного торга,— кто задумывался над всем этим, тот не сумеет отделаться от чувства сожаления об обществе, которое не боится высказывать свою радость по поводу разрушения этих великих средств поддержания порядка и в то же время не заботится о замене их в будущем чем-либо другим. И нам понятен взгляд презрения или отчаяния, который бросают на это общество сильные умы нашего времени; мы понимаем де Местра, всеми силами призывающего прошлое, как и Гете или Байрона, когда они покрывают саваном мертвеца и окружают отравленной атмосферой развалины, на которых мы жалким образом прозябаем.

Нет, господа, человечество не осуждено навсегда на это состояние нравственного ничтожества и, следовательно, безнравственности, ибо человек не может быть надолго предоставлен самому себе, не впадая в эгоизм. Настанет день, когда слова, произносимые органами общественного правосудия, будут вселять во все сердца истинную радость или глубокую печаль; настанет день, когда люди, преданные человечеству, снова смогут притязать на ореол святости, когда наказанием для порока будет горестное зрелище страданий, испытываемых по его вине добродетелью; настанет, наконец, день, когда для раскаяния откроется возможность надежды.

Пусть в особенности эта последняя мысль всегда пребывает в вашем сознании, господа, и вы сможете должным образом оценить беспомощные усилия филантропически настроенных легистов, пытающихся восстановить спокойствие в сердцах, извращенных по их же непредусмотрительности. Похоже на то, что они хотят начать с каторги нравственное возрождение общества: все они энергично восстают против вечности страданий, сопровождающих человека, заклеянного однажды страшным и жалким орудием общественного правосудия,— клеймом, которое навсегда закрывает для него путь раскаяния и примирения; все стонут по поводу глубокого падения, в которое постоянное соприкосновение с преступлением вовлекает слабых людей, лишенных поддержки против искушающего зрелища

разнужданного эгоизма. И никто из них не подумал о том, что эти существа, несчастье которых они оплакивают, сами выходцы из наших цивилизованных городов, где у них также не было опоры и где они оставили множество таких же, как они, слабых душ, которые скоро придут вслед за ними погибать в тюрьмах и, быть может, сказать земле свое последнее прощание с высоты эшафота.

Вернемся, однако, к специальному вопросу, которым обещали заняться: мы говорим о теории наказаний и об устройстве корпорации с целью применения этой теории к различным социальным фактам.

Мы уже неоднократно говорили, но считаем все же полезным это повторить, что один из великих законов развития человеческого рода заключается в постоянном ослаблении господства силы, или лучше сказать (для того, чтобы слово *сила* не производило впечатления кажущегося противоречия с ростом политического значения промышленности)—господства насилия и эксплуатации человека человеком. В применении к занимающему нас предмету закон этот показывает нам, с одной стороны, что порок принимает все менее грубые формы, а с другой,— что наказание начинает носить более гуманный характер. Следовательно, каков бы ни был прогресс, достигнутый до сих пор в этом отношении, вы впали бы в грубую ошибку, если бы, услышав от нас слово репрессия, вообразили, что мы разумеем под ним формы, употреблявшиеся, например,

китайцами и греками, насильно приостанавливавшими рост народонаселения, обрекая на гибель детей и устраивая охоту на невольников, или же христианской церковью, когда в период своего упадка она подавляла нечестие посредством сожжения на костре.

Нет, господа, хотя мы не в состоянии определить заранее в деталях репрессивные средства, которые будут применяться в будущем, нам напрасно приписали бы явное противоречие с самыми нашими принципами, если бы предположили, что в общественном строе, где право на власть дают только нравственность, способности и труд, мы можем допустить существование магистратуры, которая не испытывает симпатии к виновному, которая не видит в его наказании благотворное исправление, настоящую меру воспитания, а не мщение. Это заблуждение было бы тем более непростительным, если бы оно касалось подавления нравственных проступков, если бы оно касалось, например, столь жгучих ныне вопросов о свободе преподавания, свободе печати и, в особенности, свободе исповеданий. Но так как некоторые хотят знать все, что мы думаем по этому поводу, то вот наше мнение.

Мы полагаем, что в обществе, организованном так, как это предусматривается нами для будущего, главной целью кар, налагаемых на распространителей антиобщественных учений, будет избавление их от общественной ненависти; принимая против них меры строгости, власть будет опережать, в видах ее смягче-

ния, народную ненависть, так легко вспыхивающую против людей и вещей, оскорбляющих чувства масс. Но для того чтобы понять эту мысль, не забывайте, господа, что наша первая гипотеза, как и единственная наша цель, — добиться организации власти, пользующейся любовью, почетом. Каковы бы ни были ваши нынешние предубеждения, можете ли вы себе представить при наличии общепризнанного догмата совершенствования, чтобы человеческий род, которому так давно знакомо чувство уважения, привязывающее слабого к сильному, чувство восхищения, заставляющее разум склоняться перед гением, чувство любви, с радостью жертвующей собой ради человека, с жизнью которого кажутся связанными судьбы народа, судьбы всего мира, — можете ли вы, говорим мы, представить себе, чтобы человечество лишилось навсегда этих благородных элементов своего счастья? Если бы им суждено было погибнуть, то это, несомненно, произошло бы именно тогда, когда революционная анархия, казалось, навсегда изгнала их из сердца человеческого. А между тем, разве мы не наблюдали, как именно тогда они ожили, по крайней мере частично, чтобы придать Франции ту удивительную силу, которая в течение двадцати лет столь же изумляла, сколь страшила Европу?

Успокойтесь же, господа, насчет строгости наказаний в будущем; когда налагающая их власть пользуется доверием и любовью народов, то будьте уверены, чаще прославляют

ее милосердие, нежели жалуются на ее суровость.

Теперь, когда вам известно все, что мы думаем относительно серьезности наказаний, мы остановим ваше внимание на общественной цели, которой они должны достигнуть, т. е. на пользе, которую общество может ожидать от них, и, следовательно, на характере, который необходимо придать им.

В такой момент, когда все прямые средства воспитания, как мы уже сказали, сводятся в руках власти почти к нулю, т. е. в эпохи, когда у нее в действительности нет ни способности, ни полномочия учить народы, карательное законодательство есть единственное оружие, которым она располагает. Она пользуется им не для того, чтобы увлекать общество на путь добра, т. е. к его будущему, которое неизвестно; не для того, чтобы посредством мудрой предусмотрительности воспрепятствовать ему пойти по пути зла, т. е. вернуться назад к былому варварству, а исключительно для того, чтобы зрелищем наказания виновных устрашать порок (который представляют себе тогда только в самых грубых его формах). Это средство воспитания, которое в органические эпохи является самым слабым, ибо оно действует лишь косвенно, есть единственное средство, остающееся в распоряжении критических эпох; именно потому оно показалось очень важным современным публицистам, старавшимся раскрыть нравственную ценность законодательства. Таких публицистов, правда,

теперь немного, и Бентам, который бесспорно стоит в первом ряду среди них, не мог не признать, что с этой точки зрения мы не более удачливы в выборе наказаний, чем греки и римляне, и что только католичество сумело использовать этот страшный способ поражать умы. Замечание это могло бы навести Бентама на след множества истин, которыми он пренебрег из-за своих критических наклонностей; мы попытаемся развить их сейчас перед вами.

Да, католическая церковь сумела использовать даже уголовное законодательство как средство народного воспитания; она сумела это сделать потому, что для нее все являлось средством воспитания, пока она верила в данную ей Христом миссию учить мир. И хотя она предоставила земным властям заботу о наложении светских кар, однако и здесь она осуществляла свое влияние, придавая им тот нравственный характер, которого они лишены в настоящее время. Эти мрачные церемонии, которые теперь свелись, так сказать, к процедуре хирургической операции, кажутся до последней степени грубыми, безжизненными. И все же, господа, в них теплится еще искра жизни. Посмотрите на этого человека, появляющегося на эшафоте между палачом и его жертвой; он несет с собой на подмостки смерти надежду и любовь; разве в этом не заключается вся жизнь?

Не станем поэтому удивляться, подобно Бентаму, нравственному ничтожеству нашей

карательной системы; скажем вместе с ним, что большинство наказаний нашего законодательства, по крайней мере те, где не льется кровь, являются настоящими судебными пародиями.

Теперь мы знаем причину этого убожества, следовательно, мы близки к отысканию способа его устранения. Мы знаем, что там, где нет общих нравственных верований, представленных людьми, которые всего сильнее воодушевлены ими, там грубая сила является единственным средством поддержания порядка, находящимся в распоряжении власти. Таким образом — обстоятельство, достойное быть отмеченным — именно в тот момент, когда народы ослеплены страхом деспотизма, произвола, они всего легче соглашаются оставить в руках власти, которой они не доверяют, самое страшное орудие деспотизма — материальную силу! Мы отмечаем эту непоследовательность для того, чтобы лишний раз показать недостаток логики, преобладающей, к счастью во всех актах критической эпохи.

Заявим поэтому во всеуслышание и с полной откровенностью: когда обучение общественным чувствам сводится к репрессивному воздействию, т. е. когда оно существует только в уголовном законодательстве, когда палач является единственным дипломированным властью учителем морали, — тогда только и может господствовать деспотизм, тогда только общество и может быть подчинено самому

подлинному, самому унижительному из всех видов рабства.

Не следует оставлять этого предмета, не извлеки важного урока из мнения великого английского легиста. Вы ежедневно слышите надоедливое повторение мысли, что человеческий ум не должен больше удовлетворяться неполными решениями, противоречащими принципам фактами, непонятными объяснениями следствий без указания причин, словом, что все, представляющееся человеку чудом, есть только выражение его невежества и должно служить ему лишь указанием на работу, которую необходимо проделать, чтобы открыть истину, затемняемую плохо наблюдаемыми явлениями. Мы выражаем здесь научное верование, весьма популярное в критические эпохи, так что нам нечего опасаться возражений по этому пункту. Ну, хорошо, господа, как же объясняет себе Бентам то обстоятельство, что греки, римляне и мы одинаково бессильны использовать систему наказаний, тогда как католицизм, напротив, успешно пользовался ими, чтобы внушить страх или надежды, которыми он хотел пронизать сердца? Проблема была бы интересна для человека, который желал бы установить связь между древностью и нами, а между тем Бентам проходит мимо нее, оставляет ее без рассмотрения. Зная его политические взгляды, совпадающие со взглядами всех наших публицистов, сохраняя лишь немного больше логики, нельзя не вынести убеждения, что это превосходство католицизма

в сравнении с нами и с римлянами является для него, как и для всех людей, подверженных власти критики, прямо непостижимым чудом. Как признаться в самом деле, что это столь варварское средневековье знало секрет руководства народами? Как признаться, что оно искусно пользовалось средствами, производившими на массы, так сказать, заранее рассчитанное действие, тогда как мы, чудо цивилизации, не знаем, что такое цивилизация, или, по крайней мере, не умеем ничего сделать для облегчения ее развития?

То же затруднение возникает — мы можем это утверждать на основе личного опыта — во всех общих вопросах, если только попробовать не поддаться ослеплению образования, завещанного нам XVIII веком. Отбросьте на мгновение антипатии, которые отталкивают вас от средних веков, забудьте на время, что вам претит учение людей, бывших руководителями общества в эту эпоху жизни человечества, — и вы не сможете не признать наличия весьма замечательной гармонии между этим учением и действиями власти в указанную эпоху. Но ведь именно гармония между идеей и действиями свидетельствует о здоровом состоянии человеческого духа, подобно тому, как их расхождение есть атрибут безумия, и признание Бентама по поводу сравнения между средними веками и современной эпохой есть одно из самых ясных доказательств наличия порочного круга, в котором критические учения держат человечество.

Нам остается побеседовать с вами о магистратуре, т. е. о выборе людей, на которых возлагается обязанность применения нравственного учения к исключительным случаям порочности, ибо мы занимаемся здесь только карающим законодательством.

Установим сначала одно подразделение: оно позволит нам отвлечься от части вопроса, которой мы сможем с пользой заняться лишь после того, как изложим непосредственно идеи школы относительно нравственной или, вернее, эмоциональной будущности человечества.

Исключительные случаи порочности делятся на три категории, соответствующие троякой точке зрения, с которой можно рассматривать человека и человечество. Мы имеем в виду три аспекта, которые мы обозначаем терминами — изящные искусства, наука и промышленность. Таким образом, существуют три рода преступлений: преступления* против чувств или против нравственных взаимоотношений людей, преступления против науки, наконец, преступления против промышленности. То же деление существует среди добродетельных актов, которые выступают либо как прогресс симпатий общественно

* Напомним, как мы указали уже выше, что совершить преступление — всегда значит совершить деяние, имеющее ретроградную тенденцию, значит воспроизвести какую-нибудь привычку прошлого, другими словами — доказать, что воспитание не достигло своей цели. Таким образом, для нас виновный — только сын прошлого; все усилия настоящего должны быть направлены к тому, чтобы сделать из него дитя будущего.

свойства, либо как научные открытия, либо, наконец, как завоевания промышленности; в этом последнем отношении нам не приходится, однако, давать сейчас никаких разъяснений.

Согласно этой классификации магистратура, так же как уголовный кодекс, делится с точки зрения карательной системы на три категории, соответствующие трем крупным социальным группам, которыми для нас являются не монархия, аристократия и демократия, а художники, ученые и промышленники. Повторяем, мы временно пользуемся словом *художник*, так как слово, которое мы хотели бы употребить, было бы, несомненно, понято в настоящий момент неправильно.

Итак: кто же в перечисленных трех крупных общественных классах — те лица, которые должны судить о том, порочны ли известные факты, т. е. оскорбляют ли они чувства, вредят ли они развитию наук или обучению им, наконец, препятствуют ли они росту богатства и распределению его сообразно способностям работников?

Вы понимаете, господа, что степень отвлечения, к которому мы только что прибегли, не предполагает отсутствия *сложных* ненормальных фактов. В формах нынешнего судебного строя известные дела входят в компетенцию двух различных судебных инстанций; то же будет происходить в будущем, тем не менее абстракция была необходима именно для того, чтобы установить специальную компетенцию каждого трибунала.

После этих предварительных замечаний вы видите, что мы должны устранить на время вопросы, относящиеся к области чувств, и ограничиться рассмотрением двух категорий.

Вместе с критическими публицистами мы также готовы заявить, господа, что надо быть судимым равными себе, если только под этим понимать, что преступление в области промышленности должно быть судимо промышленниками, преступление против науки — учеными. Но отсюда весьма далеко до суда присяжных по жребию¹ и во избежание того, чтобы нас привели к нему, мы спешим прибавить: если надо быть судимым равными себе, то лишь при условии, что среди этих равных будут судить лучшие. Без такого условия этот основной принцип является скорее причиной беспорядка, чем гарантией порядка, ибо, принимая его, люди объявляют, что можно предоставить случаю решение вопроса о том, не окажутся ли в роли судей безнравственность, невежество и бездарность.

Чтобы быть судьей известного поступка, нужно стоять на более возвышенной точке зрения, чем та, на которой стоял виновник этого поступка; надо охватывать больше вещей, больше интересов, чем он; для определения ненормальности известного факта надо знать соответствующий ему общий факт.

Кто мог бы, например, отправлять обязанности научной магистратуры, если не люди, которые лучше всего знают общие нужды

науки? Только не спешите заключить из этих слов, что мы желаем, чтобы подобная привилегия была предоставлена Французской академии, Медицинской академии, Юридическому факультету или, наконец, какому бы то ни было другому из нынешних учреждений. Нет, господа, если мы ждем социального возрождения, то и эти учреждения, являющиеся только деталями нашей организации, — притом бесконечно мелкими, — существенным образом испытывают на себе его последствия. Однако мы признаем, что люди часто возвышаются до уровня обстоятельств, для которых они не считали себя созданными, и это происходит в особенности тогда, когда привычки всей их жизни приводят их естественным путем, так сказать инстинктивно, к новой миссии, которую им доверяют. Один новый пример покажет вам всю правильность этого предложения: мы говорим о коммерческих судах².

Ни один из только что высказанных нами принципов не противоречит формированию коммерческих судов. Это учреждение, как и вообще создание всего торгового кодекса, представляется нам единственным проявлением прогрессивного элемента в нашем законодательстве. Мы не хотим этим сказать, что торговый кодекс и коммерческие суды не подвергнутся значительным изменениям в будущем, а только то, что они сами будут содействовать в большей мере, чем всякая другая часть нашей судебной системы,

общей реформе нашего законодательства. В самом деле, мы видели — вещь, кажущаяся чудом легисту! — как люди, занимающиеся делами, по-видимому ничего общего не имеющими с законодательством, выносят решения по самым щекотливым вопросам коммерческого интереса с быстротой и в то же время безошибочностью, совершенно неизвестными прочим судам. Удивление, впрочем, вполне естественное, ибо оно обусловлено ложным представлением, неизбежно порождаемым в умах зрелищем законодательства, которое (за исключением торгового права) имеет отношение к фактам, лежащим вне знаний и привычек каждого гражданина.

Таким образом, было признано, что коммерческая магистратура может быть доверена промышленникам, причем, однако, этот суд рассматривается лишь как первая инстанция. Но надо признать, что в отношении их вели себя так, словно не верили в их силу: в этом можно убедиться, если подумать о важности фактов, продолжающих еще входить в область гражданского законодательства, несмотря на то, что они имеют прямое отношение либо к производству, либо к распределению общественного богатства, другими словами, к операциям и организации общества, рассматриваемого с точки зрения промышленной. Так, вопросы поземельной собственности, регулирующие распределение и передачу орудий производства, т. е. аренду, акты о продаже

имущества, наследование и приданое, будучи разрешаемы еще на основе социальных учений прошлого, остались в ведении законодательства, именуемого гражданским. Но если вы припомните лекции, в которых мы говорили о структуре собственности, то поймете, что законодательство промышленного общества должно будет также охватывать регулирование земельной собственности, как и акты, относящиеся к собственности коммерческой, особенно — заключающейся в настоящее время в движимости. И когда, используя опыт с коммерческими судами, учредят другие, более высокие суды, носящие свое настоящее наименование — промышленных судов, то все факты, наносящие вред росту богатства, т. е. развитию промышленности, будут судимы именно людьми, активно содействующими этому развитию. И пусть нам не возражают ссылкой на невежество почти всех промышленников в том, что касается гражданских законов: это невежество доказывает лишь одно — что гражданский кодекс не годится для нынешнего гражданского общества и что он не был задуман в согласии с общим воззрением на реальные нужды нашей эпохи, в особенности — на нужды будущего. Впрочем, не станем слишком подчеркивать ученость легистов и невежество промышленников: если бы нужно было высказаться по поводу полезности почти всех наших законов с точки зрения материального преуспеяния общества, то суждение промышленников имело бы по

меньшей мере такой же вес, как и суждение легистов, ибо именно они страдают постоянно от недостатков закона; для легистов же эти недостатки составляют как раз ту стихию, в которой они живут и где они приобретают известность, а в особенности — клиентуру.

Но для прогресса, доказательство которого мы видим в торговом законодательстве (счастливым результате усилий, предпринимаемых промышленностью со времени установления первых коммун, чтобы стать когда-нибудь могучей социальной силой), особенно характерна точка зрения, с которой промышленные судьи смотрят обычно на всякую тяжебу: насколько для других судей важна форма, настолько эти судьи обращают все свое внимание на существо дела; там, где легисты стараются выдвигать пункты раздора, коммерческие судьи стараются отыскать элементы примирения; наконец, полюбовный арбитраж, передача дела экспертам и личная осведомленность судей в области спорных вопросов являются гораздо большими гарантиями правильности решений коммерческих судов, нежели право апелляции. Это представляется нам до такой степени правильным, что если бы апелляция по промышленным тяжбам происходила в обратном порядке, чем теперь, т. е. от гражданских судей к судьям коммерческим, то число справедливо отменяемых решений было бы, бесспорно, более значительным.

Заметьте еще, господа, что мотивы, служащие основанием для института присяжных заседателей, не могут иметь применения здесь именно потому, что коммерческие судьи выносят решения лишь по такой категории дел, которые они, по всем вероятностям, должны знать гораздо лучше присяжных, назначаемых наудачу.

Мы распространялись так много о коммерческих судах, чтобы ответить на одно сомнение, которое должно возникнуть почти у всех тех, кому излагают новое социальное учение: в этом случае люди с особым трудом представляют себе операцию, которой нужно подвергнуть настоящее, для того чтобы придать ему характер, приписываемый будущему. А между тем Лейбниц и многие другие говорили: «настоящее чревато будущим». Следовательно, если наше будущее должно осуществиться, то потому, что оно, хотя и незаметно, существует в зародыше в фактах, совершающихся на наших глазах. Поскольку речь идет о промышленной организации, мы уже раскрыли перед вами это будущее в отношении развития кредита благодаря банкам и все более быстрому превращению в движимую даже недвижимой собственности, в постоянном снижении процента; в медленном, правда, но неминуемом исчезновении торговых предрасудков, разделяющих народы; наконец, во все более значительном участии в политической деятельности людей, стоящих во главе промышленности. Нам осталось, следовательно.

побеседовать с вами в этой же связи о зародыше прогресса, заключенном в той части современного законодательства, которая имеет своей целью регулирование собственности и подавление возможных посягательств на нее.

Чтобы судить о каком-либо факте, чтобы квалифицировать его как преступление, необходимо знать, как мы сказали, что не является преступлением, т. е. знать устав о порядке или, если угодно, промышленный, научный, эмоциональный кодекс общества. Отсюда, мы вывели заключение, что человек должен быть судим теми, кто стоит выше его по иерархии, к которой он принадлежит. Точно так же, скажем мы, все изменения в названных кодексах должны производиться только этими высшими людьми, и мы этим выразим свое представление о законодательной власти — факте, играющем ныне столь важную роль и в то же время столь плохо понимаемом.

Определение условий наличия соответствующей способности к изданию законов, как и к их применению, есть основа всякого хорошего законодательства и всякого общественного порядка, ибо оно предполагает, что составление устава о порядке и надзор за соблюдением его хотят доверить людям. Наиболее способным оценить его справедливость и полезность. Если это так, господа, то трудно не удивляться, когда видишь, что наши публицисты восхваляют глубину своих политических доктрин и в то же время ищут

гарантию способности к законодательной деятельности в факте, который сам по себе совершенно чужд ей, да и вообще чужд всякой способности. Из того обстоятельства, что по условиям варварского состояния, в котором мы еще пребываем, известные лица имеют возможность жить широко, ничего не производя, не трудясь, в полной праздности, — наши публицисты заключают, по-видимому, что именно среди этих празднолюбцев должны непременно находиться люди, лучше всего знающие интересы общества, живущего только трудом. Мы далеки от утверждения, что они ошибаются, измеряя *сейчас* законодательную способность меркою уплачиваемых налогов; но надо признать, — да простят нам это выражение, — что это только значит быть счастливым в игре. Когда война была подлинной опорой общественного организма, тогда и земля была собственностью воина; когда военные обычаи были наиболее удобны для всех и сеньоры давали самые совершенные образцы этих обычаев, тогда граф был естественным судьей своих вассалов, и логика, так же как и все общество, была удовлетворена этим догматом феодального законодательства. Но как только графы и бароны разрушили свои башни и забросили свои шпаги, как только земельная собственность стала лишь патентом на свободную от обязанностей праздность, а не на обязательную общественную функцию, то в условиях законодательной правоспособности должно было скоро произойти перемещение. Еще

раньше, однако, чем для них было найдено новое основание, мы пережили момент, когда импровизированные законодатели бросились со всех сторон на кресло трибуна, невольно возрожденное парламентами, которые разрушили сеньориальную или военную юстицию. Эти захваты не были продолжительны, и скоро оказалось достаточно одного человека и нескольких штыков, чтобы заставить непрошенных законодателей убраться. Но этот человек, также игнорировавший будущее, стремительно перенесся назад к прошедшему и вновь построил законодательство на основаниях феодализма, т. е. на собственности по праву рождения.

С тех пор были сделаны некоторые удачные нововведения, которые подтвердят то, что мы уже сказали относительно зародыша будущего, заключенного в настоящем.

К условиям избирательного права был отнесен патент, т. е. единственная грамота, которую общество в состоянии в настоящее время выдать человеку, кормящему его. Теперь в списках присяжных³ фигурируют профессоры, врачи, адвокаты, чем вводится интеллектуальное и личное условие, правда, весьма неопределенное, там, где раньше существовало лишь условие чисто материальное, совершенно независимое от личности.

Если бы земля давалась теперь промышленнику сообразно степени его личной способности, как она была некогда уделом воина

сообразно его наследственному титулу, то легко было бы представить себе, что мирное общество может принять принцип, применявшийся в обществе военном, ибо в этом случае, как и во времена феодализма, существовало бы объединение людей, имеющих одну общую цель, существовало бы, одним словом, общество. И тогда графы и бароны промышленности, иерархически организованные сообразно своим заслугам, были бы естественными судьями материальных интересов этого общества, подобно тому как в средние века сеньоры были естественными судьями военного общества.

Припомним то, что мы сказали вам в других лекциях о структуре собственности, вы теперь без труда можете понять организацию промышленной магистратуры. Каждая из специальных мастерских (под этим словом мы разумеем не комнату или даже 4-этажный дом, а коммуны, деревню, город, целую нацию, ибо у общества, как бы многочисленно оно ни было, всегда есть промышленная функция, которую оно должно выполнять) или каждый промышленный муниципалитет нуждается в уставе о распорядке, следовательно — в людях, обязанных следить за его соблюдением или видоизменять его сообразно требованиям труда, т. е. в людях, способных судить о том, вредят ли известные факты производству и какие факты для него полезны. Вот из этих-то людей и составляется промышленная магистратура.

Для того чтобы слово *магистратура* не вызвало у вас ложных представлений или, вернее, не возбуждало представлений, сложившихся под влиянием нынешнего общественного строя, не забывайте, господа, что, согласно нашим воззрениям, будущее не должно знать этих нескончаемых, исполненных ненависти пререканий о собственности. Если бы между промышленниками поднялся спор относительно их прав на пользование таким-то орудием, такой-то мастерской, то учреждение, на которое возложено руководство материальными работами, будет естественным арбитром, который разъяснит неясные пункты ленной грамоты, выдаваемой им каждому производителю в момент его промышленной инвестиции. Точно так же не будет требовать никакой гарантии против третьих лиц участие вдов и малолетних, обеспечиваемая коммунальной защитой, а не прямой, столь часто неразумной предусмотрительностью индивидов. Наконец, так как передача собственности между живыми или после смерти будет тогда происходить только в форме нового арендного договора, выдаваемого новому управителю, то станут совершенно неведомы продажи, аукционы, завещания, акты о передаче, заклады, ипотеки, экспроприации и т. д.

Таким образом, из будущего общественного строя исчезнет это множество архивариусов, нотариусов, эта армия тяжущихся, адвокатов, стряпчих и всякого рода дельцов, неустанно занятых сейчас охраной, оспарива-

нием и защитой прав, которые отныне будут давать лишь повод для третьейского решения руководителей промышленности. Ибо к одному этому сведутся законодательство и судопроизводство, касающиеся собственности: распределение продуктов труда равно как споры о собственности на промышленные мастерские, т. е. об управлении и эксплуатации недвижимости, никогда не будут подсудны другому трибуналу.

Но здесь, господа, мы ждем повторения — мы заранее это знаем — грозного возражения, которым мы уже занимались, когда говорили об организации банков, — грозного потому, что оно употребляет термины, производящие впечатление, вызываемое головой Медузы, и повергающие всех в ужас. Вот, скажут, пожаловали корпорации со всей их свитой, юриспруденцией консулов, синдиков, прюдомами и всем тем старьем, от которых навсегда избавила нас революция. Подумайте, господа, что при таком способе рассуждения невозможно было бы теперь никакое средство для поддержания порядка, ибо все те средства, которые человек может придумать, уже имели свои подобия в прошлом, хотя они и служили тогда для других целей. Мы отлично знаем, какими путями старые корпорации связывали промышленность; но эти пути — настоящие детские помочи промышленников в начальный период их социального бытия — не могут служить доводом против того, что по достижении совершеннолетия промышленники должны

поддерживать друг друга, так как не все одинаково сильны и не все одинаково просвещенны. Из того, что под названием корпораций существовали когда-то учреждения, формы которых нам претят, нельзя заключать, что промышленники ни в коем случае не должны составлять корпораций. Наконец, из того, что старая ассоциация труда не годится больше, не следует непременно, что всеобщее *спасайся кто может*, именуемое конкуренцией, есть верх промышленного благополучия.

Заметьте, что это предрасположение не слушать человека, потому что его костюм с первого взгляда кажется старомодным, есть предрассудок, которого следует особенно опасаться, когда сам носишь костюм, если и не готический, то скроенный по античному образцу, если не феодальный, то греческий или римский. Отбросим, следовательно, господа, этот опасный предрассудок и постараемся сначала посмотреть хладнокровно и на старый порядок, и на нынешнюю свободу. И если вы, подобно нам, выскажетесь в пользу сен-симоновского порядка, то поступите так потому, что вместе с нами признаете невозможность существования истинной свободы вне этого порядка.

Это обещание с нашей стороны покажется вам, без сомнения, недостаточным, и вы ждете от нас более положительных уверений в нашей слабой привязанности к прошлому. В самом деле, ведь может случиться, что мы

полне добросовестно собираемся восстановить его, сами того не подозревая и воображая, что создаем нечто новое. Нет, господа, Сен-Симон создал нечто, новое; он действительно возвестил нам благовест. И вы убедитесь в этом, подобно нам, когда разберете, действительно ли нова та цель, которую он указывает будущему обществу, т. е. действительно ли возрождающий или координирующий принцип всех явлений этого обновленного общества отличен от принципов, на которых покоились организации средневековья и античных обществ.

Если такое отличие существует, то хотя бы мы возвестили для этого будущего корпорации, иерархию, руководителей нравственной, научной и промышленной деятельности; хотя бы мы говорили о знати и произносили даже страшные слова *духовенство*, *священник*, как мы уже решились произнести в вашем присутствии слова *исповедь*, *отлучение*, *канонизация*, вы не станете поддаваться внешней оболочке вещей, а постараетесь проникнуть в их сущность. Тогда вы увидите, что там нет ни фискальной корпорации XVII и XVIII столетий, ни феодальной иерархии, созданной войной и для войны, ни передаваемых по наследству ленов, должностей и герба. Главное же — вы не найдете там прежних общественных руководителей, священников и воинов, вечно ведших между собой борьбу и невольно вносивших смутение в общество, которое не решалось еще стряхнуть с себя

свое первобытное варварство, т. е. отбросить антагонизм, рабство и войну, чтобы открыто и бесповоротно вступить на мирный путь всесветной ассоциации. Таким образом, необходимо вкратце воспроизвести перед вами все сказанное нами до сих пор, придавая высказанным уже идеям общую окраску, отражение наиболее широкого принципа, на котором основаны все наши воззрения относительно будущего. Такой принцип определяет именно в каждый период цивилизации привязанность гражданина к обществу, ко всей вселенной, часть которой он составляет; оно делает их дорогими для него, ибо повсюду он находит проявление этого принципа в тысяче различных форм. К этому принципу промышленник, ученый и художник применяют все свои поступки, все свои мысли, ибо он один санкционирует или осуждает в последней инстанции, ибо он один представляет нам мир и человечество не как мрачный хаос, а как осуществление гармонически задуманного плана, воли, налагающей на человека обязанности, выполнения которых должно составить *его* счастье.

Да, господа, социальный принцип будущего, открытый Сен-Симоном, душа нового общества, иными словами — его чувства будут отличны от прошлых. И вот вам доказательство, которого одного достаточно, чтобы убедить вас в этом: скажите, разве мы не раним непрерывно своими речами совесть людей прошлого; разве война, которую мы ведем со всеми привилегиями рождения, на-

пример с передачей богатства по наследству, или наша открытая оппозиция против военного режима, — разве они не являются прямым осуждением не только феодализма, но и тех чувств, которые, по-видимому, одни объединяют теперь людей.

Мы, господа, не боимся заявить, что защитники системы наследования, если бы они даже осуждали право первородства и майораты, все еще остаются под властью доктрин, от которых мы совершенно освободились благодаря Сен-Симону.

Но, повторяем, лишь после того, как мы выскажемся о чувствах и о морали, составляющей их теорию, мы сумеем заняться непосредственно вопросом об антипатиях, порожденных критическим положением, в котором *находится наше столетие*. Эти *антипатии* заставляют видеть деспотизм и произвол всюду, где существует какая-либо руководящая деятельность; словно мы по собственному опыту не знаем, что всегда позволяешь себя вести, с радостью даешь увлекать себя, когда идешь по следам людей, почитаемых и любимых. Неужели человечество никогда не будет извлекать из избранных душ, из пламенных сердец, из возвышенных умов всю пользу, какой оно вправе ожидать от них? Неужели оно отдаст их на произвол случая, с риском, что они угаснут в томлении наследственной праздности или среди оупляющих работ, на которые обрекает нищета? Нет, господа, нам надоели все политические принципы, которые

не имеют своей прямой и единственной целью — передать судьбы народов в руки самоотверженных и талантливых людей. Мы страхнем с себя наше боязливое недоверие, когда на мгновение подумаем спокойно о жалких результатах, которые оно дает. И мы с радостью вернемся к высокой добродетели, столь непризнанной, можно сказать даже, столь презираемой ныне, к добродетели, столь легкой и приятной между существами, которые все воодушевлены желанием достигнуть одной общей цели, и столь тягостной и возмущающей, когда она заставляет склоняться перед эгоизмом: мы с любовью вернемся к повиновению.

Лекция

*тринадцатая**

ВВЕДЕНИЕ В ВОПРОС О РЕЛИГИИ¹

Излагая перед вами, господа, большую часть основных идей Сен-Симона, мы стремились в особенности оттенить, что общество должно быть организовано согласно заранее предусмотренному общему плану и что сообразно этому предвидению им следует неустанно руководить в целом и в деталях.

В последних наших лекциях мы говорили о способах, при помощи которых обществу можно давать то или иное направление, и прежде всего — о воспитании, главном и самом могучем из этих способов. Мы сказали, что воспитание предназначено, с одной сторо-

ны для того, чтобы приводить все индивидуальные воли в гармонию с общей целью, чтобы заставить их симпатически стремиться к этой цели; с другой,— чтобы распределять между членами общества специальные познания, необходимые для выполнения различных категорий работ, для отправления различных функций, требуемых состоянием цивилизации.

Мы говорили вам также о другом великом способе руководства обществом — о законодательстве, которое в органические эпохи носит как наказующий, так и вознаграждающий характер. Мы показали, что в критические эпохи оно, подобно всем общественным фактам, лишено нравственной санкции, которая одна может сообщить ему позитивную ценность, и, таким образом, сводится к отрицательной роли, т. е. к чисто материальному и грубому подавлению порочных или отсталых аномалий.

Все эти идеи, как мы сказали, не получили законченного выражения, так как мы не имели возможности представить их вам в совокупности, пока не станем с вами на достаточно возвышенную точку зрения, чтобы оценить всю их важность, пока не приступим к огромной проблеме, охватывающей все другие, и решение которой придает новый аспект всем общественным явлениям.

Нас могут спросить, почему же мы не позаботились о постановке и разрешении в первую очередь этой великой проблемы, необходимой,

* Прочитана 17 июня 1829 г.

согласно нашему утверждению, для понимания всех других проблем.

Мы не сделали этого намеренно. Считаясь с моральным расположением нашей эпохи, мы полагали, что для того, чтобы надлежащим образом фиксировать внимание на проблеме, одно выражение которой способно в настоящее время возбудить сильнейшие антипатии, нам прежде всего необходимо до такой степени развить идеи нашего учителя, чтобы необходимость исследования этой проблемы стала осознаваться всеми.

Проблема эта может быть поставлена следующим образом: существует ли у человечества религиозная будущность? И в случае утвердительного решения: должна ли религия сводиться к чисто индивидуальной концепции, к чисто индивидуальному созерцанию? Следует ли представлять себе ее только как идею внутреннего порядка, стоящую особняком среди всей совокупности чувств, среди системы идей каждого человека, без влияния на его общественные поступки, на его политическую жизнь; или же религия будущего должна выступить как выражение, как яркий проблеск коллективной мысли человечества, как синтез всех его представлений, всех форм его бытия? Не должна ли она занять место в политическом строе и всецело властвовать над ним? Таковы, господа, те важные вопросы, которые нам предстоит рассмотреть; таково обширное поле, на которое нам приходится вступить, которое мы не беремся в данный момент исследовать

на всем его протяжении, но которое мы пройдем, по крайней мере, в главных его направлениях.

Бесспорно, в свое время тревожилось мужество от людей, которые первыми осмелились задеть религиозное достояние человечества в такую пору, когда государи и подданные, художники и ученые, воины и промышленники - все единодушно признавали существование бога, существование провиденциального порядка.

Времена изменились!

Мы не претендуем, разумеется, на проявление героизма, когда занимаем вас изложением основ новой религии: мы знаем, что в наш снисходительный, точнее индифферентный век можно безопасно высказывать всевозможные взгляды, особенно когда они, по-видимому, не выходят за узкие рамки философской школы. Но нам известно и другое, а именно, что мы обращаемся к лицам, считающим себя людьми высшего порядка на том основании, что они неверующие, и относящимся с презрительной усмешкой к религиозным идеям, отсылая их назад к мрачным векам, к тому, что они именуют варварством средневековья и детством человеческого рода. Этой усмешке мы не боимся, господа, бросить вызов: вольтерьянские сарказмы, великолепное пренебрежение современного материализма могут вытеснить из сердец туманную сентиментальность, признаки которой иногда замечаются в настоящие время; они могут испугать и смутить тот род

индивидуальной религиозности², который тщетно ищет форм для своего выражения, но они бессильны поколебать глубокое убеждение.

Да, господа, нам придется здесь подвергнуться сарказмам, пренебрежению, ибо вслед за Сен-Симоном и от его имени мы провозглашаем, что у человечества существует религиозная будущность; что религия будущего по величию и мощи превзойдет все религии прошлого; что, подобно своим предшественницам, она явится синтезом всех концепций человечества и, сверх того, всех форм его бытия; что она не только будет доминировать над политическим порядком, но что политический порядок в его совокупности будет представлять собой религиозную институцию, ибо ни один факт не должен больше мыслиться вне бога или развиваться вне его закона; что, наконец, религия охватит весь мир, ибо закон божий является всемирным.

Таковы, господа, заключения, к которым пришла школа Сен-Симона в великом вопросе, занимающем нас в настоящий момент. Всецело уверенная в их правильности, точнее — глубоко веря в них, она не видит для себя никакого риска в признании, что если бы удалось доказать их ложность, то тем самым было бы опрокинуто все здание, возведенное школой.

Повторяем, мы далеки от претензии исчерпать в первой же лекции столь обширную тему. Принимая в расчет предубеждение.

господствующее в эпоху, когда религиозные вопросы считаются бесповоротно решенными, мы можем ставить себе в настоящую минуту только одну задачу: бороться с этим предвзятым нерасположением, опровергнуть доводы, на основании которых люди отказываются даже вступать в рассмотрение этих жизненных вопросов.

Религия, твердят нам со всех сторон, есть плод детского возраста обществ, продукт тех времен, когда воображение было их единственным светочем; стоит ли заниматься ею теперь? Успехи науки, ее изумительные открытия эмансипировали в этом отношении человеческий ум и должны навсегда предохранить его от того, чтобы снова впасть в заблуждение былых времен. Наука подорвала самую основу религии, она низвела священников до их подлинной роли — до роли людей, которых дурачат или которые дурачат других; она доказала, что их учение — лишь чистейшая иллюзия, если не систематический обман.

Что же означает, господа, это магическое слово *наука* для тех, кто употребляет его с такой уверенностью и высокомерием? Наука! Но какая? Астрономия, физика, химия, геология или физиология? Мы также, господа, рылись в этих науках, чтобы узнать, чему они учат. Мы не вышли, правда, из их глубин ни язычниками, ни католиками, но это путаное скопление разрозненных знаний, лишенных связи, единства, не дало нам ни одного дока-

зательства, ни одного сколько-нибудь ценного аргумента против двух великих основ всякого религиозного здания: бога и провиденциального плана.

Правда, европейские общества стали неверующими; таковыми, по крайней мере, они представляются в настоящее время в их верхах. Но это преходящее явление вызвала не наука, вернее — не науки (употребляя анархический язык нашей эпохи), а философские идеи последних трех столетий,— идеи, происхождение и характер которых нам предстоит сейчас определить. Бесспорно, ученые, со своей стороны, ревностно содействовали разрушению религиозных идей, но не в качестве ученых, не в результате своих прежних трудов и не на их основании они направляли к этой цели свои изыскания и давали антирелигиозное истолкование фактам, попадавшим в сферу их наблюдения; все это они делали в качестве учеников, притом ревностных учеников критической философии. И в самом деле, стоит немного подумать, и тогда станет ясно, что им нужна была по меньшей мере воодушевлявшая их философская вера, чтобы, например, найти в их теориях самопроизвольного зарождения неотразимый довод против существования бога. В особенности нужна была ученым такая вера, чтобы находить доказательство существования беспорядка в области фактов, которые они не были в состоянии классифицировать и функции которых они не умели себе объяснить, между тем, как казалось бы на

первый взгляд, это должно было им доказать только их собственное невежество. Таким образом, ученые почерпнули свою иррелигиозную веру — если позволено так выразиться — не в своих позитивных трудах, как они, по-видимому, полагают сами; они почерпнули ее в гипотезе, критической гипотезе, провозгласившей в той или иной форме, скрыто или явно, что ни любовь, ни разум, ни сила не управляют миром, что все в нем отдано во власть случая; что человек, случайный продукт некоего общего брожения, не имеет никакого предназначения в том хаосе, в котором он обитает; что этот хаос, несомненно, должен когда-нибудь так же слепо уничтожить его, как он когда-то слепо его создал.

Нет, господа, не науки вызвали к жизни наблюдаемую нами иррелигиозность, и если хорошо подумать над их природой, то нетрудно увидеть, что лепта, внесенная в это дело учеными, есть результат явного нарушения ими своей миссии,— той миссии, которую они сами со справедливой гордостью себе приписывают. В самом деле, какую задачу ставят себе ученые, чего они хотят, какова их цель? Координировать явления согласно законам, управляющим вселенной; подвести, по мере возможности, все эти изолированные законы под единый закон.

Но обратите, господа, внимание на все значение этого слова *закон*, подумайте над этой склонностью ученых устанавливать связь между всеми явлениями,— склонностью, без

которой не была бы возможна ни одна наука. Как! — быть может, скажете вы, — чтобы иметь возможность изучить мир, ученый обязан прежде всего полагать, что в нем господствует известный порядок, что все окружающее его не есть огромный хаос, что он не будет обманут во всех его предвидениях вследствие тайного, непостижимого рока? Да, господа, таково убеждение, без которого не может обойтись ученый; если он хочет извлечь какой-либо вывод из своих наблюдений, он должен допустить в качестве основной гипотезы, что во вселенной все связано одно с другим.

Но если бы даже этой неизбежной гипотезой ученые, сами того не замечая, не засвидетельствовали торжественно существования провидения, то их авторитет в вопросах религии можно было бы не признавать, основываясь на том методе, которым они якобы исключительно пользуются и с которым они связывают позитивный характер своих трудов. В самом деле, что утверждают ученые? Что они ограничиваются наблюдением явлений, беспристрастным, пассивным их классифицированием в том порядке, в каком они происходят, не заботясь об их причине и цели в отношении человека и его судьбы. Таким образом, при тех притязаниях, с которыми выступают в настоящее время ученые, ясно, что всякие предпринимаемые ими изыскания в области религии на деле могут быть только бреднями, безусловным противоречием с теми

правилами, которые они себе начертали и которыми они так гордятся.

Станьте на религиозную точку зрения, но более возвышенную, более широкую, чем какая бы то ни было из достигнутых до сих пор человечеством, и тогда наука не только не сохранит того атеистического характера, который считают присущим ей, а, наоборот, предстанет перед вами как выражение дарованной человеку способности постепенно и все более познавать законы, при помощи которых бог управляет миром, короче говоря — способности познавать провиденциальный план. Каковы бы ни были открытия, на которых подвергается нападкам атеизм, быть может, основывает свои надежды, все они охватываются формулой: таково проявление бога.

Нет, господа, наука не предназначена быть вечным противником религии, как некоторые, по-видимому, полагают; она не предназначена суживать постоянно сферу религии, чтобы когда-нибудь полностью лишить ее всех ее владений. Она, напротив, призвана беспрерывно расширять и укреплять царство религии, ибо в конечном счете каждое из ее достижений должно в результате давать человеку более высокое представление о боге и его намерениях касательно человечества. И не так ли именно это понимали величайшие светила науки, даже те, последователями которых с гордостью считают себя наши современные ученые. Посмотрите, как Ньютон, поднявшись до идеи тяготения, смиренно склоняется

перед богом, волю которого он открыл; послушайте, как Кеплер в полном воодушевлении гимне возносит хвалу богу за то, что тот открыл ему простоту и величие плана, положенного в основание всемирного механизма; послушайте заявление Лейбница, величайшего человека в области науки, по выражению де Местра³, что если он придает цену научным трудам, то в особенности потому, что они дают ему право говорить о боге. Тогда вы признаете, что чем выше возносится наука, тем больше она приближается к религии, и что, наконец, научное вдохновение на высшей своей ступени сливается с вдохновением религиозным.

Мы сказали, господа, что для объяснения атеистических бредней науки нужно обратиться к критической философии. Попробуем определить происхождение этой философии, этого морального состояния общества, которое отнюдь не представляет собой нового явления в мире.

Уже в первых наших лекциях мы неоднократно показывали вам, как человечество последовательно проходит через органические эпохи и эпохи критические; в одни эпохи оно развивается регулярно под властью общего всем верования, к одной пламенно желаемой цели; в другие — все его силы уходят на разрушение принципов и учреждений, ранее управлявших обществом.

Мы заявили тогда, — не развивая дальше этой мысли, — что критические эпохи всегда

были иррелигиозными. Легко объяснить себе эту характерную для них черту.

Дело разрушения до сих пор всегда было специальным делом, вызывавшимся общественным недомоганием в данное время и предпринимавшимся без реорганизаторского плана, по крайней мере — без плана, пригодного для этой цели. Когда наступает пора критических эпох или эпох разрушения, то это свидетельствует о появлении новых фактов; это значит, что общество испытывает новые потребности, которых не допускают и не могут охватить слишком узкие и лишившиеся гибкости рамки установившегося верования и осуществляющих его политических учреждений. Между тем эти новые факты, эти требования будущего стремятся найти себе выход, занять известное место. Сначала они разбиваются о старый порядок, но путем повторных ударов им удается, наконец, пошатнуть его, а затем и опрокинуть. Общество представляет тогда картину ожесточенной войны, глубокой анархии, в атмосфере которой могут, по-видимому, развиваться одни только злобные чувства. Напуганные поражающей их сумятицей, не будучи еще в состоянии различить порядка, который должен установиться, испытывая только отвращение к отмирающему порядку, в котором они видят лишь долгий, гнетущий обман, люди скоро приходят к мысли, что мир отдан в жертву беспорядку, что он — игра случая, слепого рока. И вот в такой момент, когда все надежды, воодушевлявшие сначала на борьбу,

исчезают, после ряда бессильных попыток уловить новую гармонию, человек начинает с удовольствием созерцать все факты, как будто подтверждающие идею беспорядка. Если он устремляет свои взоры на прошлое человечества, если он изучает историю, то лишь с целью заставить ее поведать об убийствах и изменах; приписать действиям вероломные намерения; комбинировать свои примеры таким образом, чтобы будущее представлялось в совершенно безнадежном свете. Если же он обращается к окружающему его миру, то он хотел бы прежде всего лишить его жизни, он хотел бы третировать его как неорганический факт, как существование, лишенное нравственного содержания, т. е. не имеющее назначения. Но скоро предмет его наблюдений перестает быть для него даже искусным механизмом: повсюду он видит картину беспорядка и непредусмотрительности, и во всем, что его окружает, он усматривает общество, которое ему претит и оскорбляет его. И подобно тому, как история человечества представляется ему только в виде последовательного ряда кровавых революций, точно так же и природа начинает казаться ему лишь царством бурь, штормов, вулканов и наводнений⁴: везде он видит только беспорядок, и Мирабо или Байрон одни, по его мнению, говорят языком гениев.

Но, господа, когда человек доходит до такого морального состояния, являющегося необходимым следствием критических эпох, то

бог покидает его сердце, ибо бог и порядок для него два тождественных понятия. А раз бог исчезает из сердца человеческого, то из него уходит и всякая нравственность, ибо для человека нравственность существует лишь постольку, поскольку он сознает за собой известное назначение, сознавать же его он может только в боге.

Это горестное зрелище, наблюдаемое нами в настоящее время, представляется не впервые: нечто аналогичное являет нам эпоха, отделявшая язычество от христианства; разве уже одно это обстоятельство не дает основание надеяться, что на смену иссякшим верованиям католицизма скоро придут новые?

Мы сказали, что необходимым следствием критических эпох является ослабление, точнее — разрыв всяких нравственных связей. Мы ощущаем потребность объяснить свою мысль в этом отношении.

Раньше мы показали, что критические эпохи делятся на два отличных друг от друга периода. В начале таких эпох общество, примкнув под влиянием горячей веры, к разрушительным учениям, работает дружно над ниспровержением старого религиозного и общественного строя. В продолжение второго периода, охватывающего промежуток времени, отделяющий разрушение от созидания, люди, чувствуя отвращение к прошлому и неуверенные в будущем, не объединены более никакой общей им верой, никаким общим начинанием, То, что мы сказали об отсутствии нравствен-

ности в критические эпохи, должно пониматься как относящееся только ко второму из двух периодов, но не к первому: люди, фигурирующие в первом периоде, по известной непоследовательности проповедают ненависть, движимые любовью, подстрекают к разрушению, вообразая, что строят, вызывают беспорядок, потому что желают порядка, устанавливая рабство на алтаре, воздвигаемом ими в честь свободы. Преклонимся же, господа, перед этими людьми, пожалеем лишь о том, что на их долю выпала ужасная миссия, которую они выполнили с такой самоотверженностью, с такой любовью к человечеству; пожалеем их, потому что они были рождены для любви, а между тем, вся их жизнь была посвящена ненависти. Но не будем терять из виду, что жалость, которую они нам внушают, должна служить для нас уроком; что она должна усилить желания, укрепить надежды, привязывающие нас к лучшему будущему, в котором люди, умеющие любить, постоянно будут находить применение своей любви.

Нет, господа, люди, освободившие человечество от верований и учреждений, некогда благоприятствовавших его движению вперед, а затем начавших задерживать его,— эти люди не могли быть лишены нравственности. С той высоты, на которую ставит нас учение Сен-Симона, бросьте взгляд на жизненный путь людей, выполнивших в последний раз эту ужасную задачу; вы увидите, что, в конце концов, они только завершили дело, начатое

христианством, и засвидетельствовали делом свою веру в божественное слово, которое тысячу восемьсот лет тому назад возвестила рабам наступление общечеловеческого братства.

Мы показали, что науки не могут противопоставить религиозным идеям ни одного сколько-нибудь стоящего аргумента; что те аргументы, которые якобы черпаются в них, находятся в явном противоречии с их природой, с их назначением и с идеями, лежащими в их основе; что атеизм современных ученых должен быть приписан только влиянию критической философии и антипатиям, возбуждаемым ею против католицизма, а не их специальным трудам, как это принято утверждать. Но, разумеется, недостаточно отвести свидетельское показание, выставленное против религии от имени науки. В самом деле, каков бы ни был источник, из которого берет начало атеизм, нам могут противопоставить его просто как факт и спросить нас, возник ли он зря и не представляется ли он достаточно внушительным по числу и, в особенности, по авторитету людей, у которых мы его наблюдаем, чтобы служить доказательством невозможности нового религиозного будущего.

Нам известно, господа, что в наше время людям высшего порядка живая вера представляется не более как слепым фанатизмом, религиозные верования для них — только нелепое суеверие. Но нам известно также, что одновременно с тем, как эта перемена прои-

зошла в современных обществах, в них преобладает эгоизм; что благороднейшие чувства клеймятся в них каждый день названием предассудков. Нам известно еще, что, несмотря на труды филантропически настроенных экономистов⁵, огромное большинство человечества может видеть в меньшинстве только эксплуатирующих его празднолюбцев, а не защитников и руководителей, которые его поддерживают и руководят им. И именно потому, что все это нам известно, мы не теряем веры в религиозную будущность человечества. Ибо мы верим не только в возрождение, но и в рост общих симпатий, самоотверженности, ассоциации.

Несомненно христианские идеи утратили свою власть, и мы не станем пытаться скрыть этот факт указанием на то, что храмы еще и сейчас переполнены верующими. Но вы помните, господа, что когда на земле появился Христос, то языческая вера также пошатнулась в мире; что первые фамилии в Риме не позволяли уже своим дочерям исполнять обязанности весталок,— издавна составлявшие привилегию высшей знати, которая была так ревнива в этом вопросе,— и что для поддержания этого жреческого института еще в течение некоторого времени Августу пришлось особым указом допустить в него дочерей вольноотпущенников.

У нас также социальные верхи дезертировали из рядов духовенства, среди которого еще недавно встречались люди самых высоких

дарований. Ученики Вольтера насмеются над священниками, но разве Цицерон не насмеялся над авгурами? У нас имеются скептики, эпикурейцы, но римские последователи этих философских школ не уступали нашим. Мы обходим церковь, чтобы бежать в театр, и в этом отношении похожи на римлян, когда они устремлялись в цирк.

Но — быть может, скажете вы — у нас, по крайней мере, нет ни магов, ни колдунов, ни прорицателей, народ теперь не так легковверен, он отверг бы верования, которые могли быть приняты варварами.

Однако, когда мы говорим о будущем, то речь прежде всего идет не о верованиях, увлекших народы восемнадцать столетий тому назад, в особенности же — не о сохранении тех форм, в которые были тогда облечены эти верования. Затем — мы обращаем на это ваше внимание — несправедливо выдавать нас за людей, более маловерных, чем мы являемся в действительности: таких людей у нас достаточно изобилие. Вы говорите, у нас нет ни колдунов, ни магов, и вы заключаете отсюда, что мы не легковверены. Ложное заключение; этот факт доказывает лишь то, что колдовство и магия слишком грубые средства для обмана людей в наше время, что наше шарлатанство более высокого пошиба, наши жонглерские фокусы более искусны, более утонченны. И здесь, господа, у нас нет недостатка в примерах; мы могли бы показать вам достаточное количество подмоствок, кафедр и трибун,

которые обступает публика, постоянно повергаемая в изумление и нередко одурачиваемая. Мы могли бы сослаться на горячие убеждения по заказу, которые слишком часто дают повод принимать себялюбивого буржуа⁶ за самоотверженного гражданина. В вере у человечества никогда не бывает недостатка; никогда не придется возбуждать вопроса о том, расположено ли оно верить,— точно так же, как не придется спрашивать, может ли оно перестать когда-нибудь любить. В этом отношении важно лишь знать, кто те люди и идеи, которым оно оказывает доверие, каковы гарантии, которых оно требует, прежде чем довериться им.

Будьте уверены, господа, мы так же легковерны, как римляне. Будем краснеть за свое легковерие, если оно выдает нас с головой эгоизму, но возблагодарим бога за этот драгоценный дар, если именно под его влиянием мы доверчиво принимаем внушения самоотверженных чувств.

Таким образом, наше неверие не есть препятствие для появления новых религиозных идей; скорее они встретят препятствие в нашем легковерии.

Опровергая в первую очередь этот взгляд, мы не должны скрывать от себя, что существует другой взгляд, почти противоположный ему, который заслуживает рассмотрения и которым мы принуждены были пренебречь, когда доказывали несостоятельность первого. Нам могут сказать, что мы напрасно рисуем

нынешнюю эпоху антирелигиозными красками, что в обществе существует довольно много людей истинно и высоко благочестивых. И чтобы опровергнуть нас, воспользуются примером, который мы только что привели сами: нам укажут, что двери церквей осаждаются толпами верующих.

Что касается первой части возражения, то мы прежде всего ответим следующее: важное значение, которое мы придаем всему, что заслуживает названия религиозной системы, не позволяет нам приписывать такое значение более или менее мистическим созерцаниям, которыми поглощены в ущерб человечности несколько индивидов, составивших себе верования для личного пользования и забывших, по-видимому, благодаря усилию абстракции, что они не одни на свете. Если же речь идет о людях, привязанных еще к общеизвестным и сформулированным верованиям, к различным сектам католичества и протестантства, то мы скажем, что галликанские католики или яansenисты, ультрамонтаны или* иезуиты, протестанты лютеровского толка или кальвинисты, социниане, члены епископальной церкви или пресвитериане, индипенденты, квакеры, методисты и т. д. и т. п. объединены догматами, настолько незначительными в их собственных глазах, несмотря на ценность, которую они как будто придают им, что различия, существующие между этими догматами, хотя и совершенно разделяют их в сфере религиозных обрядов, не вносят, однако, никакого различия в их

частное или политическое поведение. Все они согласны не только между собой, но даже с атеистами в отношении фактов, наиболее интересующих человечество. Их мнимые религиозные верования имеют тенденцию скорее отделять их от общества, нежели привязывать к нему. Если, наконец, рассматривать эти верования только с точки зрения практической, т. е. моральной или политической, то они сводятся к подлинному атеизму. В самом деле, так как их религиозные взгляды имеют, так сказать, лишь чисто умозрительное значение, то в этом отношении они почти чужды обществу и — надо сказать — скорее отделяют их от него, чем объединяют с ним. Таким образом, они содержат скорее зародыш атеизма, чем являются выражением подлинно религиозного чувства.

Но мы обращаем ваше внимание на вторую часть выставленного нами возражения. Да, господа, храмы еще полны, и мы не станем останавливаться на том, какую часть из них составляют люди, демонстрирующие свою религиозность по соблазнам хорошего тона, от безделья или из расчета. Но не доказывает ли этот факт, насколько бессильны были претензии критики, когда она воображала, что может искоренить самую непреодолимую потребность человечества? Разве для достижения этой цели она не пустила в ход все средства, какими только могут располагать человеческие силы? Разве она не закрыла церкви? Разве она не заменила священное

писание всей библиотекой XVIII века? О, господа, если бы языческие храмы закрылись одним столетием раньше появления Христа, то греки и римляне скорее вернулись бы к фетишизму, чем стали бы жить без религиозных верований и без культа. Точно так же народы наших дней вернулись бы к многобожию, если бы им перестали проповедовать слово Христа. Мы поэтому смело заявляем вместе с вами: все, что в настоящее время не является атеизмом, есть невежество и суеверие. Но если мы хотим исцелить человечество от этой язвы; если мы хотим, чтобы оно отбросило верования и обряды, которые мы считаем недостойными его; если мы, наконец, хотим, чтобы оно покинуло средневековую церковь, — откроем ему церковь будущего. Будем готовы, как выражается де Местр⁷, к огромному событию в божественной области, к которому мы шествуем со все возрастающей быстротой, долженствующей поразить всех наблюдателей. Скажем подобно ему: на земле нет больше религии, человеческий род не может остаться в этом положении. Но мы, более счастливые, чем де Местр, не ждем больше гениального человека, о котором он пророчествовал и который, по его словам, должен открыть вскоре миру естественное сродство между религией и наукой. Явился Сен-Симон.

ВОЗРАЖЕНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРИТЯЗАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ НАУК НА ИРРЕЛИГИОЗНОСТЬ

Вопросы, которые мы будем сегодня разбирать перед вами, господа, настолько необычны для нашей эпохи, что люди, занимающиеся ими, кажутся чуждыми нашему просвещенному веку. Публика мало задумывается над тем, не потому ли эти люди ему чужды, что опередили его, и, надо сознаться, что она имеет справедливые основания считать с первого взгляда таких людей отсталыми.

Большинство препятствий, которые встретят с вашей стороны идеи Сен-Симона, зависят от причины, нам известной, так как мы сами долго находились под ее влиянием. Мы не ждем поэтому от окружающего нас собрания ни одного сколько-нибудь ценного возражения, которого мы не сделали бы сами, когда приступали к изучению доктрины Сен-Симона. Мы хотим попытаться излечить вас от предрассудков, которыми мы были когда-то сами глубоко заражены, быть может, больше других. Мы знаем, что это лечение, всегда трудное, становится невозможным, когда больной не доверяет знаниям врача. Следовательно, пока вы будете считать сен-симоновскую науку несостоятельной, пока вы будете иметь возможность обвинять нас в том, что мы представляем в ложном свете факты, слу-

жащие нам аргументами, нам придется всячески доказывать вам, что только точка зрения, на которой вы стоите, мешает вам хорошо видеть их; что лишь доктрина, под властью которой вы находитесь, обесцвечивает и тем самым искажает величественную картину развития человечества.

Мы можем быть довольны результатом наших собраний, продолжающихся уже шесть месяцев: после того как мы почти все их посвятили изложению нашего исторического метода и показали вам, каким образом будущее человечества можно читать в его прошлом, дискуссии достигли того пункта, когда вы стали в споре с нами пользоваться нашим же оружием. Вам известно теперь, что цепь человеческих судеб непрерывна; что будущее, каково бы оно ни было, может быть только развитием фактов прошлого; что только таким путем можно придать позитивный характер догмату совершенствования, который смутно предугадывали некоторые лучшие умы к концу прошлого столетия и в начале нынешнего. Наконец, вы убеждены, что всякое предвидение, которое не будет опираться на какую-нибудь строго доказанную тенденцию развития человечества, должно быть отвергнуто как плод больного, слабого и мечтательного воображения.

Повторяем, господа: этот первый результат наших усилий для нас чрезвычайно важен; вы располагаете теперь надлежащим орудием для исследования летописей человеческого рода, и

* Прочитана 1 июля 1829 г.

нам остается лишь обсудить с вами, каковы применения этого метода.

Заметьте, однако, господа, что подобного рода орудие показалось бы вам бесполезным и действительно являлось бы для вас таковым, если бы вы не были заранее убеждены, что почва, которую предстоит эксплуатировать, содержит золотую россыпь, т. е., что развитие человечества представляет постоянный прогресс. Вы не дали бы себе даже труда изучать таким способом прошлое, вопрошать таким образом историю, если бы не считали себя вправе заключить из факта возрастания богатства, имевшего до сих пор место, что трудами вашими будет открыта новая, еще более богатая золотоносная жила; если бы вы не чувствовали глубоко, что человечество не достигло предела своего прогресса; наконец, если бы вы не были проникнуты желанием и надеждой побудить его сделать еще шаг к своему счастью.

Но это еще не все: руководящее вами чувство было бы бессильно, орудие, которым вы владеете, было бы бесполезно, если бы вы не вносили известного порядка в свои труды, если бы вы подвигались в лабиринте истории наугад. Вам нужна путеводная нить, вы должны заранее знать, как классифицировать все лежащие перед вами материалы, чтобы разобрать, какие из них являются исчерпавшими уже себя участками земли и какие, напротив, должны привести вас к участкам, содержащим новые и более обильные богатства. Тогда

и только тогда вы будете шествовать вперед с одинаковым пылом и уверенностью.

Для достижения этой именно цели мы старались в первых своих лекциях показать вам, что если вы хотите понять человечество и узнать человека, то вы должны изучить его чувства, его рассуждения и действия. Переводя эти три термина, принятые во всех философских системах прошлого, на сен-симоновский язык, мы указали вам исторические факты, которые должны быть подвергнуты наблюдению; мы сказали, что следует изучить поэтическое или религиозное развитие человеческих обществ, теоретическое или научное, практическое или промышленное их развитие.

Изящные искусства, наука, промышленность — такова, следовательно, философская триада Сен-Симона, которую мы противопоставили триаде Платона: вот что отличает в наших глазах позитивную философию нашего века от так называемой метафизической философии, созданной более двух тысяч лет тому назад. Это различие, которое на первый взгляд может показаться не особенно значительным, в действительности, господа, огромно, ибо оно раскрывает перед нами тайну человечества, тогда как Платон предугадывал лишь "тайну человека, да и то несовершенным образом, потому что у него совершенно отсутствовал общий взгляд на отношения человека к человечеству в целом. Различие это огромно потому, что философия Сен-Симона должна послужить основой для общественной морали, тогда

как на философии Сократа, развитой Платоном, оказалось возможным построить лишь мораль индивидуальную, которая в течение 18 столетий не подвергалась совершенствованию и не может подвергнуться ему без нового воззрения на судьбы человечества.

Мы призываем вас поразмыслить над этой идеей, так как в последнем нашем собрании одно из сделанных нам возражений черпало всю свою силу в мнимом философском совершенстве платоновского учения, — учения, на которое, впрочем, справедливо смотрели как на зародыш, долженствующий скоро вдохнуть новую жизнь в христианство. Мы больше чем кто-либо преклоняемся перед Сократом и перед двумя мужами, разделившими между собой труд по разработке его учения. Но, сообщив нам, что они сделали для прогресса человечества, Сен-Симон показал нам также все, что осталось сделать после них¹. И со стороны человека, признающего, что только в наши дни социальная наука достигла так называемого позитивного состояния, было бы явным противоречием утверждать одновременно, что философские учения Греции остались непревзойденными. В самом деле, если такой переворот с точки зрения человеческого рода на факты, наиболее его затрагивающие, не был ни констатирован, ни даже предусмотрен Платоном, то не следует ли отсюда заключить, что это упущение, или, вернее, незнание, неизбежно должно было отразиться на анализе приемов человеческого духа, произведенном этим

философом, как и на его моральных, политических и религиозных воззрениях, тогда как моральные, политические и религиозные воззрения Сен-Симона должны свидетельствовать о влиянии новой концепции. Пусть не делают себе поэтому оружия против нас из высокого совершенства платоновского учения под предлогом того, что эта самая совершенная философская доктрина, какую мог создать человек, породила в своем развитии только христианство, и раз оно рухнуло, то нельзя больше ожидать либо опасаться для человечества появления новых религиозных верований. Нет, господа, Сен-Симон явился за тем, чтобы в нашей земле, взрытой переворотами последних трех столетий, посеять новое философское зерно, плоды которого соберут будущие поколения.

Когда мы заявляли, что надо изучать эмоциональное, научное и промышленное развитие человеческого рода, то, как вы должны были заметить, мы всеми силами старались стать на почву, на которой стоят в настоящее время люди, занимающиеся серьезными трудами. Мы не хотели начать изложение с применения исторического метода к ряду, изображающему эмоциональное развитие человечества: мы говорили с вами главным образом, можно сказать почти исключительно, о научных и промышленных достижениях общества и решились выразить прогресс в эмоциональной области лишь терминами: уменьшение эксплуатации человека человеком, рост духа ассоциа-

ции. Зная, что многие из вас возмутились бы против самого метода, если бы мы сразу представили те его результаты, которые наиболее задевают предрассудки нашего критического воспитания, мы не ощущали потребности произвести слово *религия*, чтобы произвести такое действие.

Сейчас, однако, вопрос, поднимаемый этим словом, должен быть решен: как бы вы лично ни относились к религиозным идеям, вы не можете не заметить при чтении истории, какое значительное место они занимают в развитии человечества; вы не можете скрыть от себя, что с этими идеями могут быть приведены в связь факты чрезвычайной важности и что факты эти образуют ряд, закон которого мог бы дать полезное указание на то, как представить себе в этом отношении будущность человечества. Вы сумели ведь открыть непрерывные достижения промышленного класса и ослабление военного духа и военных навыков; таким же образом вы можете доказать себе рост или ослабление религиозного чувства.

Но здесь, господа, является возражение, и если бы оно оказалось основательным, то мы были бы избавлены от необходимости терять время на рассмотрение неразрешимой проблемы. Нам скажут, пожалуй, что наблюдать можно только то, что входит в сферу наблюдения, религиозные же верования, будучи лишь более или менее изобретательными, подчас легковесными гипотетическими концепциями, плодом воображения, почти утратив-

шего свое значение, не могут подвергаться строгому научному рассмотрению и, следовательно, никогда не могут дать места установлению правильного ряда. Могут еще прибавить, что так как религиозное чувство есть удел людей слабого ума, то не столь важно знать, какую роль будут играть подобного рода люди, когда беспрерывно развивающееся просвещение и разум поставят их на надлежащее место, т. е. в последних рядах социального строя.

Заметьте, что такими безапелляционными отказами вступать в рассмотрение дела наши противники получили бы своеобразную привилегию— решать вопрос, хотя и заявляя на словах, что они не хотят его разбирать. Так ли уж доказано, например, что в прошлые времена людьми слабого ума были именно те, которые наиболее всего подвергались могучему воздействию религиозных идей? Не очевидно ли, напротив, что именно наиболее религиозные люди обладали силой, чтобы увлечь человечество по пути прогресса, по которому оно идет.

Но первое возражение кажется более правдоподобным; если религиозные идеи лежат вне сферы наблюдения, то зачем, в самом деле, стремиться наблюдать их? Что хотят этим сказать? Что представляют собой идеи, лежащие вне сферы наблюдения? Это вещи, которых нельзя ни видеть, ни осязать, ни обонять, ни слышать, ни пробовать на вкус, С этой точки зрения мы должны были бы

избавить себя от труда говорить обо всем прошлом. Нет, скажут: факты, поддающиеся наблюдению, это факты достоверные, не подлежащие оспариванию, потому что они происходят на наших глазах, либо подтверждаются неопровержимыми свидетельствами. Хорошо! Существует ли, например, что-либо более достоверное, нежели факты, представляемые словами: фетишизм, многобожие, христианство? Какие идеи мы можем изучить легче, чем идеи Гомера, Моисея, Святого Павла? Какое явление более реально даже для человека, у которого отсутствуют религиозные идеи, нежели существование известных индивидов, все счастье которых в этих идеях.

Предположите на мгновение, что вы не испытываете ни одного из тех чувств привязанности и любви, которые занимают так много места в жизни большинства людей. Вы представляете себе тем не менее, что вы вполне были бы в состоянии констатировать действие этих различных чувств на воодушевляемых ими индивидов. Так, например, из того, что музыка не доставляла бы вам никакого удовольствия, нисколько не следовало бы, что удовольствие, доставляемое ею другим, есть факт, не поддающийся вашему наблюдению. Все, что вы могли бы сделать в подобном случае,— это скорбеть о своей несовершенной, ненормальной организации, лишаящей вас множества наслаждений и сильных эмоций. Но вы не стали бы из-за этого отрицать, что чувство музыки в высшей степени поддается

наблюдению при посредстве производимых им действий, хотя само по себе оно на вас не воздействует. И в особенности вы воздержались бы от заявления, что этого чувства не существует.

Мы не требуем сейчас от вас, господа, восприимчивости к великой гармонии вселенной; для дела учета, для рациональной операции, которую нам надлежит проделать в отношении прошлого, это не является необходимым. Мы, напротив, предлагаем вам остаться холодными к религиозным идеям, заглушить в себе заблаговременно всякую симпатию, но и всякую антипатию к идеям этого порядка, ибо мы на первых порах не станем доискиваться того, действительно ли эти верования составляют счастье человечества, а только спросим, имеют ли они тенденцию исчезнуть, или же, напротив, при каждом из великих переворотов, пережитых человеческим родом, они все более распространяются и укрепляются. Впрочем (мы неустанно будем это вам повторять), в наши намерения не входит доказывать вам материальную реальность фактов, признаваемых теми или иными религиозными верованиями. Мы не желаем заставлять вас осознать предметы, которые будут возбуждать религиозные верования грядущих времен; мы не желаем, одним словом, доказывать существование бога; аксиомы не доказываются. Такие притязания были бы тем менее обоснованы, чем более мы удалились от идолопоклонства и чем более разви-

тым стало религиозное чувство. Мы не желаем даже в настоящий момент² доискиваться вместе с вами, какое выражение примут религиозные догматы будущего. Мы ограничимся констатацией исторических фактов, относящихся к последовательно сменявшимся верованиям человечества, чтобы вывести из них либо закон их исчезновения, либо, напротив, закон их прогрессивного роста.

Позднее, когда мы сделаем эту первую работу, когда мы покажем вам, что любое развитие человечества было отмечено развитием религиозных идей и по объему и по интенсивности; когда мы, сообразно историческому методу, сформулируем в этом отношении закон общественного прогресса; когда мы сможем, наконец, признать, что идеи эти имеют явную тенденцию еще больше распространяться,— тогда мы будем апеллировать к вам самим, к вашим собственным симпатиям. Если бы вы все-таки упорно продолжали считать, что подобные идеи губительны, что они составляют атрибут слабости и невежества, то в этом случае вам пришлось бы взять на себя смелость заявить, что человеческий род не обладает способностью совершенствования, а, напротив, с каждым днем все более приходит в упадок и вырождается.

Мы можем сказать заранее: такой вывод возмутит вас, господа, так как именно вследствие своего убеждения в совершенствовании человечества вы отвергаете религиозные верования, считая их несовместимыми с этой

идеей. Вы отказываете в них будущему поколению, что видите в них препятствие к большому развитию человеческих способностей,— не разобравшись предварительно в том, не являлись ли они всегда его мощным двигателем, притом во все возрастающей степени.

Нам следует, таким образом, заняться изучением этого вопроса. Мы увидим, действительно ли религиозное чувство являлось во все эпохи, когда человечество делало большие успехи и принимало новые социальные формы, самым сильным побудительным мотивом, предопределявшим действия, необходимые для этих преобразований. Мы одновременно исследуем и то, не возрастало ли это чувство в той же пропорции, что и самые действия, которые им вызывались; не была ли, например, христианская вера более сильной, более действенной и, следовательно, более цивилизующей, чем все предшествовавшие ей верования.

Поистине, господа, изложение этого вопроса не требует, как нам кажется, пространных доказательств. Мы не думаем, чтобы необходимо было детальное, всестороннее сравнение чувств христианина с чувствами язычника, даже с чувствами еврея или поклонника фетишей для признания того, что воля бога, открывшаяся через Христа, охватывала гораздо более обширную область явлений, нежели воля, открывшаяся через Моисея одному лишь народу, для того чтобы этот исключительно возлюбленный народ ею руководствовался. В особенности мы не думаем, чтобы

можно было хотя бы на миг усомниться в превосходстве религиозных идей, проповедуемых церковью, над идеями, которым учили жрецы божеств, бывших покровителями Трои. Афин, Спарты и даже Рима. Наконец, мы полагаем, что все легко согласится с нами, когда мы сравним бессильные старания Юлиана воскресить языческий культ с нынешними попытками вернуть католическому культу блеск и влияние, которые были ему присущи несколько столетий тому назад. Однако критические предрассудки так трудно искоренимы, что мы часто будем возвращаться к фактам прошлого, способным подтвердить только что изложенные нами положения.

Остановимся, однако, сначала на несколько мгновений на одной из основных идей нашего учения, — на идее, по поводу которой мы уже неоднократно беседовали с вами и использование которой здесь необходимо: мы имеем в виду разделение прошлого на органические и критические эпохи.

Это первое расчленение истории большинство из вас признает уже не только возможным, но и весьма полезным, даже необходимым для объяснения прогресса человеческих обществ, — прогресса постоянного, часто незаметного, но иной раз (правда, редко) проявляющегося также в яркой форме, в виде страшной борьбы между прогрессивными усилиями и ретроградным противодействием им.

Когда принимают такой догмат, то нельзя ограничиваться применением его к нескольким

изолированным фактам в истории развития человечества; его следует рассматривать как исходный пункт при всякой проверке взгляда на будущее. Так, например, когда мы стараемся решить вопрос о том, существует ли у человечества религиозная будущность, то мы заранее уверены, что, поскольку мы имеем в виду органическую будущность, мы должны искать свои доказательства во взаимосвязи органических состояний человечества. Действительно, уже в силу определения ясно, что так как всякая критическая эпоха имела целью разрушить предшествовавшую ей органическую эпоху, то все эти эпохи должны быть проникнуты атеизмом настолько же, насколько они проникнуты эгоизмом и вообще отрицанием всякой идеи порядка, поскольку они ставят себе задачей бороться против принципов благочестия, самоотверженности, долга (все эти слова одного происхождения)³, служивших связующим началом в обществе, которое они хотят разрушить.

Из сделанного нами сопоставления вы должны усмотреть, господа, как много ошибок рисковал бы совершить тот, кто пренебрег бы различием этих двух, столь неодинаковых состояний человечества. И подобное упущение действительно никогда не имеет места даже со стороны людей, совершенно чуждых нашему учению. Посмотрите, в самом деле, как европейские общества в течение трех столетий с симпатией обращают свои взоры к Греции и Риму, презрительно обходя средние века

XVIII век вел войну с христианством, поэтому вполне естественно, что источником, откуда он заимствовал свои примеры и черпал свои силы, были общества, в которых угасало многобожие; что критицизм был для него нормальным, здоровым состоянием человечества, а органическое состояние последнего — его недугом. Различие, существующее между философами XVIII столетия и нами, зависит, следовательно, не от деления жизни человечества на два состояния, а от нашей точки зрения на эти два состояния. Отвлечемся, однако, господа, как говорит один из учеников Сен-Симона⁴, от преимуществ и неудобств будущей системы; в данный момент главным, единственным вопросом будет для нас (как он всегда был для него) следующий: если исходить из наблюдения над прошлым, то какова та социальная система, которая ходом цивилизации предназначена для того, чтобы утвердиться теперь? Мы оставляем за собой право прибавить вскоре, как это немедленно сделал тот же ученик Сен-Симона, в формулировке которого мы изменяем, однако, один из терминов, — что если новая система должна быть проверена (а не определена, как говорит Конт) в этом духе, то это не значит, что в такой именно форме она побудит общество к окончательному ее принятию. Ибо эта форма была бы бессильна дать отпор эгоизму, ставшему преобладающим вследствие разложения старой системы; ибо человечество необходимо вырвать из охватившей его апатии;

ибо необходимо, одним словом, возбудить в массах страсть для того, чтобы организовать их. Повторяем, следовательно: в данный момент нас мало интересует, находится ли человечество накануне выздоровления или, напротив, оно собирается заболеть; мы хотим лишь открыть, как станут функционировать его органы в будущем, и потому мы не станем пока беспокоиться по поводу более или менее счастливого жребия, уготованного ему. Здоровое или больное, это существо будет выполнять известные функции, и эти-то функции и требуется предусмотреть для того, чтобы прибегнуть к лекарствам, как и для того, чтобы предписать правила гигиены.

Как видите, чтобы стать на почву сделанных нам возражений, мы по возможности отрешаемся на мгновение от всякой симпатии к органическим эпохам и от всякой антипатии к эпохам критическим. Мы не будем ни религиозными, ни атеистами, ни самоотверженными, ни эгоистами, но мы требуем от вас, господа, такого же отрешения от ваших чувств, такого же беспристрастия. Постарайтесь отвлечься настолько, чтобы сохранить в себе только одну из человеческих способностей, свести себя на один миг только к роли пассивных орудий наблюдения. Забудьте, что вы любите больше философию и политику греков и римлян, нежели философию и политику церкви и феодализма. Постарайтесь остаться беспристрастными судьями между де Местром и Вольтером; рассмотрите только, не предве-

щает ли нам весь ход прошлого близкое примирение между гением этих великих людей, подобно тому как благодаря христианству совершилось примирение между последователями Катона и Юлиана и последователями Эпикура и Лукреция. Другими словами, посмотрите, не стоим ли мы (по выражению Балланша) у конца одного из тех палингенетических кризисов, когда совершается переход от исчерпавшей себя критической эпохи к новой органической эпохе, т. е. к эпохе, когда общество, уставшее жить без нравственной связи, открывает новую связь, более крепкую, чем та, которую оно разрушило, и этой новой связи мало-помалу соглашается подчиниться сама критика⁵.

Но, господа, против нас выставляют еще одно возражение, и мы должны поспешить ответить на него прямо, так как, будучи основано, по видимости, на строгом применении метода Сен-Симона к изучению развития человечества, оно грозит разрушением всем нашим предвидениям относительно будущей религии.

Прежде всего поздравим себя еще и с тем, что наши противники ссылаются на нашего учителя. Блаженный Августин также заметил в свое время, что языческие философии, становясь под знамя Христа, все еще наносили последние немногие удары церкви; при помощи одной, отдельно взятой и, следовательно, неправильно понятой части христианского учения нападали на все это учение в целом, подкапывались под его единство; у

христиан не было уже противников-философов, когда они продолжали еще громить ереси. Мы сможем считать нашу задачу далеко продвинувшейся вперед, когда нам останется лишь вести борьбу с поклонниками гения нашего учителя, с последователями его учеников.

Нам заявляют, что социальная наука, достигшая благодаря Сен-Симону позитивного состояния, совершила, таким образом, шаг, который все науки сделали уже до нее. К этому прибавляют, что все науки в действительности пережили сначала теологическое состояние, затем метафизическое и постепенно пришли к позитивному состоянию. В первом случае человек связывал явления при помощи сверхъестественных причин; во втором — он объединял их путем олицетворенных абстракций, которые не были уже вполне сверхъестественными, но не были еще также и естественными. Наконец, наступает позитивное состояние, когда факты связываются соответственно идеям или законам, подсказываемым и подтверждаемым самими фактами. Отсюда делают заключение, что теология должна исчезнуть в будущем когда не станут больше признавать бога⁶.

Прежде чем рассмотреть, обосновано ли это возражение исторически, — что мы допускаем с известной оговоркой, — взвесим как следует, господа, значение слов, посредством которых оно выражено. Так, например, что такое идеи, подсказываемые фактами и ими проверяемые? Если, как мы сказали выше, вы видите рели-

гиозного человека или религиозный народ, то разве этот факт не подсказывает вам идеи: вот люди, которые верят в бога? И если вы хотите проверить эту идею, то разве факты или люди, подсказавшие ее вам, не находятся налицо, чтобы засвидетельствовать ее?

Далее, что такое сверхъестественные причины и причины естественные? Если вера в бога заставляет действовать человека, нацию, все человечество, то хотя бы вы даже не разделяли этого верования, разве оно не будет казаться вам совершенно естественной причиной множества актов? Покажется ли оно более сверхъестественным, чем самое грубое вожделение, чем электричество, чем притяжение?

Теперь бросьте взгляд на прошлое, не выступает ли в нем человек как существо в высшей степени религиозное? Существует ли более позитивный факт, чем этот? Разве это не общий, весьма естественный факт, наилучшим образом объясняющий, координирующий все поступки, позволяющий наилучшим образом связывать их между собою?

Но, господа, тройственное деление научного развития, весьма точное, когда оно заключено в известные границы, которые мы сейчас установим, представляется ложным и неполным, когда его применяют для того, чтобы с его помощью нас опровергнуть. Мы утверждаем также, что наука (обозначая этим названием совокупность человеческих знаний) проходит через три крупных состояния. В первом из них она представляет боспорядочное соеди-

нение разрозненных явлений; каждый факт находит объяснение, основание, причину в себе самом. Во втором наука состоит из более или менее многочисленных групп фактов, подчиненных различным законам, но независимых друг от друга и почти всегда находящихся во взаимной борьбе. Наконец, третья представляет собой полную ассоциацию всех поддающихся наблюдению фактов, подчиняющуюся единому закону. Другими словами, мы признаем, что наука одновременно с человечеством проходила через состояние фетишизма, политеизма и монотеизма. Эта точка зрения на ее прогресс приложима к развитию человеческого рода, начиная от самых отдаленных времен до наших дней.

Напротив, классификация, противопоставляемая нам, приложима только к одному данному состоянию цивилизации: она объясняет только умственное движение человечества при переходе от органической эпохи к следующей за нею критической эпохе, да и то еще необходимо видоизменить словесную форму, в которой она представлена. Классификация эта указывает шаги, которые делает наука с того момента, как, отвергнув не включающий ее догмат, т. е. догмат, из которого она не исходит, она понемногу сбрасывает с себя отсталую теологию и подготавливает материалы для нового догмата. Таким образом, можно сказать, что в каждую органическую эпоху наука носила теологический характер, ибо она разрабатывалась в храмах священниками. Каждый

раз, когда люди вне храма, а часто даже и в храме, начинали протестовать против старых верований, наука становилась частью теологической, частью атеистической, она делилась на науку священную и науку мирскую. Наконец, когда анархия, разъедавшая церковь, существовала также в Академии, т. е. когда единая наука исчезала, а оставались только отдельные науки, тогда наука становилась полностью атеистической, и название негативной подходило бы к ней больше, нежели название позитивной.

В таком состоянии находятся в настоящее время человеческие познания; они точно так же пришли к этому состоянию в эпоху, когда Лукреций дал свое механистическое мировоззрение, в эпоху, когда Аристотель создавал вне политеизма энциклопедический труд, в котором все науки были, так сказать, материально соединены вместе, но не объединены.

Эти две точки зрения на развитие науки приложимы, как видите, к двойному аспекту, в котором нам представляется человечество. Мы можем наблюдать, как оно через всю череду веков переходит от идеи множественности причин к идее единой и бесконечной причины, но, с другой стороны, мы видим также, что для осуществления этого длительного развития оно останавливается на известных верованиях, затем мало-помалу покидает их, чтобы усвоить вскоре новые. В чередовании религиозных и иррелигиозных эпох наука, представляющая только одну из форм бытия человека, следо-

вала за этим движением; она переходила от теологии к атеизму, от чистого синтеза к одному анализу, от неполного и временного порядка к еще менее прочной анархии. Если не считаться с этим двойным аспектом, то легко можно смешать чередующиеся факты с фактами, постоянно прогрессирующими; поместить в один и тот же ряд разнородные факты; принять временный прогресс, вызванный критикой, за факт, имеющий тенденцию к возрастанию, тогда как на деле ему предстоит совершенно исчезнуть в следующую эпоху.

Мы употребили только что два слова — *синтез* и *анализ*, напоминающие еще об одном сделанном нам возражении, опровержение которого послужит для развития предшествующих идей. Вооружившись опять-таки Сен-Симоном, нам цитируют следующее место из «Нового христианства»: «Со времени установления христианства до XV столетия человечество занималось главным образом [запомните это выражение, господа] координацией своих общих чувств, установлением всеобщего и единого принципа и основанием общего учреждения, имеющего целью поставить аристократию талантов над аристократией происхождения и таким образом подчинить все частные интересы общему интересу. В течение всего этого периода пренебрегали прямыми наблюдениями над частными интересами, над отдельными фактами и принципами вторичного характера. Среди мыслящих людей они были обесславлены, и по этому

вопросу составилось преобладающее мнение, что второстепенные принципы должны выводиться из общих фактов и из всеобщего принципа,— мнение, верное лишь в чисто умозрительном смысле, ибо человеческий интеллект не обладает средствами установления общих положений, достаточно точных для того, чтобы из них можно было вывести как прямые следствия все частные положения».

Остановимся здесь на мгновенье, ибо слова в *чисто умозрительном* дали повод к серьезной ошибке: да, господа, утверждать, что все частные факты следует логически выводить из общего принципа, значит выражать чисто умозрительное мнение, ибо при таком методе все, что человечество успевает сделать теперь в один день, не было бы выполнено во веки веков. Это мнение остается умозрительным до тех пор, пока оно не выступает рядом с другой идеей, поэтому Сен-Симон спешит развить значение этой второй основной идеи, дабы выяснить затем необходимость одинакового использования в будущем той и другой. Вот что он говорит далее:

«С тех пор как европейская духовная власть начала разлагаться [результат лютеровского мятежа, т. е. начиная с XV столетия], человеческий дух оторвался от самых общих воззрений, он занялся деталями, занялся анализом частных фактов, принципов вторичного порядка, частных интересов различных классов общества... В течение этого периода установилось мнение, что соображения,

касающиеся общих фактов, общих принципов, общих интересов человеческого рода, являются лишь туманными и метафизическими соображениями, которые не могут эффективно способствовать успехам познаний и совершенствованию цивилизации».

Таким образом, человеческий дух с XV столетия пошел в направлении, противоположном тому пути, каким он следовал до этой эпохи. И спора нет — важные и позитивные успехи, получившиеся в результате во всех областях наших знаний, неопровержимо доказывают, насколько ошибались наши средневековые предки, когда не видели большой пользы в изучении частных фактов и принципов вторичного порядка или в анализе частных интересов.

«Но (обратите, господа, внимание на это но) столь же верно и то, что для общества получилось очень большое зло от заброшенности, в которой оказались с XV века труды, изучавшие общие факты, общие принципы и общие интересы. Эта заброшенность породила чувство эгоизма, которое стало преобладать среди всех классов и у всех индивидов. Став преобладающим среди всех классов и всех индивидов, это чувство облегчило Кесарю возможность вернуть себе часть политического влияния, которое он утратил до XV столетия. Этому эгоизму и следует приписать политический недуг нашей эпохи,— недуг, от которого страдают все полезные обществу работники; недуг, благодаря которому короли

поглощают значительную часть заработка бедняков на свои личные затраты, на расходы своих придворных и своих солдат; недуг, вследствие которого королевская власть и родовая аристократия извлекают громадную выгоду от почета, полагающегося ученым, художникам и людям, возглавляющим промышленный труд, в награду за непосредственные положительные и полезные услуги, оказываемые ими общественному организму».

Какой же вывод делает Сен-Симон из этого широкого взгляда на средневековье и на три последних столетия критики? А вот какой:

«Весьма желательно поэтому, чтобы труды, имеющие своей задачей совершенствование наших познаний относительно общих фактов, общих принципов и общих интересов, были поскорее возобновлены и пользовались отныне покровительством общества наравне с трудами, которые имеют своим предметом изучение частных фактов, принципов вторичного свойства и частных интересов».

Как видите, идея Сен-Симона есть именно та, которую мы только что изложили вам, когда говорили об органических или религиозных состояниях науки в прошлом и о ее критических или иррелигиозных эпохах. То, что Сен-Симон говорит здесь о средних веках и об их критике, одинаково применимо к римской республике и к империи, к древним верованиям Греции и к их критике, развившейся при Перикле. Точно так же его идея охватывает времена расцвета моисеева закона и эпо-

ху, когда евреи разделились на фарисеев, садуккеев и ессеев. Этот переход об общих фактов к частным, от общих принципов к принципам вторичного свойства, от общих интересов к частным на протяжении всего прошлого совпадает во всем с переходом от религии к атеизму. И наука, которая представляет не что иное, как продукт одной из способностей человечества, никогда не была чужда этим сменам, постоянно формулируя их на своем языке словами *синтез* и *анализ*.

Нам известно теперь благодаря Сен-Симону, в чем заключалась полезность этого чередующегося движения. Мы знаем, что если созерцание общих фактов или склонность к обобщениям является только туманной, чисто умозрительной метафизикой, то это происходит лишь в случае пренебрежения частными фактами, следовательно, будущее должно избегать в этом отношении ошибок средневековья. Но нам известно также, что анализ порождает неурядицу, когда он относится пренебрежительно к общим фактам, я навыкам обобщения, без которых все эти труды представлялись бы лишь огромным хаосом. Будущее должно, следовательно, избегать также опасностей критики, господства эгоизма. Благодаря Сен-Симону мы отчетливо осознаем причину прогресса человечества; следовательно, от нас зависит построить будущее на таких основаниях, чтобы этот прогресс совершался регулярно и непрерывно.

Мы надеемся, что уяснили вам непра-

вильность, которую заключают в себе эти три термина — теологический, метафизический, позитивный, когда их применяют к трем состояниям науки,— как в том случае, когда имеется в виду ее полное развитие, от возникновения общества вплоть до нашего времени, так и в том, когда рассматриваются только те видоизменения, которые она испытывала каждый раз, когда само человечество целиком преобразовывалось, возрождалось. Выражаясь самыми общими терминами, наука была, подобно роду человеческому, фетишистской, политеистической и монотеистической; затем вторично при всяком совершенствовании общей идеи она была религиозной, полурелигиозной и полуатеистической и, наконец, совершенно атеистической. Как вы легко должны заметить, ни одна из этих двух формул не может привести к заключению, что у человечества нет религиозной будущности. Напротив, они самым положительным образом подтверждают наши предвидения: одна — так как от фетишизма к монотеизму очевиден рост религиозного чувства как по интенсивности, так и по объему, другая — так как, если наука носит теперь атеистический характер, то мы должны приписывать этот факт исключительно критической эпохе, в которую мы живем. И если верить опыту прошлого, то эта эпоха возвещает нам близкое наступление такого общественного состояния, когда наука снова примет религиозный характер, который она всегда имела в органические эпохи.

Если разъяснения, которые мы сочли необходимым дать этим идеям, вследствие своей обширности помешали вам тотчас уловить их существо, то мы призываем вас обратить внимание на более точную форму, которую мы сейчас придадим им, чтобы резюмировать их.

Во все органические эпохи наука имеет теологический характер, ибо все научные открытия исходят из храма.

Когда миряне (мы обозначаем этим названием всех, кто не принадлежал к жреческой касте в древности, как и тех, кто не входил в состав духовенства в средние века) двигают вперед науку, и церковь не усваивает их открытий, т. е. когда духовенство не сосредоточивает в своей среде всех светочей человеческого ума, тогда науки принимают смешанный характер атеизма и религиозности. Такого рода эпохи можно по справедливости назвать суеверными, ибо это те эпохи, когда сами священники впадают в невежество и увлекают за собою массы, тогда как ученые, подчиняясь игу некоторых старых верований, не вполне еще вносят атеизм в область науки.

Наконец, наступает день, когда философские научные кафедры, воздвигнутые первоначально под покровительством священной кафедры, осмеливаются открыто восстать против нее. Тогда последняя становится безгласной; из храма не исходит больше ничего, кроме устарелых догматов, которые встречаются насмешками, как только они осмеливаются показаться в своем старомодном наряде.

Повторяем, эти три столь различные аспекта науки и духовенства можно наблюдать не только в течение последних столетий: то же явление уже имело место до христианства, и верховные жрецы и сивиллы политеизма, раввины Иудеи, как и друиды и барды, уже давно перестали чему-нибудь учить народ когда христианская церковь взяла в свои руки оставленную ими миссию. Их научное влияние было давно уничтожено, языческое духовенство было, подобно нашему, давно низложено с престола учеными, философами и атеистами, когда новое духовенство, сразив атеизм его собственным оружием и взяв в свои могучие руки и науку и философию, привело их в новое святилище. Отсюда они стали скоро изливать на весь мир, но главным образом на рабов, свет, скудные лучи которого в свое время распространял александрийский музей только на юных бездельников Рима и Греции.

*Л е к ц и я п я т н а д ц а т а я **

**ОТСТУПЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ СОЧИНЕНИЯ
УЧЕНИКА СЕН-СИМОНА ОГУСТА КОНТА,
ПОД НАЗВАНИЕМ «ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ
КАТЕХИЗИСА ПРОМЫШЛЕННИКОВ»¹**

На одном из наших последних собраний, господа, против нас сослались на авторитет одного из учеников Сен-Симона, который в

опубликованном его учителем труде научно изложил некоторые части сен-симоновского учения. Нам были противопоставлены некоторые, без сомнения весьма замечательные цитаты и выражен от имени Конта, как и от имени самого Сен-Симона, протест против религии будущего, которую мы вам возвещаем, — мы, ученики того же учителя, слышавшие сами, как он на своем смертном одре раскрывал наиболее разностороннюю свою идею — идею нового христианства.

Труд Огюста Конта, о котором у нас еще не было случая беседовать с вами, служил для некоторых из нас введением в учение Сен-Симона; кто может, таким образом, больше нас оценить его значение? Если рассматривать его с той точки зрения, на которую стал автор при его составлении, т. е. если исходить из стремления построить политическую науку на тех же основаниях, на каких покоятся ныне науки наблюдательные, то с ним не может сравниться ни одна из попыток этого рода, ни один опыт, вышедший из-под пера настоящего ученого.

Но если мы ставим своей задачей, исходя из той точки зрения, на которую нас поднял Сен-Симон, связать воедино все науки при помощи новой общей концепции, вырвать их из состояния обособленности и эгоизма, в котором они погрязли, и вместе с ними — людей, их разрабатывающих; если, рассматривая прогрессивное шествие человечества одновременно в трех его аспектах — изящных

* Прочитана 15 июля 1829 г.

искусств, науки и промышленности, мы пламенно желаем познать и осуществить на земле всемирный порядок,— тогда человек, который всецело поглощен своей любовью к науке и при изложении истории человечества почти забывает говорить о развитии его симпатий, кажется нам стоящим на совершенно второстепенной точке зрения. И если этот человек, еще более ослепленный своим пристрастием к рациональным трудам, хочет лишить грядущие времена того, что составит их счастье и славу; если он старается доказать, что самоотверженность будет подчинена холодному расчету, что воображению будет дан полет лишь с разрешения медлительного, отсталого разума, что слова будут сходить с уст поэта лишь после того, как будут комментированы, взвешены, искромсаны метром, весами, скальпелем науки, то мы заявляем: этот человек — ересиарх, он отрекся от своего учителя и в лице своего учителя отрекся от человечества².

Повторяем, всё же, господа, нас радует, что возражения против нашего учения становятся, наконец, на ту почву, через которую прошли некоторые из нас прежде чем прийти к нашему учителю; это радует нас потому, что после этого первого шага вам легче будет определить, на чьей стороне единство учения и на чьей стороне ересь.

Приведем сначала возражение; оно сформулировано следующим образом:

У человечества нет религиозной будущно-

сти, ибо сам Сен-Симон сказал устами своего ученика О. Конта, что так как все науки прошли последовательно через три состояния—теологическое, метафизическое и позитивное, которое является их окончательным состоянием, то такой же процесс должна проработать наука об общественных явлениях; таким образом, социальное будущее будет совершенно освобождено от всякой теологии.

Допустить противное, говорят далее, значило бы бессознательно стремиться к попятному движению. Это значило бы вернуться при посредстве религиозных идей к исходному пункту и сделать неизбежным возврат критической эпохи, от которой все мы страдаем в настоящее время и из которой так желательно выйти, ибо история показывает нам, что все теологические эпохи обречены на то, чтобы подвергнуться критике последующих эпох.

Вот что сказал О. Конт по этому поводу:

«Согласно самой природе человеческого ума, каждая отрасль наших знаний непременно должна пройти последовательно в своем движении через три различных теоретических состояния: теологическое, или фиктивное, метафизическое, или абстрактное, наконец, научное, или позитивное.

В первом состоянии для связывания многочисленных изолированных наблюдений, из которых состоит в то время наука, служат сверхъестественные идеи. Иными словами, наблюдаемые факты объясняются, т. е. рас-

считаются а priori на основе вымышленных* фактов. Таково по необходимости состояние всякой науки, пока она еще не вышла из младенческого возраста. Как бы несовершенно оно ни было, это единственный возможный в ту эпоху способ связывания. Он, следовательно, дает единственное орудие, при помощи которого можно рассуждать о фактах и оказывать поддержку деятельности ума, всего более нуждающейся в каком-нибудь связующем пункте. Словом, оно необходимо для того, чтобы стало возможно дальнейшее движение.

Второе состояние имеет лишь одно назначение -- служить средством перехода от первого к третьему. Оно носит смешанный характер; оно связывает факты согласно идеям уже не вполне сверхъестественным, но еще и не вполне естественным. Одним словом, эти идеи представляют собой олицетворенные абстракции, в которых ум может по желанию усматривать либо мистическое название для сверхъестественной причины, либо абстрактное выражение простого ряда явлений, — смотря по тому, стоят ли они ближе к теоло-

* Если бы Конт заметил, что указываемое им явление встречается даже в самой позитивной науке каждый раз, когда в эту науку вводится сначала в гипотетической форме новая концепция, то все его заключения против того, что он именует теологическим, или фиктивным состоянием, рушились бы, ибо гипотеза всегда есть первый шаг, который приходится сделать, чтобы приступить к каждой новой координации фактов.

гическому состоянию или к состоянию научному. Это метафизическое состояние предполагает, что факты, ставшие более многочисленными, начали вместе с тем сопоставляться согласно более широкому аналогиям.

Третье состояние есть окончательная форма всякой науки, так как первые два имели своим назначением лишь постепенную его подготовку. Факты связываются тогда совершенно общим идеям или законам всецело позитивного свойства, подсказываемым и подтверждаемым самими фактами; часто даже это не более как простые факты, достаточно общие, чтобы стать принципами. Эти идеи или законы всегда стараются свести к возможно меньшему числу, никогда не внося в них воображением ничего гипотетического, что нельзя было бы когда-нибудь проверить путем наблюдения, и рассматривая их во всех случаях только как средство для общего выражения явлений.

Если мы будем рассматривать политику как науку и применим к ней предшествующие замечания, то найдем, что она прошла уже два первых состояния и готова теперь достигнуть третьего»³.

Ту же мысль О. Конт выражает в другой форме:

«В первых двух состояниях всякой науки воображение господствует над наблюдением. Позитивное состояние, составляющее их конечную цель, отличается тем, что воображе-

ние играет в нем лишь подчиненную роль по отношению к наблюдению».

Сопоставляя эту мысль с приведенной выше идеей автора относительно законов, служащих в каждой науке для координации наблюдаемых фактов, приходишь к заключению, что в области человеческого познания окончательно приемлемы только факты, исследованные путем наблюдения (точнее было бы сказать — установленные путем эксперимента); для воображения здесь не остается иной роли, кроме изобретения более или менее удобных номенклатур или таких фактов, которые могут временно служить принципами, но должны когда-нибудь быть сами проверены путем наблюдения.

Это последнее выражение идеи О. Конта достаточно хорошо показывает, на какой ступени находятся теперь ученые в своих философских концепциях; в сказанном легко убедиться, пробегая предисловия к основным из появившихся в последнее время сочинениям по различным физическим теориям.

Что означает, однако, — проверить когда-нибудь принцип или гипотезу, допущенные временно? Если бы только утверждали, что гипотеза и вытекающая из нее теория будут поколеблены в тот день, когда новые факты, подвергшиеся наблюдению, покажутся противоречащими ей, и что, исчерпав тогда все способы обоснования, допускаемые этой теорией в различных ее применениях, придется заняться открытием более общей теории, соз-

данием более широкой гипотезы, — то не было бы ничего более верного и более согласного со всеми фактами, свидетельствующими о прогрессе человеческого знания, как и с самой природой умственных процессов в индивидууме. Но если этим хотят сказать, что подвергшиеся наблюдению факты могут связываться только при помощи принципа, который когда-нибудь поддастся проверке таким же образом, как и самые факты, которые им руководствуются (а именно в этом Конт видит различие между естественными и сверхъестественными принципами), то невольно смешивают область опыта с областью наблюдения, сводят, в конце концов, достоверность к непосредственному и внешнему ощущению и находят возможным связывать между собой, хотя бы временно, лишь те факты, которые поддаются эксперименту.

Так, например, вместе со всеми учеными мы полагаем, что явления морского прилива и отлива вызываются комбинированным действием солнца и луны; и действительно, при помощи этого положения приходят к формулам, содержащимся в небесной механике. Но разве не очевидно, что эту гипотезу никогда нельзя будет проверить таким же образом, например, как высоту прилива в Брестском порту в определенный день?

Не то ли самое приходится сказать о движении земли, — открытие которого вызвало столь сильную тревогу в среде духовенства, находившегося в периоде упадка, и авторитет

которого пошатнулся уже более столетия тому назад. Опыт доказывает, что эта гипотеза применима к фактам, происходящим на наших глазах, но может ли сама гипотеза быть предметом эксперимента?

Не приходится ли, в особенности, сказать то же о наблюдениях над различными состояниями человеческого общества, переданных нам прошлым? И если мы находим в нескольких пунктах земного шара аналогии этих исчезнувших состояний, ныне не поддающихся проверке, то должна ли такая аналогия, принимаемая нами с целью облегчения для себя усовершенствования человеческих отношений, быть отвергнута только потому, что ее нельзя проверить путем наблюдения?

По мере того как область всякой науки расширяется и выходит за пределы непосредственного опыта, концепция, служащая для нее объединяющей связью, становится все менее доступной проверке в позитивном значении этого слова. Что же касается ее временного характера, то эта временность ступает, в свою очередь, перед обширностью и общностью фактов, охватываемых гипотезой,— обширностью и общностью, которые становятся беспредельными тогда, когда ни одна наука не понимается изолированно, когда все науки сходятся к одному догмату, указывающему место каждой из них, когда все явления неодушевленного и одушевленного мира представляются связанными общим назначением. Тогда высшая гипотеза становится

первейшей из аксиом, и человек говорит: Бог существует.

Прежде чем продолжить изложение, необходимо в особенности подчеркнуть, что гипотеза, без которой нельзя обойтись при рассуждении о подвергшихся наблюдению фактах, есть всегда концепция, предшествующая рассуждению*, а не следующая за ним, каков бы ни был ее характер в прочих отношениях.

Рассуждать о подвергшихся наблюдению фактах можно только при помощи предварительно допущенной идеи, с которой или при посредстве которой их хотят сравнить; доказать стараются только те теоремы, которые поставили перед собой.

Таким образом, различные состояния науки характеризуются не тем местом, которое в данную эпоху занимает в ней гипотеза по отношению к наблюдению, а характером самой гипотезы. Каждая наука имеет своей тенденцией относить все факты охватываемой ею специальности к одному принципу, т. е. к одной гипотезе, при помощи которой эти факты координируются. Таким образом, либо все эти специальные гипотезы связываются с одной общей гипотезой, по отношению к

* Мы говорим «предшествующая рассуждению, а не наблюдению», ибо во все времена восприятие фактов, иначе говоря среда, в которой мы живем, есть, конечно, неперемное условие появления гипотез, рассуждений, как и поступков; но не в этом заключается трудность (см. третью лекцию).

которой они занимают подчиненное положение; они являются тогда разными выражениями общей гипотезы, служащей догматом, т. е. фундаментом для общей науки, для человеческого знания; они отражают ее на различных путях, которые должен пробегать ум человека для того, чтобы наиболее индивидуальные работы направлялись всегда к социальной цели. Это и происходит во все органические или религиозные состояния человечества. Либо, напротив, существующая в обществе анархия проявляется и в научной области; древо науки умирает; все его ветви отваливаются от ствола, дававшего им жизнь; у обособленных специальных наук нет более объединяющей их связи. Точно так же обособляются и ученые; они не осуществляют больше общих трудов, требующих содействия множества усилий; ими, наконец, овладевает эгоизм, так как они перестают сознавать, что у всех их есть общее назначение; каждая специальность все больше дробится; сколько людей, столько систем, и, следовательно, нет никакой науки. Точно так же и в другом аспекте,—сколько людей, столько религиозных верований, следовательно, нет никакой религии.

В органические эпохи, заявляем мы, все науки связаны с общей наукой, с догмой; такова, по крайней мере, тенденция научного развития человечества. Но догмы, сменявшие доньше друг друга, были ступенями развития, так как только через Сен-Симона чело-

вечество приобретает сознание своих судеб. В результате из всех этих последовательно сменявшихся догматов ни один не обладал всей общностью, универсальностью, какую он принимает теперь. Хотя каждый из них властвовал над умами достаточно долгое время для того, чтобы общество под его покровительством смогло осуществить новый шаг вперед, ни один не сумел охватить и направить не предусмотренные его законом факты, целые науки, развившиеся вне обитаемого им храма. И мы видим, как в области общих верований вскоре начинается смятение, и устаревший уже догмат не в состоянии более внести в них успокоение, ибо они идут впереди него в неисследованной им области. За смятением следует сопротивление, ненависть, борьба, и в этой борьбе нападающие опять-таки объединяются сначала под знаменем новой гипотезы, но гипотезы анархической; атака на защитников старого догмата ведется под влиянием чувства независимости. Тем временем происходит раскол между учеными, приверженцами атакуемого догмата, и учеными, объединяющимися под знаменем независимости. Так поднимает знамя мятежа неистовый Лютер, так выступает позже Галилей с резким опровержением научного языка, от которого христианское духовенство не считает возможным отказаться, не отказываясь тем самым от веры Христа.

Специальные науки обнаруживают тогда тенденцию сорганизоваться отдельно; акаде-

мия, как и церковь, сдается ересью, протестантством; у ученого нет больше учителя, как и у верующего нет больше папы. Тщетно вожди этой современной науки, обогащающие ее величайшими открытиями, пытаются найти компромисс с верованиями своих отцов; тщетно какой-нибудь Лейбниц проводит часть своей жизни в переписке с Боссюэ: старый догмат исчерпан, ему необходима новая трансформация, он должен подвергнуться непосредственно испытанию новой общей концепции, систематизирующей все эти разрозненные науки, все эти обособленные труды, которые все более отдаляются от всякой социальной роли и неизбежно увлекают своих авторов в пучину эгоизма. Такова, действительно, последняя черта, в которую всегда упирается критика. Раз люди дошли до этой черты, то в так называемых позитивных* науках и в методе, столь сильно содействовавшем их разобщению, тщетно было бы искать возрождающую концепцию, способную вернуть им целостность и жизнь и дать ученым новое сознание высокого служения, которое они призваны нести. А между тем в конце обрисованных нами эпох анархии некоторые умы, утомленные неурядицей, но не имеющие представления о новом порядке вещей, которого человечество пока еще не призывает, пытаются вернуть умственным трудам единство.

* Они именуется так в противоположность старому догмату, который перестали считать позитивным

Их старания бессильны, ибо они не открывают человеку того, чего он ищет; они умеют только напоминать ему о том, что он уже знал некогда. Продуктами таких бесплодных попыток являются обновленные материалистические или спиритуалистические теории Эпикура и Лукреция, Платона и Прокла,— настоящие перепечатки, дополненные кое-какими комментариями, которые стали необходимы вследствие успехов знаний о деталях. Но эти теории возвещают, по крайней мере, что гений открытий не замедлит явиться. Где он зародится, этот гений? Там, где его вдохновляют социальные судьбы; им одним уготована славная миссия — открыть людям то, чего желают все, то, что все призывают, то, что лишь один из их числа умеет выразить первым. Глубоко волнующий недугами человечества, горя желанием положить им конец, он увлечет человечество за пределы мира, который оно больше не приемлет, не понимает, который его оскорбляет, в котором люди носят друг друга. По его слову этот мир, уже обращенный в прах, исчезает; создается новый мир, ибо в этих новых сферах царствует порядок и гармония; все те явления, которые с каждым днем все больше обособлялись, индивидуализировались, направляются теперь к одной цели, связанные общей цепью; все зависят друг от друга, тогда как недавно, обураваемые страстями, волновавшими самих ученых, все, казалось, шло подобно им к независимости.

Господа, пусть наш рационализм восторженно и любовно преклонится перед этой божественной способностью человека связывать то, что было разъединено, вносить любовь и порядок туда, где царствовали рознь и ненависть. Пусть он восхищается этой способностью создавать новые отношения, отношения притяжения и сродства, там, где человек видел раньше только отталкивание и антагонизм, этой поистине творческой изначальной способностью, которая на каждом шагу выступает перед нашим взором в истории человеческого прогресса.

Так, люди были все врагами друг другу, но они станут в будущем братьями; каждое явление имело свою причину или, лучше сказать, заключало в себе причину своего собственного бытия. Но все они когда-нибудь будут иметь только одну причину, одну цель; семьи, города, нации были обособлены, но когда-нибудь будет существовать только единая человеческая семья, единый город, единое отечество. Точно так же каждое явление имело свою науку, каждая группа явлений — свою специальность, но со временем будет существовать одна универсальная наука, связывающая все специальные науки, все явления, указующая всем им одну общую причину и цель.

Этим прогрессом в политической области, как и в области научной, человек будет обязан одной и той же способности — гению, вдохновению, любви к порядку, к единству,

е. симпатии, так как именно она привязывает нас к окружающему нас миру, она побуждает нас открыть связь, существующую между всеми частями мира, в котором мы живем, и таким образом открывает нам в нем существование жизни, сходной с нашей.

Такова миссия людей, которых мы, из снисхождения к предрассудкам нашего века назвали художниками*. Для нас художники — это люди, непрерывно толкавшие человечество на путь прогресса, благодаря которому оно от состояния самой грубой дикости дошло до нынешней ступени цивилизации. И в настоящий момент люди, заслуживающие этого названия, это те, кому раскрылась тайна социальных судеб, а раскрылась она им только потому, что их любовь к человечеству внушила им повелительную потребность открыть ее. Лишь тогда, когда художники скажут свое слово, когда они прорвут завесу, отделяющую от нас грядущее, наука, исходя

* Кто внимательно читал различные части учения, уже изложенные в настоящем томе, тот поймет, что к функции, о которой мы говорим здесь, особенно подходят в прошлом два названия, а именно: поэты и священники, одно из них соответствует критическим эпохам, другое — эпохам органическим. В самом деле, миссия поэта, как и миссия священника, всегда заключалась в том, чтобы увлекать массы к осуществлению воспоемого или проповедуемого ими грядущего; оба они являлись самыми сильными истолкователями его, так как сильнее всех других людей были воодушевлены им. В будущем эти две функции сольются в одну, ибо самая высокая поэзия будет в то же время самой могучей проповедью.

из этого откровения, как из великой гипотезы оправдает его связью, которую она в силу этой гипотезы установит для фактов прошлого, и предвидениями, которые это новое мировоззрение позволит ей сформулировать относительно будущего.

Конт смотрит на роль художников иначе. По его мнению, ученые передают художникам хладнокровно составленный план социального будущего, чтобы добиться признания его массами. Тогда, говорит он, художники могут пустить в ход все средства, подсказываемые им воображением: начиная с этого момента их действия могут и должны быть свободны от всяких стеснений. Он добавляет даже, что помощь художников необходима, так как беспристрастная работа ученых, которые должны искать и находить на основании исторических фактов закон развития человечества, вызовет в их уме лишь упрямое убеждение, но не в состоянии будет дать отпор эгоизму, господствующему среди них в наименьшей степени, чем среди остальных членов общества.

В этой системе трудно понять, каким образом художники сумеют прежде всего сами проникнуться страстным интересом к холодным, как лед, научным доказательствам, а между тем ведь это первое условие, которое они должны выполнить, чтобы передать затем массам огонь, которым они загораются. С другой стороны, не видно, почему промышленники не могут по меньшей мере так же

быстро, как художники, постигать результаты, добытые трудами ученых, раз они должны осуществлять их на практике; но в таком случае, к чему сведется обязательное вмешательство изящных искусств?

Пора резюмировать наше мнение о труде О. Конта. Этот ученый отлично изобразил развитие науки в переходный период от каждой органической эпохи к непосредственно следующей за ней критической эпохе. Он мог бы сказать, что науки, носящие религиозный характер, когда они объединены общей концепцией о назначении человека,— что бывает в период расцвета органических эпох*,— становятся мало-помалу совершенно иррелигиозными, когда критика достигает предела. Но это замечание отнюдь не применимо к преобразованиям, которым подвергаются сами органические учения, т. е. к прогрессу симпатий или человеческой способности к общению. Рассматриваемая с этой точки зрения, наука, как и все человечество, прошла последовательно через фазы фетишизма и политеизма, чтобы прийти к монотеизму, в развитии которого наблюдаются опять-таки три великих органических эпохи: юдаизм, по преимуществу

* Мы увидим впоследствии, почему католицизм смотрел на известные науки как на светские. Не следует отсюда заключать, что такой взгляд на эти науки не вытекал из догмата; напротив, эту логическую связь легко констатировать, если принять в соображение, что физические науки должны были быть устранены из храма, где ежедневно плоть предавалась анафеме.

ву материалистический; христианство, по преимуществу спиритуалистическое; наконец, эпоха, возвещаемая нами, в которой материя и дух, промышленность и наука, светский элемент и духовный будут подчинены власти закона любви. Эта последняя эпоха, которая должна при помощи одной и той же концепции объединить между собой, а также с будущим все элементы прошлого, является поистине окончательной; следовательно, она ограждена от всякой критики в будущем,— соображение, служащее ответом на последнюю часть сделанного нам возражения.

Что касается подчиненного характера гипотез, то мы, кажется, в достаточной степени пояснили, насколько неосновательны в этом отношении претензии самых позитивных сторонников рассуждения. Лучшим доказательством сказанного может служить в настоящее время книга самого Конта. Он создает (вернее принимает, ибо получил это откровение от своего учителя) новый взгляд на человеческие общества, новую классификацию исторических фактов, т. е. различных видов деятельности человека и общества. Сен-Симон показал ему, что все элементы цивилизации делятся на изящные искусства, науки, промышленность, и Конт объявляет, вслед за ним, что человеческий род подчинен в своем развитии неизменному закону. Он добавляет даже, что если не допустить этой идеи, то нужно отказаться от мысли дать себе отчет в развитии общества. Но это не все: старает-

ся ли он доказать этот самый закон? Нет, он довольствуется тем, что формулирует его в следующих выражениях: «Когда, проследивая какой-нибудь общественный институт и идею, или систему институтов и целое учение от их зарождения до настоящего времени, мы находим, что, начиная с известного момента, их власть все убывала, то мы можем заключить, что этот институт, эта идея обречены на исчезновение, и обратно».

Можем заключить? Но откуда берется такое заключение? Почему явление, которое до сих пор шло на убыль, не может начать возрастать? Почему не допустить, что мы дойдем до момента покоя, когда это убывание остановится? На чем, наконец, основано это убеждение в постоянстве усилий человечества? О, не бойтесь сознаться в этом убеждении; заявите во всеуслышание, что вы уверены в своей любви к ближним, в их любви к вам; заявите, что вы верите в прогрессирующую волю человечества; заявите о своей вере в то, что мир, в котором осуществляется эта воля, сам благоприятствует ее проявлениям; подтвердите также свою веру в то, что человек тесно и неразрывно связан узами любви со всем существующим вне его и что эти две части одного целого, шествуя вместе к общему назначению, помогают друг другу своей любовью, своей мудростью, своими усилиями. И тогда назовите безбоязненно закон только что выраженный вами, закон, который создал не ученый и который ученый мог

бы обосновать только тем, что верит в него; назовите эту гипотезу порядка, построенную гением и служащую фундаментом для науки; этот универсальный закон, управляющий человеком и миром; эту могучую волю, беспрерывно влекущую их к лучшему будущему,— назовите ее: это—божья воля.

Лекция

*шестнадцатая**

ПИСЬМО О ТРУДНОСТЯХ, НЫНЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПРИНЯТИЮ НОВОГО РЕЛИГИОЗНОГО ВЕРОВАНИЯ

Вместе с тобой, друг мой, я страдаю из-за трудностей, которые ты испытываешь, когда изо всех сил стараешься освободить своего брата¹ от критических предрассудков, опутывающих его большое дарование. Это новообращение вполне заслуживает того, чтобы возбудить твоё рвение; оно несомненно принесло бы благие результаты для нашего учения, как и для дорогого брата: подобно нам он наслаждался бы надеждами, которые пробудил в нас Сен-Симон, счастьем, которое он дал нам. Сообщи мне обо всем, что ты сделаешь для достижения этой цели. Со своей стороны, я попытаюсь дать тебе некоторые указания относительно того, как ты должен повести свои атаки, ибо я сам проделал все шаги, которые придется сделать твоему брату, чтобы

Прочитана 29 июля 1829 г.

покинуть ограниченный путь, которым я шел, подобно ему.

Говоря о себе, я буду иметь в виду твоего брата.

Как тебе известно, я довольно скоро разглядел недостаточность политехнических наук²; я скоро почувствовал их недостаточную широту, и политическая экономия, философия, труды Кабаниса, Галля, Дестю де Траси, Бен-тама привели меня к убеждению, что математика и вообще так называемые позитивные науки представляют собой лишь подготовительную ступень к научным занятиям более высокого порядка. Мое почти неограниченное преклонение перед людьми, которых наш век именует по преимуществу учеными, людьми, занимающимися материей и движением, было поколеблено. По крайней мере, бросив неодушевленные тела, я стал усердно знакомиться с общими идеями, касающимися организованных существ.

Но и здесь я оказался среди неодушевленных³; подобно им, я взял скальпель и принялся анатомизировать, рассекать социальное тело. В особенности соблазнили меня экономисты; они работали над материей, я всегда имел перед глазами нечто позитивное. Тем не менее я чувствовал какой-то пробел, огромную пустоту, которую необходимо было заполнить. Фантазии Сэя о нематериальных продуктах, неудачная попытка Шторха анализировать эти продукты и построить теорию моральных и интеллектуальных богатств сбили

меня с толку. Я относился, впрочем, с некоторым недоверием к этим отклонениям от науки, которая до сих пор претендовала лишь на то, чтобы охватить факты, приводящие к созданию материальных продуктов. Я всеми силами пытался связать эти уклоняющиеся воззрения нравственной экономии с воззрениями физиологии также нравственной и воззрениями философии всегда нравственной,— воззрениями, проповедуемыми людьми, которых я только что назвал тебе. Но мне нетрудно было заметить, что принципы или догматы, к которым я таким образом приходил, не в силах были внушить мне благородное доверие и что я незаметно впал в сомнение почти во всех основных вопросах.

Сомнение или безразличие есть томительная болезнь, которую невозможно долго переносить, ибо человек — существо в высокой степени симпатическое и не может оставаться совершенно равнодушным ко всему, что его окружает, если он хочет жить. Если бы он впал в подобное состояние, у него исчез бы всякий мотив к сношениям, всякое побуждение к действиям, кроме тех, которые необходимы для поддержания его физических сил. Он был бы низведен до состояния дикого зверя, или лучше сказать — он был бы дезорганизован и совершенно походил бы на минерал; его жизнь представляла бы явление, аналогичное кристаллизации.

Сомнение, таким образом, тяготило меня, и я избавился от него, отказавшись (незаметно

для самого себя) от научных навыков, которые привели меня к нему. Воспитанный нами неодоушевленцами в полном безразличии к поискам причин, я отрицал существование этих причин. Мои учителя говорили мне, и я сам неустанно повторял, что наука должна останавливаться там, где явления перестают быть доступными наблюдению. Тем не менее я забывал этот великий принцип и старался доказать небытие вещей, которые я не был в состоянии подвергнуть эксперименту.

Я припоминаю, с каким самодовольством я осмеливался думать, что доказал нелепость всех верований, устанавливающих связь между конечным существованием человека и бесконечным существованием вселенной; с какой математической точностью я считал возможным отрицать, например, бессмертие, словно мой геометрический циркуль или мой анатомический нож имели власть над вечностью, словно, наконец, какой-то из трупов ответил мне: все кончено. К счастью, я остановился; к моему счастью, Сен-Симон остановил меня на краю бездны, в которую я низвергался, он вырвал меня из состояния полного нравственного разложения, угрожавшего мне.

Быть может, ты не сразу поймешь, друг мой, почему я говорю, что подо мною раскрывалась бездна и что я шел к полному нравственному разложению, когда оставил бесстрастное сомнение, чтобы из двух разрешающих

его гипотез отрицать одну и принять другую. А между тем все это в высшей степени верно, и моя деморализация была бы тем большей, чем большими способностями я одарен. Одни лишь заурядные люди могут повиноваться добрым чувствам, отвергаемым их разумом. Сердце у них, если можно так выразиться, органическое, а ум критический; они испытывают чувства, соединяющие, связывающие их со всем окружающим и в то же время повинуются рассудочности, отрывающей их от него, обособляющей их и приводящей их назад к собственной индивидуальности. Все они — преданные родители, вполне надежные друзья, почти ревностные граждане, умеренные патриоты; это филантропы, которым для оказания благотворительности нужны балы и спектакли.

Да, друг мой, атеизм ведет к безнравственности, ибо возвышенный синтез — бог существует — принадлежит к той же природе синтезов, которые служат основой для всех нравственных идей. Отсюда следует, что, отрицая его, человек при некоторой строгости логики и настойчивости должен пойти очень далеко по пути эгоизма.

Если ты не замечаешь с первого взгляда тесной связи, существующей между великой аксиомой науки о вселенной и аксиомами науки о человеке, если ты полагаешь, что нравственность покоится на более надежном, более вещественном фундаменте, чем религиозное чувство, то изучи сочинения люден,

подвергших анализу мораль, нашедших меру преданности, и скажи мне, не удовлетворяются ли также чистейшими гипотезами эти строгие логики, эти суровые материалисты⁴, насмехающееся над фантазиями чувства. Спроси их, для чего нужна мораль? — Чтобы теснее скрепить общественные связи, — ответят они. Но для чего необходимо объединенное общество? Для чего необходимо даже первобытное состояние, восхваляемое Руссо? Для чего, наконец, существует человеческий род? Что мне до прочности уз, соединяющих людей? Что мне до их существования, до моего собственного? Что за нужда мне давать жизнь детям, которые, без сомнения, будут скоро смотреть на ее начало с тем же безразличием, какое я испытываю, взирая на ее конец.

Так говорило бы существо, закрывшее для себя обширное поле гипотез. Но существует ли в действительности такое бесстрастное, холодное, как мрамор, существо? У него нет воображения, нет чувства; ничто его не волнует; он ничего не любит, ничего не желает, ни на что не надеется. Да разве это человек?

Теперь послушай сочинителей гипотез. Вот, с одной стороны, Байрон, Гете или любой другой критический демон.

Он низвергается не в хаос, а в преисподнюю; не однообразие дел человеческих его поражает, его душа не усыплена безразличием, она не оцепенела от тяжких сомнений; он остановил свой выбор на одной из двух гипотез, он воспевает беспорядок, его фантазия

находит краски только для изображения порока, преступления.

Другой, напротив, верит в счастливое будущее; он надеется и горит желанием передать другим свои задушевные надежды; порядок, гармония заставляют биться его сердце; он их желает, и это желание настолько властвует над его надеждами, что он готов отдать самую жизнь свою, если бы этого потребовала гармония, к которой устремлены его помыслы.

Да, мой друг, слова — порядок, религия, ассоциация, жертвенность, это — последовательный ряд гипотез, которому соответствует другой ряд: беспорядок, атеизм, индивидуализм, эгоизм. Ты найдешь, быть может, что я плохо характеризую органический ряд, приписывая ему такое же основание, как критическому ряду, связывая тот и другой с двумя догадками. Успокойся. Если я говорю, что существуют две гипотезы, то тут же утверждаю, что одну из них человечество с ужасом отвергает, а другую принимает с любовью; я утверждаю, что человечество с непреодолимой силой привязывается к той из двух гипотез, которая обещает ему счастливое будущее; я беру, наконец, на себя смелость утверждать, что оно готовит для учеников Сен-Симона, если они вернут ему надежду, еще более прекрасный венец, чем тот, которым оно украсило головы первых христиан.

Но что я сказал? Венец, слава, бессмертие — вот наша религия, воскликнет твой брат вместе со всеми атеистами нашего времени.

И они с пылом бросятся засвидетельствовать свое верование: все великодушные чувства, по выражению Шатобриана, укроются под военные знамена; солдат-республиканец также будет умирать за свою веру, он также издевает, что такое страдания мученика.

Таково счастливое противоречие, на которое я тебе только что указал: отвергают бога, великого, единого бога, того, кто живет во всех вещах, и в то же время посвящают себя культу второстепенных божеств; называют себя атеистами, а на деле являются язычниками; свобода, разум, отечество имеют алтари или, по крайней мере, властвуют в сердцах, тогда как великое отечество, единственное, в котором царит истинная свобода, ибо разум и сила подчинены в нем любви, не удостоивается никакого культа.

Но вернемся ко мне, друг мой; я могу сказать также — вернемся к тебе, к твоему брату, ко всем нам, детям XVIII века, ибо нам уготованы одни и те же испытания.

Итак, я бросил холодный скептицизм, чтобы строить гипотезы. Причины невольно занимали меня; я видел, что они вечно интересовали людей, которые всегда говорили вместе с Вергилием: *Felix qui potuit rerum cognoscere causas*²; наконец, что существование бога и бессмертие души, беспрерывно признаваемые или отвергаемые, не могут считаться праздными вопросами, безразличными для счастья человечества. Несомненно, слабые умы, посредственности, в особенности

люди, поглощенные узкими специальностями, могли пройти, не останавливаясь, мимо этих огромных проблем. Но разве, напротив, великие люди — под философскими названиями спиритуалистов и материалистов или под религиозными наименованиями верующих и атеистов — разве они не сделали из этих проблем, так сказать, содержания и цели всей своей жизни? Могли ли они уклониться от необходимости высказаться в утвердительном или отрицательном смысле?

И вот я сделал выбор. Лейбниц, Паскаль, Ньютон не остановили меня; я не ограничился монтеневским *que saisje?* (что я знаю), я повторял знаменитое *post mortem nihil*^b и выбивался из сил, чтобы привести доказательства этого положения.

Перечитай письма, которые я писал тебе в то время; можешь ли ты понять, мой друг, каким образом я, полагающий, что говорю всегда то, что думаю и чувствую, каким образом я способен был произносить защитительные речи, в такой степени лишенные убеждения и веры? Объясняется это просто: я искал своих доказательств в науке, а как я уже сказал тебе, так называемая наука ныне не властна над этими вопросами; она может смотреть на их решения только как на аксиомы, ибо эти вопросы стоят выше ее.

Впрочем, эти потуги атеизма оказали мне услугу, ибо я скоро убедился в том, что научные проверки бессильны доказать или опровергнуть идеи бога и бессмертия. Сен-Симон

окончательно убедил меня, и когда проникшись его учением, я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы доказать всем ученым мира, что они не могут сказать ничего удовлетворительного против религиозных верований и что беря на себя смелость объявить войну богу, они восстают против своего же метода, по поводу которого они так много шумят,— когда этот великий шаг был сделан, я вновь обрел человеческое достоинство, я предоставил науке принадлежащее ей место, я мог верить внушениям своих симпатий.

Удивительный прогресс, скажет твой брат; радоваться тому, что вступил в область иллюзий, что веришь вещам, которых нельзя материально проверить, что убаюкиваешь себя мечтами, погружаешься в туман. Значит, и у ученых будет свой романтизм!

Ах, а что такое классическая наука? Сумела ли она на протяжении восемнадцати столетий, несмотря на ее хваленые достижения, составить трактат о морали, хотя бы в слабой степени приближающийся к евангелию? Прежде чем упрекать нас в том, что мы отдаемся во власть иллюзий, подсказываемых нам нашими симпатиями, ученые должны были бы доказать нам, что человек, если он существо рассчитывающее, рассуждающее, не есть также симпатическое создание, способное на самую страстную, даже самую безрассудную самоотверженность. Мы, напротив, утверждаем, что он способен страстно интересоваться и размышлять, что он предвидит,

изобретает, открывает, воображает и проверяет; что он питает желания и обдумывает средства к их удовлетворению.

Пойдем, однако, дальше: зачем говорить с пренебрежением, с презрением об этих иллюзиях? «Потому что они принесли несчастье миру,— заявляют критики,— потому что они навязали нелепые, ужасные верования; потому что они дали могущество немногим привилегированным плутам, которые воспользовались этим для эксплуатации масс; потому что они вызвали жестокие войны между народами». Хорошо, пусть так. В таком случае отвергнем все верования прошлого. Вы говорите, что они поддерживали антагонизм, допускали эксплуатацию человека человеком, освящали рабство и войну. Этого достаточно, чтобы они внушали нам ужас, ибо мы верим в конечную ассоциацию человеческого рода, мы уповаем на это счастливое будущее, мы чувствуем, что оно предназначено нам, и мы сделаем все для его достижения. Преследуйте в таком случае эгоистические симпатии, создающие борьбу и беспорядок, мы присоединимся к вам в этом деле: но уважайте, преклоняйтесь перед теми симпатиями, которые побуждают людей верить, что они найдут счастье лишь там, где будут господствовать мир и восхитительная гармония.

Ты видишь, я отношусь снисходительно к верованиям прошлого и таким образом играю на руку нашим противникам. Но возможно ли, чтобы те, которые восстают против

иллюзий, были сами настолько слепы! А кто же боролся постоянно с антагонизмом? Кто уничтожил жестокие обычаи, которые были свойственны детскому возрасту человечества? Кто поддерживал слабого, кто помогал миролюбивому развить железное ярмо, тяготевшее над ним? Как! мы прославляем Аристотеля и могущество силлогизма, труды Архимеда, открытия Галилея и Кеплера, вычисления Ньютона и Лапласа и не сумеем найти в своих сердцах ничего, кроме оскорблений и ненависти для тех возвышенных мечтателей, для тех святых людей, которым стоило только провозгласить свою веру в лучшее будущее, в более чистое предназначение людей, чтобы все человечество с энтузиазмом откликнулось, чтобы оно было вырвано из состояния варварства и стало непрерывно приближаться к этому будущему.

Попробуйте-ка вы, надменные хулители религиозных фантазий, составить, если можете, свое исповедание веры или скорее — неверия, свою нравственную теорию, свой катехизис эгоистов; посмотрите, найдется ли сто человек, которые согласятся их заучить и каждый день с радостью читать их вслух и комментировать. Сделайте еще усилие, затяните *Te libertatem laudamus*⁷ — и с трепетом ждите, найдет ли отклик ваш гимн.

Тебе одному, мой друг, я могу говорить подобные вещи; боже меня упаси говорить сейчас твоему брату о *Credo, Pater, Te Deum*, твоему брату, знающему Гомера и не читав-

шему библии, выучившему наизусть Вергилия и несколько мест из Цицерона, но ни разу не раскрывшему апостола Павла и Блаженного Августина, читавшему, наконец, Гельвеция, Дююи, Вольнея и даже Дюлора⁸, но знакомому с евангелием и катехизисом только через Вольтера и хваставшему недавно перед тобой, что никогда не заглянул даже в подобные книги.

Будем, в свою очередь, взирать с состраданием или, вернее, со скорбью, на плачевные плоды нашего классического воспитания, на спесивое самодовольство людей, которые так сведущи в прошлой истории человечества и основательно знакомы с одним или двумя столетиями истории Греции и Рима и с дорогим им XVIII веком, но не имеют на полках своей библиотеки (как выразился де Местр, говоря о библиотеке Вольтера) ни одной из великих книг судеб человеческих. Разве не уместно повторить здесь слова Блаженного Августина, сказанные в ответ Диоскору, который просил его о разъяснении некоторых неясных мест у Цицерона: «Фемистокл, не побоясь прослыть человеком неспособным, отказался на празднестве играть на каком-то инструменте, заявив, что не умеет играть на нем. А когда его спросили, что же он умеет, он ответил: „Я умею из маленькой республики сделать большую”⁹. Да! Где вы найдете республики, более прочно организованные, чем республика Моисея, более обширные, чем республика, задуманная Христом и осуществ-

ленная трудами его церкви? Пусть нам укажут в бесчисленных конституциях, собранных Аристотелем, в политической утопии Платона, в утопии Цицерона такие догматы, которые сумели бы внушить энтузиазм и самоотверженную преданность не на несколько дней, не на несколько лет, не немногим углубившимся в книги людям, удалившимся от мира отшельникам, а на длинный ряд веков и повсюду, как это сумели сделать молитвы церкви везде, где они раздавались.

Бедные лекари человечества, вы никогда не видели его здоровым и хотите его исцелить! Вы изучаете его уже охладевшим, то и дело испускающим вопли отчаяния, последние вздохи умирающего гения, но вы глухи, вы слепы, когда, полное сил и будущности, оно само указывает вам источники жизни, надежды и любви.

Ты говоришь, что твой брат недавно сделал над собой огромное усилие: он согласился раскрыть де Местра, он обещал тебе прочесть Ламеннэ и в промежутке между поглощающими его внимание занятиями законом о департаментах и бюджетом он посвятил несколько минут перелистыванию Балланша. В добрый час; это, конечно, большое достижение; но либо я сильно ошибаюсь, либо окажется, что это первое чтение оставит сначала в его уме весьма слабые следы, его предрасудки сохранят почти всю свою силу, если ты не поможешь некоторыми комментариями работе, которую он проделывает с отвра-

шением и которая, как тебе известно, может быть лишь подготовительной, так как у всех названных мною сейчас писателей почти совершенно отсутствует перспектива будущего. Пусть же твоими заботами дух нашего учителя Сен-Симона всегда присутствует между этими авторами и им. Ты не раз уже был свидетелем грубого недоразумения, объектом которого мы являемся; ты видел немало людей, которые, слыша наши разговоры о религиозных идеях и христианстве, принимали нас за христиан XIII века. Из-за того только, что мы умеем надлежащим образом ценить величайших основателей римской церкви и ее последних защитников, нас громят чуть ли не прозвищем папистов, ультрамонтанов, иезуитов. Правда, если судить по опыту прошлого, это недоразумение, по-видимому, неизбежно, ибо учеников Христа и апостолов долго еще называли евреями, прежде чем их стали именовать христианами. Однако мы должны предупредить это заблуждение, ибо оно находится в связи с неверной точкой зрения на христианство и на сен-симоновское будущее. Постарайся помешать своему брату впасть в него, обратив его внимание на некоторые основные пункты, отличающие одно учение от другого; дай ему понять... Но я удаляюсь от цели, которую поставил себе, когда начинал тебе писать, или вернее — я меняю порядок, которому должен был следовать, повествуя о борьбе против ветхого человека, которую мне пришлось выдержать, для того

чтобы переродиться. Я еще вернусь к книгам, которые твоему брату следовало бы прочитать, и в особенности — к только что указанному мной недоразумению, к смешению учения будущего с учением средневековья, так как я сам в течение некоторого времени едва не сделался его жертвой.

Вернемся к тому моменту, когда я признал недействительность научной проверки аргументов за или против идеи бога.

Тогда я начал призадумываться над самим собой; я задал себе вопрос, дана ли мне сейчас новая способность, или же она просто дремала во мне и выведена из своего летаргического сна Сен-Симоном. Я хотел узнать, не был ли я бессознательно верующим уже в тот момент, когда сам вел ожесточенную борьбу с религиозными идеями; не был ли я так же нелеп, как нелепы мне казались тогда люди, простодушно верившие в бессмертие, в нетленное, вечное начало порядка, жизни, любви. Вскоре уму моему представились все великие слова, так часто заставлявшие биться мое сердце: свобода, долг, отечество, совесть, слава, человечество.

Человечество! Чем объяснить, что рука моя дрожала, что сердце мое загоралось желанием действовать каждый раз, когда я произносил имя этого великого коллективного существа, при мысли о его счастливом будущем, при виде его прошлых страданий, цепей, в которых оно бьется по сей день? Неужели я ощущал страстный интерес к существу, живущему

во времени и в вечности, чье начало и конец мне были неведомы, которое пребывает всюду и нигде,— к существу, обладающему неистощимой сокровищницей наград для добрых, т. е. для тех, кто его любит, и наказывающему злых и эгоистов вечным проклятием! Каким образом человек, веривший в небытие, в возвращение навеки к земле, в непробудный сон, чувствовал все же, что сердце его бьется при мысли о том, как будет когда-нибудь произносить его имя потомство? Что ему до славы? Почему он хотел бы умереть, как Сократ? Почему участь Христа, распятого во имя спасения варваров, во имя освобождения раба, заставляла его проливать слезы? Должен ли он был краснеть за свою слабость и скрывать свои слезы? Должен ли он был бояться усмешки скептика и атеиста? Нет, мой друг, атеист не усмехается, когда видит этот полн, эту любовь к богу, перед которым я преклонялся, но человек истинно религиозный усмехается, он смотрит почти с жалостью на мизерность наших чувств, на убогий алтарь филантропии.

«Откройте глаза,— скажет он нам,— посмотрите на ограниченные пределы, в которые заключен ваш бог. Как! Вы имеете перед собой необъятный, бесконечный мир, и ваши взоры остаются прикованными к земле! Да что я говорю — к земле. К одному из живущих на ней организованных видов. Да, разумеется, благородное создание, культу которого вы себя посвятили, достойно того, чтобы рассчитывать на вашу любовь; вы, без сомнения,

любите его потому, что испытываете благоговейное восхищение перед благородством воодушевляющих его чувств, закономерностью его прогрессивного шествия, величием его деяний; вы любите его потому, что найдете в нем любовь, науку и силу. Посмотрите, однако, как оно осуществляет этот тройственный атрибут своего могущества. Наукой оно пользуется, чтобы из века в век открывать некоторые из мировых законов, и каждый шаг по этому беспредельному пути дает ему все больше почувствовать неизмеримую обширность поля, еще остающегося открытым перед ним. Свою силу оно употребляет на то, чтобы видоизменять, комбинировать, перемешать материю; и здесь также, чем более оно подвигается вперед, т. е. чем более оно, казалось бы, приближается к непроницаемой тайне творения, тем более оно чувствует свое бессилие открыть ее. Что касается его любви, то наука и промышленность показали вам объект, на котором она должна неизбежно проявиться. Да, объект этот — вечная мудрость, владеющая тайною мира и неустанно зовущая нас познать ее; это — совершенная красота, которая открывается нам, давая человеку силу украшать мир, и миру — свойство украшать человека; это существо, бесконечная доброта которого каждый день приближает нас к себе, заставляя нас больше и больше любить все сущее; наконец, это — суверенная наука, суверенная творческая сила, суверенная любовь, перед которыми преклоняется само ваше

божество — человечество. Падите поэтому ниц вместе с человечеством перед его богом, он также и ваш бог, вознесите вместе с ним хвалу владыке, законам которого оно любовно повинуется».

Как беден мой язык, друг мой, когда я хочу заставить говорить верующего человека! Мое слово — я это сознаю — не пропитано более ядовитыми парами критики, но его беспрерывно расхолаживает опасение поразить слух людей, скованных звуками холодных, как лед, силлогизмов. Долго еще, быть может, нам придется переводить только что сказанное мною на более вульгарное наречие, на так называемый научный язык; долго еще, когда мы захотим произнести имя, заставлявшее все человечество в течение нескольких тысячелетий трепетать от радости, страха и надежды, имя, которое Ньютон слушал не иначе, как с чувством благоговения, мы принуждены будем, во избежание насмешек нашего насмешливого века, показать, так сказать, математически, на основании беспристрастной теории вероятностей, что наши верования являются именно теми, которые будут исповедоваться в будущем.

Остерегайся поэтому повторения своему брату того, что я сказал тебе сейчас о филантропии или, по крайней мере, воспользуйся другой формой, более подходящей к его интеллектуальным навыкам, являющейся, впрочем, лишь иным выражением той же мысли. Заставь его сравнить между собой фетишизм,

политеизм, еврейскую религию и христианство; покажи ему, наконец, что божество филантропов, человечество, всегда признавало и преклонялось перед богом, все более и более совершенным, чем оно само.

Пусть он на миг чистосердечно, добросовестно призадумается над тем родом эмоций, которые заставляет его испытывать его искренняя любовь к человечеству; будь уверен, он не сможет не признать, что они столь же гипотетичны, но гораздо менее широки, чем так называемые религиозные эмоции. Тогда филантроп представится ему таким, каков он есть, святошей второго разряда, которому природа отказала в поэзии, который лишен чувства прекрасного и в особенности симпатического слова, электризирующего человечество.

Нет, мой друг, твой брат не устоит против этого: засыпай его примерами, которых он сам не сможет не признать, ибо он любит поэзию, музыку, живопись, архитектуру; театр волнует его, а народная трибуна, оживляемая Демосфеном, Цицероном, Фоксом, Мирабо и Фуа, представляет прекраснейшее зрелище, какое только может себе представить его воображение. Осыпай его примерами, говорю я; недостатка в них у тебя не будет: спроси его, что сделали для счастья мира Вергилий, Овидий, Лукреций; какие сюжеты вдохновляли Генделя, Моцарта, Гайдна, Керубини, даже самого Россини, когда они создавали самые прекрасные свои произведения; для каких сюжетов находили свои лучшие краски Рафа-

эль, Микель-Анджело. Пусть он укажет тебе хоть один светский памятник, которого не затмили бы своим превосходством наши благодетельные соборы. А если он позволит себе укрыться под сень театра, если он с восторгом Цицерона перед Росцием назовет тебе Тальма¹⁰, пощади его, не разбивай его в прах указанием на прекрасных актеров, великих мастеров слова, божественных ораторов, раскрывавших перед варварскими народами христианские упования; не профанируй имен апостола Павла, Блаженного Августина и Иоанна Златоуста, а возьми самого безвестного сельского священника, проникнутого евангельской моралью и обращающегося со словом проповеди к таким же верующим, как он сам. Тогда подсчитайте оба, ты и твой брат, нравственные поступки, вызванные влиянием церковной кафедры и влиянием декорированных подмостков.

О, мой друг, как тягостна для меня эта последняя мысль, или точнее — сколько сожалений и в особенности желаний она во мне возбуждает! Подобно твоему брату и я также способен плакать, когда растроганный, дрожащий и взволнованный, слушаю Дездемону, Танкреда или дАрзаса; но слезы текут еще из моих глаз, когда его слезы уже высохли. Что делают здесь все эти женщины, которые меня окружают? Нарядно одетые, словно в праздник, они пришли в эту блестящую залу для того, чтобы присутствовать при триумфе одной из них? Не собираются ли здесь

украсить венком самую любящую из них? Да, это самая любящая из всех женщин, самая страстная, обладающая самой большой властью над сердцами... Вот она, Сивилла наших дней; вот оно, создание, владеющее тайной благородных вдохновений. Неужели здесь, — сказал бы нам христианин, — вы поклоняетесь пречистой деве? Великий боже! В какой храм вы ее поместили!!!

Оставим этот сюжет, он слишком тягостен.

Впрочем, самую тяжелую борьбу тебе придется выдержать не на этой прискорбной почве. Я говорил тебе о плебейской трибуне и об ораторах, могучий голос которых, повторяемый верным эхом, воодушевляет многолюдную аудиторию или разливается далеко, приводя в возбуждение народы. Вот где твой брат будет защищаться с наибольшим жаром, уверенный в своей победе; отсюда, по его мнению, он срзлит все наши полки, двинув на Боссюэ, Бурдалу и на Массийона, на этот благородный, но бессильный арьергард разбитого католицизма, колосса XVIII века — Мирабо. Не останавливайся, чтобы заставить его покраснеть за отравленное оружие, которым он пользуется против нас: нет, пока не нападай на личности. Позже твой брат сам почувствует, что существует связь между нравственностью поступков и нравственностью доктрин: направься поэтому прямо к этим последним и становись смело на почву своего противника.

Ну хорошо! Чем являются произведения Мирабо? Каковы произведения его века,

который он так достойно представлял во всех отношениях? Они разбили иго прошлого разрушили господство христианской теологии и феодализма. А какие страсти возбудили они в сердцах, чтобы выполнить эту задачу? Не доверие, ненависть, месть, да что я говорю? — даже *жажду крови*. И как *неизменный отзвук* на крикливые речи этого оратора скоро должно было раздаться: свобода, равенство, братство — или смерть.

Взглянем теперь на христиан. Им также предстояло разрушить прошлое; они также подвергли едкой критике античную теологию и земные власти. Разве дело, которое им надлежало выполнить, требовало меньше сил, меньше гениальности? Разве наследникам века Августа легче было снести старое здание, чем наследникам века Людовика XIV?

О, апостолам приходилось бороться еще со многими другими врагами. Все эти бесчисленные философские секты, оспаривавшие друг у друга господство над миром, из которых лишь одна стояла у врат будущего, должны были исчезнуть при звуке их голоса. Всем им суждено было утратить свои наименования, чтобы присоединиться к имени Христа, сохраняя, однако, в ересях печать своего происхождения, пока над развалинами Лицея, Портика и Академии не *вознеслась единственная кафедра* св. Петра.

Послушаем этих мятежных граждан, этих пылких революционеров; они также хотят мира хижинам¹¹ но чтобы его добиться, они

воздвигают дворец господу; они также проповедуют борьбу и войну, но кто тот враг, страшиться которого, бороться против которого они учат людей? Это — сам человек, это — эгоизм. И оружие, которое они дают нам в руки, чтобы доставить нам победу над ним, — не недоверие, не *ненависть*; они не подстрекают нас к мщению; в вере, надежде и любви они учат нас черпать силы.

Остановимся здесь, мой друг; мы открыли сейчас тайну могущества христианства и причину эфемерности успехов критики. Мы знаем теперь, почему участь ораторов-атеистов — переходить из Капитолия на Тарпейскую скалу, с горы на эшафот, от апофеоза к забвению; мы знаем истинную причину неблагодарности республик, столь признанной всеми и столь мало понимаемой; мы знаем, почему под их ножом падает столько жертв, вокруг которых еще не умолкли отзвуки народных рукоплесканий. Но мы понимаем также, почему для христианина днем славы, днем, когда он обеспечивал своему имени бессмертие и завоевывал любовь потомства, был день принятия мученического венца.

Как, скажут нам, вы предлагаете проповедью веры и слепого повиновения низвергнуть ненавистную власть, деспотическое правительство! *Проповедуя доктрины, столь благоприятные для сильного, вы намереваетесь освободить слабого!* Разве свободы достигают при помощи рабства?

Непостижимая тайна для наших философов,

столь тщательно изучающих человека в своем собственном сознании и не прислушивающихся к голосу общечеловеческого сознания! Чудовищный парадокс для наших публицистов, апостолов независимости¹², забывающих, что человек — существо общественное, по необходимости зависит от общества, часть которого он составляет! Чудо для всех, ибо всем совершенно бесспорно известно, что кроткое, смиренное и миролюбивое слово Христа действительно разбило цепи раба!

Для нас, напротив, нет больше никакого чуда, нет ничего таинственного в этом высоком проявлении божественной благодати; мы восходим к чистому роднику, в котором христианская философия и христианская политика почерпнули свое превосходство над философией и политикой Греции и Рима, — к тому источнику, в котором Сен-Симон сумел найти свежие ключи, скрытые от самих христиан и дающие нам силу и право отвергнуть все учения наших дней, как и учения прошедших времен.

Да, мой друг, именно проповедью повинования, но повинования воле бога любви, можно разрушить одновременно и анархию и деспотизм, т. е. эгоизм невежества, как и эгоизм науки, бессильные и в то же время разрушительные вождедения слабости, как и высокомерные притязания силы. Всякое философское учение, ставящее своей задачей достижение только одной из этих двух целей, ложно, неполно, неприменимо в органическом

состоянии человечества; это — либо эпикурейство, либо стоицизм, эгоизм материалистический или спиритуалистический, но, как я уже говорил тебе, это всегда — эгоизм. Спиритуалистический эгоизм никогда не захватывает масс, он остается в пользовании немногих лиц, сосредоточившихся на себе самих, и чарует их уединенные созерцания. Но материалистический эгоизм изливается широким потоком на пораженное болезнью человечество в эпохи кризиса, когда, устав от жалкого существования, без веры в лучшую жизнь, оно готово просить у самой смерти исцеления от своих недугов.

Ты помнишь, какую радость мы испытали в тот день, когда открыли пустоту обеих этих философий и их бессилие управлять миром. Сен-Симон не просветил еще нас тогда, и, рабски подражая тем грекам и римлянам, которые устремились в Александрию, чтобы изучать эклектизм вместе с неоплатониками, когда им надоели Эпикур и Зенон, мы бросили Гельвеция и Руссо ради Стюарта, Рида и Ларомигьера.

Бесспорно, мы делали этим большой шаг вперед, так как старались освободиться от эгоизма, но между тем мы все еще шли по его путям. В самом деле, настойчивым трудом, подбирая то тут, то там обрывки всех доктрин, без всякого принципа в их выборе, без связи, которая позволила бы их комбинировать, мы почти пришли оба к бесформенным компиляциям, которые назвали учениями. Это не были

учения Декарта или Мальбранша, Локка Кондильяка или Канта; эти великие философы не были больше нашими учителями: ты был учеником твоего сознания, я — своего, и мы могли произнести столь сладостное для эгоизма слово—мое учение.

И тогда мы опять поступили по примеру александрийской школы. После того как мы долго побивали эпикурейцев и стоиков наших дней одних другими, мы с любовью перешли под знамена человека, через которого нам явилась божественная воля, подобно платоникам презирая — по выражению Блаженного Августина — сопутствовавший нам при этом лай лжефилософов. Наша философская индивидуальность ступевалась перед гением; мы не боялись больше признавать вождя, руководителя, учителя, и какого учителя! Это был человек непризнанный, брошенный, пренебрегаемый современниками, человек, чья исполненная самоотверженности жизнь должна была представляться загадкой для эгоизма.

На своем смертном одре, у края могилы, в момент, когда все баловни судьбы предаются отчаянию и молят об утешении, а люди, утомленные бесплодно прожитой жизнью, проявляют в лучшем случае стоическое безразличие,— Сен-Симон возбуждал в нас рвение, раскрывая перед нами чаяния человечества, и своим примером налагал на нас долг пожертвовать всем ради осуществления этих чаяний. Вместе с Симеоном он мог бы воскликнуть: «Ныне отпускаеши раба твоего, ибо глаза мои

узрели орудие, при помощи которого -ты решил спасти мир».

Возлюбленный ученик Христа сказал, друг мой, что когда человек преисполнен любви, он перестает испытывать страх. Повиновение приятно, вера легка, когда приказывающий учитель повелевает нам верить в благородные предназначения человеческого рода, когда он заставляет нас направлять все свои помыслы, все свои действия к цели, столь манящей наши сердца.

Апостолы свободы, долго ли еще вы будете повторять нам, что мятеж—самая святая из обязанностей? Неужели вы не боитесь, что страшное оружие, которым вы слепо пользовались, потому что хотели только разрушать, обратится когда-нибудь против вас? Неужели вы не дрожите при мысли, что наученное вами человечество скоро, быть может, возмутится против тяжкого ярма, которое в течение двух столетий налагают на него ваши доктрины? Вы, беспрестанно указывающие нам на жесточие первых христиан против врагов церкви, вы, говорящие нам о жестоких актах их мщенья, забывая, что мстить они научились именно в школах, где проповедовались ваши принципы; наконец, вы, знающие, что они поступали так не как христиане, а как варвары, ибо Христос велел прощать обиды,— неужели вы думаете, что во главе человеческих обществ никогда не будут стоять люди, власть которых они будут любить, авторитет которых они пожелают защищать? Как!

Всегда—ненавистные начальники, всегда — господа, замышляющие нашу гибель, жиреющие в праздности на нашем труде, на нашем поте, всегда — чудовища, живущие за счет наших горестей и наших слез! Значит, ваше будущее — это ад? И вы хотите, чтобы люди следовали за вами!!! Нет, нет, пора звону набата перестать звучать, пора прекратить злобеший клич «к оружию!»¹³ Незачем более орошать кровью наши поля; пожары и войны достаточно долго опустошали мир; перестаньте ослеплять нас недоверием и ненавистью. Наступило время, когда человечество должно воскликнуть, подобно Соломону: «Удалитесь, яростные северные ветры; нежные дуновения юга, повеите на нас».

Лекция

*семнадцатая**

РЕЛИГИОЗНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ФЕТИШИЗМ, ПОЛИТЕИЗМ, ЕВРЕЙСКИЙ И ХРИСТИАНСКИЙ МОНОТЕИЗМ

Религиозная проблема, на которую мы обратили ваше внимание, столь же обширна, сколь неожиданна для вас. Догматическое решение ее, которое мы дали, внушило больше антипатии, вызвало больше возражений, чем какое бы то ни было из наших предвидений, касающихся будущности человечества. До сих пор мы замечали, что выдвинутые нами воз-

зрения, как бы радикально противоположны общепринятым идеям они ни были, вначале часто принимались с заметной благосклонностью. Иной была участь наших религиозных предвидений. Здесь мы видели с первых же слов, как XVIII век, значение которого нам удалось, быть может, поколебать во множестве важных пунктов, сразу вернул себе господство и предстал перед нами, так сказать, во весь рост, со всеми своими антипатиями, ужасами и всей своей разлагающей диалектикой.

Это явление, господа, отнюдь не было для нас чем-то непредвиденным, и если вы припомните некоторые из многократно изложенных нами идей об основном характере критических эпох, то увидите, что мы должны были ожидать этого. Было бы излишне возвращаться к тому, что мы сказали по этому вопросу, напомним вам лишь тот важный пункт, что главная цель критических, или разрушительных эпох (а эпоха, в которую мы живем, дает вам полную возможность проверить это наблюдение) состоит в уничтожении религиозных идей; что именно к этому конечному результату в тысяче различных форм и всевозможными путями направляются все усилия. Посмотрите в самом деле на сущность самых глубоких научных диспутов, самых серьезных литературных споров, которые происходят в эти периоды; разберите тщательно характер реорганизаторских попыток в политической области, характер выдвигаемых социальных теорий,— и

* Прочитана 12 августа 1829 г.

вы увидите, что всюду главной целью является устранение бога и от управления миром, и из человеческой мысли. Нетрудно понять, что иначе и быть не может, так как идея бога есть для человека только способ постигать единство, порядок, гармонию, сознать за собой известное назначение и объяснить его себе; а между тем в критические эпохи для человека не существует больше ни единства, ни гармонии, ни порядка, ни назначения. Таким образом и религиозность есть характерная нравственная черта поколений, подготовляющих критические эпохи, и вместе с тем общий итог воспитания поколений, которые рождаются и вырастают в такие эпохи.

Разумеется, в настоящее время, когда мы дошли до крайних пределов критики и когда оказалось столько неоправдавшихся расчетов, столько обманутых надежд, критическая вера в отношении некоторых освященных ею догматов, быть может, и пошатнулась. Легко представить себе поэтому, что умы, лишенные былого пыла, могут по некоторым частным вопросам поддаваться соблазну какой-нибудь органической мысли о будущем, характер и значение которой, впрочем, ускользают от них. Но в вопросе религиозном такая неожиданность невозможна. Так как в процессе развития критических идей в сущности именно этот вопрос всегда дебатировался и так как полученное им тогда отрицательное решение служило основанием, санкцией для всех других отрицаний, то в результате как только это решение подвер-

глось атаке, люди инстинктивно сразу почувствовали, что дело идет о всей системе их идей, о всех их общих привязанностях. Следовательно, как мы только что сказали, критический гений должен неизбежно воспрянуть во всей своей силе, ибо при таких условиях вопрос становится для него непосредственно вопросом жизни или смерти. Между тем опыт всех времен показывает, что человечество не так легко позволяет лишиться своего достоинства и что подвергнуться полному преобразованию оно может лишь после продолжительной и тяжелой борьбы.

Эту борьбу мы не побоялись вызвать. Мы знали, что таким образом идеи, уже выдвинутые нами раньше, рискуют потерять расположение, какое они, быть может, успели снискать. Но такое соображение не должно было нас остановить; пока данное нами решение религиозной проблемы не будет принято, не будет также ничего окончательно установленного относительно изложенных нами идей, потому что эти идеи могут быть поняты во всем своем объеме только при сопоставлении их с указанным решением, составляющим их связь и санкцию.

Обсуждение, таким образом, начато, надо продолжать его.

Теперь, когда должно было рассеяться первое чувство удивления, по необходимости вызванное им, и когда данных уже нами разъяснений оказалось, быть может, достаточно, чтобы лишиться наших положений их странного

характера, мы можем надеяться, что нас выслушают с большим, чем вначале, вниманием и с меньшим предубеждением.

Заявляя, что назначение религии вернуть себе прежнюю власть над обществами, мы, разумеется, далеки от утверждения о необходимости восстановить какое бы то ни было из религиозных учреждений прошлого, так же как мы не намерены звать общество назад к старому состоянию войны или рабства. Мы возвещаем новое нравственное состояние, новое политическое состояние, следовательно, также и совершенно новое религиозное состояние, ибо для нас религия, политика и мораль только разные наименования одного и того же факта. Несмотря на то, что эта проблема шире всякой другой, так как она охватывает их все; несмотря на то, что она гораздо более способна возбудить страсти, так как от ее решения должна зависеть участь всей системы господствующих идей, чувств человечества и его общих интересов, она может быть поставлена и решена в простых и вместе с тем ясных выражениях. Пути исследования, способы доказательства, которые должны быть применены к ней,— те самые, какими мы пользовались раньше. В этом отношении мы не удалились от правил, начертанных в начале настоящего изложения: мы подвинулись вперед, но не отклонились в сторону.

Прежде чем идти дальше, мы считаем необходимым напомнить, в каких общих предварительных терминах мы представили уже реше-

ние этой проблемы, а также вернуться вкратце к соображениям, которые мы привели для того, чтобы расположить умы к его признанию.

У человечества, как мы сказали, существует религиозная будущность. Религию будущего не следует представлять себе только как результат внутреннего и чисто индивидуального созерцания у каждого отдельного человека, как чувство и идею, стоящие особняком среди совокупности идей и чувств каждого в отдельности: она должна быть выражением коллективной мысли человечества, синтезом всех его концепций, руководящей нормой всех его действий. Она не только призвана занять место в политическом строе, но, собственно говоря, весь политический строй будущего, рассматриваемый в целом, должен представлять собой не что иное, как религиозный институт. Таковы важные положения, которые нам надо было обосновать. Но до этого нам пришлось опровергнуть доводы и, в некотором роде, критические аксиомы, которые выставлялись в оправдание отказа вступать даже в рассмотрение предлагаемой нами проблемы.

Эти доводы были почерпнуты главным образом из прогресса наук, из соображений о том, что они пролили свет на многие таинственные явления, что они привили умам навыки позитивизма¹ и внушили им отвращение к гипотезам. Мы должны были взвесить ценность этих аргументов. Перечислив

науки, мы прежде всего нашли, что ни одна из них ни по своему предмету, ни по необходимому методу исследования не могла представить ничего доказательного против двух основных идей всякой религии: Провидения и назначения. Мы показали, что если ученые способствовали разрушению религиозных верований, то они сделали это главным образом в качестве ревностных последователей критической философии и ее верований; что только благодаря живой вере, которую внушала им эта философия, т. е. гипотеза о человеке, о мире и об отношении, существующем между тем и другим, ученые могли в фактах, при помощи которых они оспаривали существование бога, усмотреть пригодные для этого доказательства.

Рассматривая затем науки как со стороны их предмета, так и со стороны их метода, мы установили, что они не только ничего не доказывают против религии, но сами берут свое начало и черпают свою силу в идее по существу религиозной, а именно — в идее о том, что во взаимной связи явлений существует постоянство, порядок, регулярность. Исходя из этой мысли, мы указали, что, вероятно, в недалеком времени науки, освободившись от влияния догматов критики, будут рассматриваться с более широкой и более общей точки зрения, чем теперь, и в них не только не будут видеть орудия борьбы против религии, а, напротив, их будут считать лишь средством, данным человеческому

уму для познания законов, при помощи которых бог управляет миром, другими словами, для познания плана провидения. Такое воззрение ставит перед науками в будущем прямую задачу — распространять, поддерживать и укреплять религиозное чувство, так как каждое из их открытий, раскрывая провиденциальный план в более обширном масштабе, должно также увеличивать, подтверждать, укреплять любовь человека к высшему разуму, неустанно ведущему его к лучшей судьбе.

С другой стороны, мы показали, что научный метод или способ исследования всегда предполагает еще до своего применения наличие аксиом, верований, что единственная его цель — классифицировать, координировать факты согласно гипотетическому представлению о существующем между ними отношении или связи и, таким образом, подтвердить это представление. Другими словами, мы сказали, что, собственно говоря, нет метода, при помощи которого можно было бы сделать открытия, воображать, задумывать, творить; что основанием науки служило всегда чувство; оно ограничивало ее сферу, руководило ею в ее изысканиях и определяло порядок ее классификаций, снабжая ее критерием для определения существующих между явлениями различий или аналогий.

Рассмотрев затем всю совокупность наук, именуемых ныне позитивными, — единствен-

ных наук, пользующихся благосклонностью умов, единственных, о которых идет речь, когда хотят опереться на научную почву,— мы показали, что они охватывают в своих исследованиях лишь крайне ограниченную часть явлений вселенной; что явления нравственного или социального бытия человека остались вне их рамок; что явления этого порядка обыкновенно не считают даже возможным свести к простым, регулярным, позитивным законам. Вследствие указанных обстоятельств, эти науки не могли дать никакого общего объяснения вселенной; даже те факты, которые они охватывают специально, неизбежно получают неполное освещение вследствие невежества ученых в области другой, весьма важной части науки, охватывающей нравственные взаимоотношения людей и симпатические связи, соединяющие человеческий род с миром. В самом деле, чтобы объяснить себе, чтобы дать определение вселенной, бесконечное единство которой он ощущает, человек должен становиться поочередно, путем абстракции, то в центре, то на периферии этого единого и множественного явления; он должен то относить все к своему собственному существованию, то смотреть на себя, как на нечто по своей сущности зависимое от всего, относительно которого его индивидуальность представляет не более как точку. Другими словами, чтобы объяснить себе, чтобы определить вселенную, человек должен, как выра-

зился Сен-Симон, поочередно подвергнуть опытному исследованию и самого человека, и то, что не есть человек, микрокосм и макрокосм², непрерывно связывая обе эти точки зрения представлением о существующей между ними симпатии,— представлением, которое для человека есть откровение самого бога. Таким образом, только в том случае, если бы так называемые позитивные науки охватывали все категории поражающих нас явлений, они могли бы считать себя вправе высказаться относительно существования бога, ибо, согласно определению, бог есть существо беспредельное, всеобъемлющее.

Разбирая вопрос о том, в какой мере обоснована неприязнь нашей эпохи к гипотезам, мы показали, что все открытия, все достижения человеческого ума имели до настоящего дня своим источником только гипотезы и что так оно всегда и должно быть; что всякая наука, в том числе и наиболее позитивная, берет за основание какую-нибудь гипотетическую концепцию, которая отводит ей известную область, руководит ею в ее изысканиях и определяет ее классификации; что благороднейшие вдохновения человека не имели той основы; что критическая вера, некогда столь живая, обнаруживающая еще и ныне, когда ее подвергают нападкам, такую мощь, покоится всецело на ряде гипотез, вроде следующих: никакой высший разум не руководит мировым порядком; человеческие действия зависят от капризов случая; чело-

век не имеет бытия за пределами того ограниченного проявления, которое мы называем жизнью; человек рожден свободным и т. д., и т. п. В конечном итоге мы видим, что наш век, несмотря на его притязания, отказался от общих гипотез — провидение, порядок, добро, бессмертие — только для того, чтобы полностью отдаться во власть таких гипотез, как рок или случайность, беспорядок, зло, небытие.

Суммарно воспроизведенные нами сейчас аргументы были к тому же предметом столь обширных разъяснений во время тех отступлений, которые школе пришлось сделать в предыдущих лекциях, что мы считаем себя вправе не останавливаться на них больше. Мы надеемся, что в достаточной мере доказали несостоятельность противопоставленного нам отказа от рассмотрения поднятого вопроса. Приступая теперь прямо к делу, мы постараемся обосновать правильность положений, в которых нами было сформулировано решение религиозной проблемы, для чего воспользуемся историческим методом, механизм которого был подробно объяснен в начале настоящего изложения.

С этой целью мы быстро проследим сейчас религиозное развитие человечества и покажем, что религиозное чувство не только не ослабевало беспрерывно, как это, по-видимому, принято думать, но что, напротив, оно непрестанно росло и приобретало все большее значение.

Религиозное развитие человечества до настоящего времени охватывает три главных состояния, следовавших друг за другом.

Фетишизм, при котором человек обожествляет природу в каждом из ее творений, в каждой из ее форм, в каждом ее случае, не устанавливая никакой общей связи между собой и средой, в которой он живет, или между многочисленными существами, которые он различает в этой среде.

Политеизм, при котором человек, возвышаясь до более общих абстракций относительно окружающего его мира и своего собственного существования, обожествляет эти абстракции и, таким образом, объединяет в них ранее изолированные явления. В эту эпоху он еще не замечает общей связи между всеми существами, но предполагает ее существование, и свидетельством его стремления уловить ее является установление известного рода иерархии между различными олицетворениями, которым он воздает божеские почести.

Монотеизм, при котором человек, не сознавая еще живого и абсолютного единства бытия, устанавливает, однако, общую связь между различными его проявлениями, относя их к единой причине, стоящей, правда, вне вселенной, но воля которой в том виде, как он себе ее представляет, оправдывает и резюмирует все поражающие его факты.

Прогресс религиозного чувства при переходе от каждого из этих общих состояний

к следующему за ним очевиден* прогресс этот может быть рассматриваем с нескольких сторон: если бы он был общепризнан и нам оставалось бы только показать направление, в котором он совершался, то мы должны были бы несомненно проследить его в фактах, относящихся непосредственно к тем трем плоскостям — моральной, умственной и физической, — в которых мы всегда рассматривали человеческую деятельность. Но в данный момент нам приходится еще доказывать самое его существование, поэтому мы должны представить его в терминах, отвечающих тем отрицаниям, предметом которых он является.

В настоящее время обычно принято утверждать, что религия непрерывно теряет свое значение как в индивидуальной, так и в общественной жизни.

Что касается первой точки зрения, то это мнение высказывается в следующих выражениях, а именно: с тех пор как у человека явилось представление о божестве, он питал к нему все меньше любви, все меньше благоговения и постепенно освобождался от власти религиозного закона, обнаруживая все более слабую веру в загробную жизнь.

Легко доказать, что в действительности имело место как раз обратное.

* Каждое из этих религиозных состояний охватывает, в свою очередь, несколько важных оттенков или фазисов, но здесь мы займемся только теми, которые наблюдаются в последнем из них.

При фетишизме, т. е. при наименее развитом состоянии цивилизации, страх является почти единственным чувством, связывающим человека с божеством, каким он его себе представляет. Цель всего культа состоит тогда, по-видимому, только в том, чтобы отвратить гнев враждебных сил, и если в нем проявляется иной раз любовь, то это выражение религиозного чувства всегда слишком слабо, слишком исключительно, чтобы составить его характерную черту.

Если принять во внимание узкие рамки, в которые заключено в эту эпоху представление о божестве и его изображение, то легко будет понять, что оно не могло внушать большого благоговения. И мы видим, действительно, что фетишист держит себя по отношению к своему идолу почти как равный ему и считает себя вправе наказывать его, когда не получает от него того, о чем он его просил.

Так как в этом состоянии человек живет со дня на день, без традиций, без будущего, всецело поглощенный заботами о своих насущных потребностях, редко удовлетворяемых полностью, то у него остается мало времени на размышление о загробной жизни, Ощущение бессмертия, разумеется, не вполне ему чуждо, ибо оно присуще самой природе человека, но в зависимости от характера развитых в нем потребностей, от его ограниченного миропонимания и представления о собственном существовании загробная жизнь —

в те короткие мгновения, когда она занимает его сознание, представляется ему лишь как продолжение того состояния, в котором он находится. Оттого мы и видим, что это верование остается в нем почти бесплодным в смысле влияния на его практические решения.

Политеизм представляет заметный прогресс во всех этих отношениях. Любовь — выражение, отнюдь не чуждое этому религиозному состоянию человечества; слово *pietas*³ было известно язычникам. Однако преобладающим в эту эпоху остается чувство страха, и когда хотят охарактеризовать человека религиозного *par excellence*, тип праведника, то его называют еще богобоязненным.

Политеист благоговееет перед своими боже-ствами гораздо больше, чем фетишист. Правда, он полагает, что может снискать их милость, обещав им награду, но наказывать их он не считает себя ни вправе ни в силах.

Вера в загробную жизнь приобретает в этом фазисе большее значение, но главным образом как карательная санкция, картиною мук, которыми она угрожает виновным. Единственная награда, ожидающая праведных людей и способная возбудить сильное влечение к другой жизни, приобретает лишь в исключительных случаях и ограничивается редкими апофеозами немногих знаменитых мужей, которые под именем героев или полубогов занимают место на Олимпе. Что касается бессмертия, уготованного для обычных добродетелей, то оно,

очевидно, имеет ценность лишь в сравнении с ужасами Тартара,— о чем достаточно свидетельствуют древние предания, сохранившиеся в поэзии; они рисуют нам обитателей Элизиума (которые в этом состоянии представляют собой не более как тени) обреченными на вечные сожаления о земной жизни, даже самой скромной.

Монотеизм охватывает два фазиса: юдаизм и христианство.

Юдаизм представляет значительный прогресс в сравнении с политеизмом. Чувство страха занимает еще, несомненно, огромное место в сердце моисеева народа; страшные эпитеты, которыми он непрестанно наделяет бога, которому служит, и закон истребления, осуществляемый им во имя божие, достаточно свидетельствуют об интенсивности этого чувства. Но живая поэзия, содержащая энергичное выражение этого последнего, показывает нам, что оно уже перестало быть господствующим и что чувство любви начинает, по крайней мере, уравновешивать его.

Благоговение перед божеством также развивается тогда замечательным образом; еврей осмеливается еще иной раз роптать против правосудия бога, но он настолько сознает его превосходство над собой, что не только не помышляет о его наказании, но не делает даже попытки соблазнить его обещанием награды.

Догмат бессмертия, правда, формально не выражен в первых книгах еврейских преданий,— и это обстоятельство часто любят

отмечать критически настроенные философы, но в подразумеваемой форме он со всей очевидностью содержится в ряде мест в этих книгах*. Невозможно было бы, например, не признать его наличия в обетованиях, сделанных избранному богом народу, — обетованиях, которые составляют связующее начало всей его истории и представляют собой одновременно и глубочайший мотив его начинаний, и самую общую и могучую санкцию данного ему закона. Сверх того, мы наблюдаем, как в процессе развития еврейского учения и общества этот догмат все более отделяется от всей совокупности догматов, среди которых он оставался незаметным, и непрерывно возрастает в своем значении вплоть до появления христианства. Будучи прямым наследником моисеева откровения, христианство сразу отвело у себя догмату бессмертия важное место и тем самым засвидетельствовало важную роль, которую он приобрел в учении, господство которого теперь кончилось.

Наконец, христианство открывает новое необъятное поприще для всех констатированных нами достижений. Если в эту эпоху бог, открываясь людям, еще пробуждает в их сердцах чувство страха — неизбежное следствие страшных догматов о грехопадении, вечном проклятии и вечности мук, — то

* Особенно в повторяемой несколько раз фразе по поводу смерти патриархов: *и приложился к народу своему*.

отныне этому чувству отводится настолько подчиненное место, а любовь приобретает настолько сильное и доминирующее выражение в лоне нового религиозного общества, что если и нельзя признать христианство законом, всецело сотканным из любви, то в отношении к прошлому понятна, по крайней мере, иллюзия, сделавшая это выражение столь обычным.

Благоговение христианина перед богом, которому он поклоняется, возвышается до уровня его любви к нему. Как бы несовместимы ни казались ему поражающие его факты с понятиями о божественной справедливости и о божественном провидении, которые он составил себе, он, не задумываясь, склоняет свой разум перед глубиной промысла божия. Каков бы ни был жребий, выпавший на его долю, он не признает за собою по отношению к своему создателю ни права жалобы, ни права осуждения. Во всех положениях, в которых ему приходится бывать, он преклоняется перед предписаниями божьими и чтит их, вина только самого себя. А между тем он бессознательно сомневается еще в благодати и мудрости божьей, ибо он молит его об этом⁴.

Земная жизнь является для христианина в некотором роде только подготовкой к будущей жизни; мысль о бессмертии, проявляется ли она в страхе перед наказаниями или в не менее сильном желании теснее приобщиться к богу, привычна ему и часто является у него

преобладающей. Впрочем, было бы излишне еще больше настаивать на важной роли, которую играл в христианстве догмат загробной жизни. Если в настоящее время это учение утратило свою власть над сердцами, то, по крайней мере, творения его достаточно близки нам, чтобы не изгладиться еще из нашей памяти.

Таким образом, развитие религиозного чувства, поскольку речь идет о месте, занимаемом им в индивидуальной жизни, выступает совершенно очевидно в рассмотренной нами смене трех главных состояний, как и в двух фазах, на которые распадается последнее из них. В этой последовательной смене мы наблюдаем непрерывное укрепление религиозной связи благодаря росту любви человека к богу, благоговения перед ним и все большей значительности, приобретаемой догматом бессмертия.

Нам остается теперь показать не менее очевидное развитие религии со стороны ее социального значения, ее сплачивающей силы.

Точно так же, как в окружающем его мире фетишист видит только разобщенные существа, он видит одни лишь разобщенные существа и в общечеловеческой семье. Принцип ассоциации не распространяется им далее прямых семейных связей — последнего предела индивидуальности, ибо невозможно представить себе абсолютно изолированного индивидуума. Если и происходит иной раз соглашение между более значитель-

ным числом людей, то только ради какого-нибудь исключительного случая, например охоты, наступательной или оборонительной войны; но после таких временных, случайных объединений каждый спешит обратно к себе, чтобы замкнуться в лоне своей семьи. Культ носит тогда, собственно говоря, совершенно индивидуальный характер; как и само божество, он ограничен пределами домашнего очага; глава семьи является ее первосвященником.

Подобно тому как политеист приписывает управление вселенной столь же многочисленным причинам, сколь многочисленны абстракции, до которых возвышается его ум, он делит управление людьми между столькими же различными божествами, сколько различных ассоциаций существует на земном шаре. Только здесь религиозная концепция начинает принимать социальный характер. Семейный культ сохраняет еще большое значение, но культ города уже доминирует над ним. Однако при таком положении вещей социальная ценность религиозного догмата еще очень ограничена. Прежде всего, этот догмат служит связью только для населения данного города-государства, а затем он и здесь не связывает прямо всех людей, входящих в его состав: религия патриция и плебея не одна и та же; что же касается раба, то он остается вне всякого религиозного бытия, а следовательно, и бытия социального.

Монотеистический догмат евреев потенциально призывает человечество образовать

одну всемирную ассоциацию. Признавая единство бога, этот народ провозглашает единство человеческого рода. Правда, поскольку речь идет о социальном значении этой общей концепции, он уклоняется от ее выводов при помощи идеи о том, что *бог избрал только один народ и устранил от соединения с ним все прочие народы*. Но в пределах израильского народа религиозное верование, в отличие от того, что происходит внутри политеистического города, одно у всех классов и непосредственно привязывает все эти классы к обществу. У евреев мы видим, правда, рабов, но это, если позволительно так выразиться, лишь непоследовательность, которая отчасти сглаживается предоставлением рабам права принять и исповедовать религиозную веру своих господ, затем — не очень жестоким обращением с рабами и ограничением самого срока рабства.

Наконец, появляется христианство. Подобно еврейскому монотеизму, оно признает единство бога и единство человеческой семьи, но, в отличие от него, оно не исходит более из предположения об исключительности одного избранного народа; оно не допускает, чтобы части человечества было отказано в познании бога и в надежде на его обетования. Напротив, оно призывает всех людей разделять одно верование, объединиться в единую ассоциацию, образовать единую церковь. Правда, мы видим, что после установления христианства рабство сохраняется еще в те-

чение некоторого времени, но с этого момента христиане предпринимаяют против него прямую атаку во всевозможных формах, и, в конце концов, оно полностью отступает перед их натиском. Христианский монотеизм первоначально имеет ту невыгодную сторону в сравнении с еврейским монотеизмом, что он не превращается, подобно последнему, в политический закон, охватывающий и регулирующий всю человеческую деятельность — индивидуальную и общественную, или, в другом отношении, духовную и материальную. Причины этого явления мы покажем впоследствии, но уже сейчас отметим, что еще тогда, когда христианство представляло, собственно говоря, только совокупность индивидуальных предписаний, оно тем не менее вызвало к жизни при власти католицизма самую обширную политическую ассоциацию, какая когда-либо существовала, благодаря потенциальной силе соединения, содержащейся в самой формулировке его нравственного догмата.

Из всего предшествующего следует, что религия, как мы это заявили вначале, приобрела в своем последовательном развитии, представленном фетишизмом, политеизмом и монотеизмом (рассматривая последний в двух охватываемых им фазах), все более важное значение. И это значение она приобрела с двоякой точки зрения: и со стороны своей социальной ценности, и по занимаемому ею все большему месту в индивидуальной

жизни человека. Теперь, как мы сказали, она призвана сделать новый громадный шаг вперед. В новом изложении доктрины нашего учителя мы покажем, в чем должен состоять этот прогресс и какие перемены принесет он миру⁵.

В бегло нарисованной нами картине мы не могли претендовать на то, чтобы вселить религиозное убеждение в сердца наших слушателей или доказать им то, что недоказуемо — существование бога. Мы хотели только констатировать при помощи исторического метода, получившего в общем их одобрение, что религиозные верования не только не ослабевали, как это, по-видимому, склонны вообще думать, а, напротив, явно возрастали.

Научный язык, которым мы до сих пор пользовались, мало пригоден — как нам известно — для того, чтобы вызвать религиозные убеждения. Обращения этого рода совершаются только словом вдохновенных людей, пророков, — словом, которое бог никому не дозволяет теперь произвести несомненно потому, что никто еще не в состоянии уразуметь его. Единственный результат, которого мы надеялись достигнуть в данный момент, это — подготовить почву для такого симпатического слова, отвергнув софизмы, посеянные в умах критической философией, разбив предрассудки атеизма, разрушив прискорбные гипотезы эгоизма.

КОММЕНТАРИИ

БАЗАР

(Биографический очерк)

Базар Сент-Аман (Bazard Saint-Amand) родился в Париже 19 сентября 1791 г. В 1814 г., 22-летним юношей, он храбро сражался в рядах национальной гвардии Сент-Антуанского предместья Парижа против вторгшихся во Францию войск антифранцузской коалиции, за что был произведен в чин ротного капитана национальной гвардии и награжден орденом Почетного легиона. В годы Реставрации, служа мелким чиновником в Париже, Базар *всецело отдавался* политической борьбе против реакционного правительства Бурбонов. В этот период он сблизился с *группой молодых республиканцев*, совместно с которыми основал в 1820 г. Общество французских карбонариев. Базаром был написан устав, а также ряд других директивных документов этого общества, получившего широкое распространение не только в Париже, но и в провинции. В 1821 г. мы встречаем Базара в числе организаторов восстания в Бельфоре. Приговоренный заочно к смертной казни после провала восстания он продолжал, однако, руководить движением карбонариев. Но движение это приближалось к закату, о чем свидетельствовали, в частности, два конгресса французских карбонариев, состоявшиеся в это время в Бордо. Базар представлял на этих конгрессах. Сам он также начал постепенно отходить от активной политической деятельности, все более углубляясь в теоретические исследования. По возвращении в Париж, где он вынужден был

жить под вымышленными именами, он в 1825 г. через О. Родрига познакомился с учениками Сен-Симона и вскоре занял одно из руководящих мест среди сен-симонистов. С октября 1825 г. активно сотрудничает в основанном учениками Сен-Симона после его смерти журнале «Le Producteur». Когда журнал этот, за неимением средств, в 1827 г. прекратил существование, сен-симонистская школа, казалось, вступила в полосу тягчайшего кризиса; она, однако, устояла в значительной мере благодаря усилиям Базара. Об этом свидетельствует сам Базар в письме к Ресегье (Resseguier) от 20 мая 1832 г. «Я глубоко сознаю,— писал он,— что без меня не существовало бы сен-симонистского учения не только потому, что нельзя абстрагироваться от моих работ, которые можно узнать в составляющих это учение элементах, а также и по той известности, которую это учение завоевало, но еще и потому, что было время, когда, после приостановки «Le Producteur» — большинству сен-симонистов это сейчас не известно — Анфантен и Родриг перестали заниматься доктриной и отдались своим личным делам. Лишь я один настойчиво продолжал начатое дело, и это мне удалось благодаря особым лекциям, причем в течение почти года (1827) я не получал ни от того, ни от другого никакой помощи; они даже не присутствовали на лекциях и стали ближе к ним лишь тогда, когда эти лекции уже несколько нашумели и когда большинство лиц, которых я таким образом объединил вокруг себя, оказались подготовленными к тому, чтобы составить основное ядро сен-симонистского общества»*.

В декабре 1828 г. сен-симонисты организовали в Париже цикл публичных лекций; по поручению школы Базар взял на себя нелегкий труд систематизации крайне хаотического идейного наследия Сен-Симона и его изложения в виде стройной системы.

* Bazard a Resseguier, 20 mai 1832. Цит. по документации, опубликованной Н. R. D'Allemagne в кн. «Les saint-simoniens. Paris, 1930, p. 60.

Лекции эти, читавшиеся с 17 декабря 1828 г. каждые две недели по средам в помещении на улице Тарани, привлекали к сен-симонистской школе многочисленную публику. Базар не был красноречив. «Его описывают нам,— сообщает Жорж Вейль,— говорящим холодно, медлительно, подыскивая слова, вертя обычно табакерку между пальцами; но все в его поучениях отличалось ясностью, связностью изложения, обоснованностью; неспособный тронуть сердца, он умел убеждать»*.

К тому времени, когда на улице Таранн приближался к концу первый цикл лекций, сен-симонисты были уже в состоянии приступить к изданию нового органа— «L'Organisateur», основанного ими 15 августа 1829 г. Вскоре после этого, 31 декабря того же года, школа была превращена в религиозную общину, а Базар провозглашен наряду с Анфантеном ее «верховным отцом».

Революция 1830 г., в которой сен-симонисты не принимали активного участия, дала значительный импульс для их пропаганды. 30 июля на стенах Парижа появилась за подписями Базара и Анфантена прокламация к французам, в которой, между прочим, говорилось: «Слава вам! Вы первые заявили христианскому духовенству и феодальной верхушке, что они не созданы... для того, чтобы властвовать над вами. Вы оказались сильнее вашего дворянства и всей этой своры бездельников, живших за ваш счет, ибо вы трудились в поте лица своего... Феодальный строй будет мертв навсегда, когда все привилегии рождения, без исключения, будут уничтожены и когда каждый человек будет занимать место сообразно своим способностям и вознаграждаться соответственно своим делам»**.

Из других сен-симонистских документов этого периода, принадлежащих перу Базара, назовем письмо к

* G. Weill. L'ecole saint-simonienne. Paris, 1896. p. 20.

** Цит. по D'Allemagne, Op. cit, p. 111.

АН ФАН ТЕН

(Биографический очерк)

председателю палаты депутатов от 1 октября 1830 г., в котором Базар в ответ на обвинение сен-симонистов в проповеди общности имуществ, как и общности женщин, изложил свое понимание сен-симонистских принципов супружеской морали. «Христианство,— говорилось в этом письме,— вывело женщин из состояния рабства, но оно поставило их в подчиненное положение, и везде в христианской Европе мы все еще видим их лишенными религиозных, политических и гражданских прав. Сен-симонисты провозглашают их окончательное освобождение, их полную эмансипацию, не требуя, однако, для этого упразднения священного закона о браке, провозглашенного христианством. Напротив, они пришли, чтобы выполнить этот закон, дать ему новую санкцию... Подобно христианам, они хотят, чтобы каждый мужчина был связан с одной женщиной, но они поучают при этом, что жена должна пользоваться равными правами с мужем...».

В 1830—1831 гг. сен-симонистская школа пережила период подлинного расцвета. С 18 января 1831 г. она владела новым органом — «Le Globe». Лекции и проповеди сен-симонистов в Париже происходили в пяти различных местах: в зале Тэбу (Taitbout), в зале Атений, на улице Таранн, на площади Сорбонны и на улице Монсиньи. Они превратились в ежедневные. Однако уже в ноябре 1831 г. в рядах сен-симонистов произошел раскол, вызванный конфликтом, который давно назревал между Базаром и Анфантеном. Базар не разделял взглядов Анфантена на брак и семью, отстаивая, как мы видели, святость брачных уз. Анфантену удалось увлечь за собой большинство сен-симонистов. Базар, оставшийся с небольшим числом сторонников, вскоре после разрыва удалился вместе с семьей в деревню в департамент Сены и Марны. Здесь он изложил свои взгляды в брошюре «Discussions morales et politiques», которая осталась неоконченной. 19 июля 1832 г. Базар умер.

Анфантен Бартеlemi-Проспер (Enfantin Barthelemy-Prosper) являлся наряду с Базаром одним из руководителей сен-симонистской школы после смерти Сен-Симона.

Анфантен родился в Париже 8 февраля 1796 г. в семье разорившегося банкира. В 1814 г., будучи стипендиатом Политехнической школы, принимал участие в обороне Парижа. В годы Реставрации, как и многие его товарищи, он был отчислен из школы. Поступив на службу к крупному торговцу винами в городе Романь, он был послан хозяином в качестве коммивояжера в ряд стран, в том числе в Россию. В 1821 г. он переходит на службу в один из петербургских банкирских домов, однако уже в 1823 г. возвращается во Францию и здесь, устроившись на службу в ипотечную кассу, вступает в одно из многочисленных тайных обществ, которыми кишел в то время Париж.

В 1825 г. через директора ипотечной кассы О. Родрига Анфантен познакомился с Сен-Симоном и вскоре сделался одним из ближайших его учеников. После смерти Сен-Симона Анфантен вместе с Базаром и О. Родригом основал с целью распространения идей Сен-Симона журнал «Le Producteur» (1825—1826), а с декабря 1828 г. принимал участие в организации публичных лекций в Париже на улице Таранн. Благодаря организаторскому таланту, красноречию и общительности Анфантену удалось сгруппировать вокруг сен-симонистской школы многих выдающихся людей того времени. Не довольствуясь пропагандой сен-симонистского учения в Париже, Анфантен немало способствовал распространению его в провинции, главным образом на юге Франции, где центрами сен-симонистской пропаганды были Лион, Тулуза, Монпелье, Дижон, Мец и ряд других городов.

В распоряжении школы в 1831 г. имелся новый орган «Le Globe», активным сотрудником которого был Анфантен. К этому же периоду относятся сен-симонистские собрания на улице Монсиньи, носившие особенно оживленный характер зимой 1830—1831 гг.

и привлекавшие к себе ученых, артистов, поэтов, музыкантов Парижа. На улице Монсиньи в конце 1830 г. сен-симонистами была основана небольшая коммуна из 42 человек. В нее входили Анфантен, Базар с семьей, Лешевалье, Дювейрье, Мишель Шевалье и многие другие. После превращения школы в религиозную общину Анфантен в качестве ее «верховного отца», все более претендовавшего на роль главы школы, немало способствовал вырождению сен-симонизма в религиозную секту. По вопросу о религиозной окраске школы, как и по вопросу о браке и семье, между Анфантеном и Базаром обнаружилось глубокое расхождение, приведшее в ноябре 1831 г. к расколу и последующему распаду сен-симонистской общины, ускоренному к тому же правительственными преследованиями, особенно усилившимися с августа 1831 г. Заслуживает далее внимания попытка Анфантена организовать в 1832 г. в имении Менильмонтан близ Парижа трудовую коммуны, в которую входило около 40 человек. Попытка эта, однако, привела к судебному процессу против сен-симонистов, которым было предъявлено обвинение в оскорблении нравственности и в проповеди опасных идей. 28 августа 1832 г. Анфантен был приговорен к году тюремного заключения. После освобождения из тюрьмы он с некоторыми из своих сторонников отправился в Египет для участия в инженерных работах по сооружению плотины на Ниле. Провал этого предприятия вынудил Анфантена после двухлетнего пребывания в Каире вернуться в январе 1837 г. на родину. В последующие годы Анфантен служил почтмейстером вблизи Лиона. В декабре 1839 г. при финансовой поддержке некоторых из его старых последователей Анфантен принимает участие в научной экспедиции в Алжир. 1845 год застает его на административном посту в управлении Лионской железной дороги; позднее он переходит на службу в управление железной дороги Лион—Средиземное море. Анфантен умер в Париже 31 мая 1864 г.

Из опубликованных работ Анфантена известны: «Политическая экономия» (1831), «Мораль» (1832), «Колонизация Алжира» (1848), «Философская и религиозная переписка» (1847), «Политическая переписка» (1849).

Родриг Бенжамен-Оленд (Rodrigues Benjamin-Olinde) — ближайший ученик Сен-Симона, один из основателей сен-симонистской школы. Родился 16 октября 1794 г. в Бордо в семье финансиста. Обладая выдающимися математическими способностями, Родриг в течение ряда лет преподавал математику в Политехнической школе в Париже. Затем он был директором одного из кредитных учреждений Парижа — ипотечной кассы (Caisse hypothecaire). Познакомившись с Сен-Симоном, Родриг становится преданнейшим учеником великого социалиста-утописта, завещавшего своим ближайшим последователям, в том числе Родригу, продолжить начатое им дело. Сохраняя верность учителю и после его смерти, Родриг уже в 1825 г., в год смерти Сен-Симона, опубликовал со своим предисловием последнее произведение Сен-Симона «Новое христианство». С той же целью распространения учения Сен-Симона Родриг вместе с Анфантеном и Базаром основал в 1825 г. еженедельный журнал «Le Producteur», директором и активным сотрудником которого он являлся. В ряде статей этого журнала он изложил экономические взгляды Сен-Симона. Родриг сумел привлечь к сен-симонистской школе многих выдающихся людей. Он принимал активное участие в организации и редактировании публичных лекций, вошедших в состав «Изложения». Когда в 1831 г. школа раскололась, Родриг остался с Анфантеном, который присвоил ему титул «главы сен-симонистского культа, отца индустрии». Родриг взял на себя главные заботы по финансированию сен-симонистских начинаний. Вскоре, однако, и он отошел от Анфантена, оттолкнувшего его экстравагантностью своих взглядов на брак и семью. Объявив себя публично единственным преемником Сен-Симона,* Родриг вскоре после разрыва с Анфантеном предпринимает издание полного собрания

* См. манифест О. Родрига в опубликованных им в 1839 г. сочинениях Сен-Симона.

сочинении своего учителя, однако ему удается опубликовать лишь два тома произведений Сен-Симона.

Далее, в течение ряда лет, вплоть до революции 1848 г., мы встречаем Родрига в числе других французских финансистов, активно участвовавших в железнодорожном строительстве Франции. Наряду с этим Родриг занимался организацией сберегательных касс, обществ взаимопомощи, проектом создания государственной пенсионной кассы.

Родриг возвратился к политической деятельности вскоре после революции 1848 г. Под названием «*Paroles d'un mort*» он опубликовал отдельные высказывания Сен-Симона; 9 марта 1848 г. он развешивает на стенах Парижа плакаты на тему об организации труда и банков, об ассоциации труда и капитала. В этих плакатах Родриг один из первых во Франции и в Европе предлагает разрешить конфликты между трудом и капиталом путем системы участия в прибылях. Он излагает свои взгляды Луи Блану, требует национального займа в 300 млн. франков. Он всеми средствами старается оживить сен-симонистскую школу, неоднократно выступает в клубах Парижа. Но все его усилия остаются безуспешными. Почти всеми забытый, он умер в 1851 г., оставив после себя ряд брошюр: «Теория ипотечной кассы» (1820), «Оленд Родриг сен-симонистам» (1832), «Оленд Родриг Мишелью Шевалье» (1832), «Народ и дипломатия» (1840), ряд статей в журналах,

ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

«Изложения учения Сен-Симона»

Первое печатное издание «Изложения» появилось в Париже в 1830 г. Цикл лекций первого года (с 17 декабря 1828 г. по 12 августа 1829 г.) выдержал в один год два издания:

1. *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Premiere annee.* 1829. Paris. Au bureau de «L'Organisateur» et chez A. Mesnier. 1830.
2. *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Premiere annee.* 1829. 2-me ed. Paris. Au bureau de «L'Organisateur» et chez A. Mesnier. 1830.

Лекции второго года вышли в 1830 г. одним изданием:

3. *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. 2-me annee.* 1829—1830. Paris. Au bureau de «L'Organisateur» et du «Globe». 1830.

В 1831 г. в Брюсселе было переиздано 2-е парижское издание I части «Изложения»:

4. *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Premiere annee.* 1829. 2-me ed. Bruxelles. 1831.

В том же году в Париже вышло 3-е пересмотренное и дополненное издание I части «Изложения»:

5. *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Premiere annee.* 1828—1829. 3-me ed., revue et augmentee. Paris. Au bureau de «L'Organisateur». 1831.

С 1831 г. «Изложение» не переиздавалось вплоть до 1854 г., когда появилось новое его издание, включавшее в одной книге лекции первого и второго года:

6. Doctrine saint-simonienne. Exposition. Paris. Librairie Nouvelle. 1854.

Далее текст «Изложения» (I и II части) был переиздан в 1877 г. Он вышел в 41—42 тт. сочинений Сен-Симона и Анфантена:

7. Doctrine saint-simonienne (Nouveau Christianisme). Exposition par Bazard au nom du College en 1829 et 1830. In: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin. Vol. 41—42. Paris, 1877 (I et II parties).

В 1924 г. профессора С. Bougie и Е. Halevy переиздали текст 3-го издания «Изложения» 1831 г.:

8. Doctrine de Saint-Simon. Exposition Premiere annee. 1829. Nouv. ed., publ. par C. Bougie et E. Halevy. Riviere. 1924.

Все перечисленные издания «Изложения» имеются в СССР в библиотеке Института марксизма-ленинизма.

Переводы

В 1923 г. «Изложение» (I часть) было переведено на русский язык М. Е. Ландау. Перевод снабжен предисловием и примечаниями В. П. Волгина. В основу русского перевода 1923 г. положен текст французского издания 1854 г.

В 1947 г. «Изложение» (I часть) было издано вторично, причем перевод М. Е. Ландау был заново отредактирован, снабжен комментариями и сверен с французским изданием 1924 г. Э. А. Желубовской.

Настоящее издание выходит к двухсотлетию со дня рождения Сен-Симона. Перевод «Изложения» пересмотрен и исправлен Э. А. Желубовской. Вступительная статья академика В. П. Волгина переработана и дополнена автором.

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

¹ «Le Producteur» — еженедельный, а затем ежемесячный орган сен-симонистской школы, основанный О. Родригом и Анфантеном в октябре 1825 г., после смерти Сен-Симона (19 мая 1825 г.). В конце 1826 г. прекратил существование.

² Хотя еще наименование крайних реакционеров в период Реставрации. Сен-симонисты в первых же строках своего «Введения» отмежевываются и от либеральной и от консервативной партий. Принципы той и другой представлялись им, как и их учителю, одинаково далекими от тех принципов, которые должны лечь в основу назревшего преобразования общественной организации.

³ «Он изгнал из Рима евреев, которые постоянно бунтовали, подстрекаемые Христом» (Светоний).

⁴ Характерное для сен-симонизма сопоставление раскола в пределах христианской церкви с современным им либерализмом. И то и другое в их глазах — проявление индивидуализма, духа критики и разрушения. Папское единство для них гораздо ближе, — чем протестантская оппозиция.

⁵ Из позднейших руководителей сен-симонистской школы учениками Сен-Симона при его жизни были О. Родриг и Анфантен. Первоначальное ядро школы составляли кроме них Л. Галеви, Байи, Дювейрье. В «Le Producteur» принимал участие О. Конт. Базар примкнул к школе уже после смерти Сен-Симона.

⁶ «Le Producteur» сумел привлечь к сотрудничеству довольно широкий круг лиц. Многие из них, однако, примкнули к школе только на короткий срок. Из постоянных сотрудников отметим Бюше и Лорана. Шесть лиц, о которых идет речь в тексте, — О. Родриг, Анфантен, Базар, Бюше, Лоран и Руан.

⁷ Большой успех имела пропаганда сен-симонистов среди учеников Политехнической школы. В этот период к школе примкнули А. Трансон, Лешевалье, М. Шевалье, А. Фурнель, И. Карно и другие.

⁸ Собрания происходили сначала в помещении Caisse hypothecate, директором которой был О. Родриг, а затем в специальном помещении на улице Таранн. Первая лекция состоялась 17 декабря 1828 года. Собрания продолжались до начала 1830 г. (см. указания в начале каждой лекции).

⁹ Первая часть лекций была отредактирована для печати И. Карно, Фурнелем, Дювейрье; вторая — Карно и Базаром.

¹⁰ В настоящем, как и в предшествующих русских изданиях, опущено предпосланное далее французскому тексту лекций «Письмо к католику», не входящее органически в «Изложение».

Лекция первая

¹ Термин ряд (serie) приобретает значительную популярность в первой половине XIX столетия. Фурье строит картину будущего, исходя из положения, что мир представляет собой систему рядов. Вслед за ним Прудон в своем произведении «Creation de l'ordre» трактует о рядах, которые он всюду находит в мире. Сен-Симон пользуется этим термином в работе «Mémoire sur la science de l'Homme». (Oeuvres choisies de Saint-Simon, 1859, t. II, p. 52).

² Смехотворная мышь. Латинская поговорка: «Partiunt monies, quid nascitur? Ridiculus mus» — «Рожают горы, а что родится? Смехотворная мышь».

³ В 1815 г. Френель сделал свои первые наблюдения над новыми явлениями интерференции, представлен-

ными дифракцией света. Так как эти явления нельзя было объяснить при помощи ньютоновской теории, то Френель восстановил теорию Гюйгенса (Huygens), который приписывал световые явления колебаниям тока. Свою работу на эту тему Френель представил в 1815 г. в Академию наук. В 1819 г. ему была присуждена премия Академии наук за исследование общих явлений дифракции. С 1824 г. Френель являлся членом Академии наук. Он умер в 1827 г., не достигнув 40-летнего возраста.

⁴ На это указывал также Базар в статье, появившейся в «Le Producteur» (т. III, стр. 541). Когда в 1795 г. Конвентом был основан «Французский институт» (так называется французская Академия наук), то в нем были представлены «моральные и политические» науки, разбитые на шесть секций. Однако в 1803 г. они были изъяты из Института Наполеоном. С тех пор либералы всех школ требовали их восстановления, и Гизо в 1833 г., став министром просвещения, снова ввел эти науки в систему Института.

⁵ Первое применение этой формулы физиократы приписывают В. де Гурнэ (Gournay) другие — маркизу д'Аржансону. См. V. Onken, Die Maxime: «Laissez faire, laissez passer». 1886. См. также: Charles Jide et Charles Rist, «Histoire des doctrines économiques», Paris, p. 12.

⁶ Законопроект о печати, представленный Пейроно в палату депутатов 29 декабря 1826 г. и принятый ею 12 марта 1827 г., встретил значительную оппозицию в стране главным образом со стороны типографов, издателей и т. д. В петиции, адресованной палате депутатов и подписанной 250 парижскими печатниками и книгопродавцами, количество семейств, обреченных новым законом на нищету, исчислялось в 10 тысяч. Согласно другим петициям, число рабочих, терявших работу в связи с принятием нового закона, в одном только Париже исчислялось в 40 тысяч человек.

⁷ У Сен-Симона мы находим лишь слабые зачатки замечательного толкования социальной роли искусства, которое дается здесь сен-симонистами. Возможно, что эта часть лекции была разработана при деятельном участии Анфантена, питавшего к эстетическим

проблемам особый интерес. О преобладающих интересах Анфантена говорит и следующий абзац, посвященный браку. Отдельные конкретные сопоставления сенсимонистов, конечно, устарели, но основной принцип социальной теории искусства установлен ими с исключительной силой и яркостью.

Лекция вторая

¹ Имеются в виду слова Сен-Симона: «Родриг, помните ... чтобы творить великие дела, необходимо обладать сильными страстями...» («Le Globe», 30 dec. 1831).

² Из перечисленных мыслителей ближайшими предшественниками и учителями Сен-Симона следует считать Тюрго и Кондорсе. Отношение между ними и Сен-Симоном в общем точно характеризовано.

³ Имеется в виду теория Фурье о четырех фазах цивилизации: первая—детство; вторая — юность; третья — возмужалый возраст; четвертая — дряхлость (Ch. Fourier. Tableau du nouveau monde industriel. 1828).

⁴ Политический строй Соединенных Штатов Америки уже с конца XVIII столетия представлялся образцовым многим передовым людям Старого света. Так, например, Кондорсе в опубликованном им в 1786 г. произведении «De l'influence de la Revolution d'Amerique» подчеркивал преимущества американской революции, содействовавшей «усовершенствованию человеческого рода». Либеральные экономисты школы «Senseur», в тесном сотрудничестве с которыми несколько лет работал Сен-Симон, смотрели на политический строй США как на идеал, к которому следует Европа. Однако Сен-Симон и его ученики не присоединялись безоговорочно к хвалебным высказываниям об американской республике. Они отмечали и ряд ее слабых сторон, в частности то, что в ней наблюдается «недостаток в ученых и артистах», ибо «молодые народы больше гонятся за богатством, нежели за знаниями». Сен-Симон и его

ученики считали также, что «в области политики американцы являются еще младенцами». (Catechisme politique des industriels, seconde livraison. Appendice, note. «Les Etats-Unis», ed. 1832, p. 164).

⁵ В «Философских фрагментах», появившихся в свет в 1826 г., Виктор Кузен опубликовал курс «философии истории», в котором он, между прочим, заявляет, что без наличия общей идеи история рискует превратиться в конгломерат «малозначащих событий и случайных действий».

⁶ В третьем, вновь пересмотренном и исправленном издании 1831 г. сказано: «критикам XVII в.»; в издании же 1830 г. сказано: «критикам XVIII в.», что более понятно.

⁷ История Востока представляется, по-видимому, сенсимонистам особым рядом, в известных пределах параллельным ряду истории Запада; но в то же время первые члены восточного ряда, влияя на западный, тем самым как бы в него входят. У Сен-Симона нет идеи параллельных рядов, он дает нам историю в виде единого ряда.

Лекция третья

За десять дней до того как была прочитана эта лекция О. Конт начал читать перед избранной публикой свой «Курс позитивной философии». Именно О. Конта и его последователей имел в виду Базар, говоря о «рассудочном» веке. Этой лекцией открывается, в сущности, полемика сенсимонистов с Контом, которая возобновляется ими в пятнадцатой лекции.

² Публицистами в то время назывались преимущественно люди, занимавшиеся вопросами гражданского права. В данном случае имеются в виду люди, писавшие на политические темы.

³ Весьма характерно, что сенсимонисты, минув просветительную философию XVIII века, протягивают руку знаменитым философам-идеалистам и далее Фоме Аквинскому и Августину. Сен-Симон в большей

степени сын XVIII века, и его отношение к теологии и метафизике, при всей его склонности к реабилитации средних веков, гораздо более сдержанно.

⁴ Излагаемые ниже замечания теоретико-познавательного характера принадлежат всецело ученикам. Философское образование самого Сен-Симона было совершенно недостаточно, здесь же чувствуется человек, прошедший серьезную школу идеалистической философии. Возможно, что на философских построениях «Изложения» сказалось влияние рано умершего талантливого философа-идеалиста Е. Родрига, брата одного из основателей школы и деятельного участника ее собраний.

⁵ Речь идет либо о сочинении Лапласа «*Theorie analytiques des probabilités*» (1812), либо, что более вероятно, о другом его классическом произведении «*Essai philosophique sur les probabilités*» (1814).

⁶ Этих строк мы у Сен-Симона не находим. Терминология принадлежит сен-симонистам.

⁷ Слово «протеста» специально подчеркнуто: сен-симонисты имеют в данном случае в виду протестантизм, который они порицали за его критическое направление.

³ Идея энциклопедии наук пропагандировалась Сен-Симоном с самого начала его литературной деятельности. Религиозный оттенок представление о догме начало получать лишь к концу его жизни,

Лекция четвертая

¹ Термин «ассоциация» встречается у Сен-Симона.

² Термин «антагонизм» не встречается у Сен-Симона. Он появляется впервые в «*Le Producteur*» (т. III, стр. 367—368).

³ Впервые эта идея изложена в статье Анфантена, напечатанной в «*Le Producteur*» (т. III, стр. 66 и сл.).

⁴ Формула «эксплуатация человека человеком» появляется впервые в «Изложении». Однако по статьям сен-симонистов, главным образом Анфантена,

в «*Le Producteur*» можно проследить, как постепенно выкристаллизовывалась эта формула. См., например, «*Le Producteur*», т. I, стр. 555, т. III, стр. 67.

Лекция пятая

¹ Отметим ссылку на авторитет Канта, свидетельствующую о влиянии на сен-симонистов немецкой философии.

Лекция шестая

¹ Мысль о том, что рабочий есть прямой наследник раба и крепостного, высказывалась еще в XVIII веке Ленге. Но для Ленге, очень ярко характеризовавшего положение рабочих, идеал был позади, а не впереди. Поэтому положение рабочего он считал регрессом по сравнению с положением раба. Во всяком случае, отрывок «Изложения», касающийся рабочих, напоминает соответственные места у Ленге. У Сен-Симона мы находим лишь слабые намеки на эту характеристику.

² Формулу «производительные услуги» впервые ввел в политическую экономию Ж.-Б. Сэй (*Traite d'economie politique*, vol. I, ch. IV; v. II. ch. V).

Лекция седьмая

¹ Взгляд на собственника как на лицо, призванное выполнять определенную общественную функцию распределения средств производства, был довольно широко распространен еще в XVIII веке. Эту мысль развивал, между прочим, Мирабо в своих речах по вопросу о церковных имуществях. Тот же Мирабо, исходя из такого взгляда на собственника, доказывал, что наследование может быть регулируемо в соответствии с общественными нуждами.

Лекция восьмая

¹ Де Местр, де Ламеннэ, де Монлозье — представители реакционной школы во французской политической литературе начала XIX века. Поворот Ламеннэ в

сторону оппозиции произошел позднее. Сен-симонисты оценивают реакционеров как «последний вздох средневековья», признавая, что в этих вздохах есть «великое». Их сближает с реакционерами ненависть к индивидуализму и безрелигиозности переживаемой «критической» эпохи.

¹ Ценным дополнением к разделу об экономистах могут служить опубликованные Анфантенем в «Le Producteur» (т. IV, стр. 373 и сл.; т. V, стр. 17 и сл.) статьи под названием «Considerations sur les progres de leconomie politique dans ses rapports avec l'organisation sociale». К сожалению, Анфантену удалось опубликовать лишь две статьи, в которых он довел изложение только до «физиократов»: «Le Producteur» прекратил свое существование.

³ Презрение к «легистам» мы находим и у Сен-Симона, обосновывающего его исторически.

⁴ Может показаться странным, что имя Делольма поставлено в «Изложении» рядом с гораздо более известными именами Сиейеса и Бентама. Но произведение под названием «О конституции Англии», опубликованное в 1771 г. женеvским юристом Ж.-Л. Делольмом, одно время пользовалось известной славой. Сен-симонисты отнюдь не считают Сиейеса, Монтескье, Делольма и Бентама представителями одной школы,

⁵ Почти дословное повторение известного места из II части «Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes» (собр. соч., изд. 1826 г., т. I, стр. 292).

⁶ Эти рассуждения составляют основную тему произведения Мальтуса «О принципе народонаселения» (изд. 1—1798 г., изд. VI—1826 г.). Во Франции основной тезис Мальтуса был воспроизведен Ж.-Б. Дюнайе (Dunoyer), давнишним соратником Сен-Симона в «Senseur». Его заимствовал также француз Т. Дюшатель.

⁷ Заимствовано из речи, произнесенной Казалесом 5 апреля 1791 г. по поводу декрета, устанавливавшего порядок наследования. Казалес отстаивал в этой речи принцип свободы завещания в противовес принципу равного раздела имущества между всеми детьми

⁸ Речь идет в данном случае о доктрине Бабефа, которой Анфантен в известном смысле отдает должное, хотя в целом ставит ее ниже доктрины Сен-Симона.

⁹ Таким образом и бентамовский принцип «полезности» сен-симонисты подвергают критике не столько с точки зрения абстрактной, сколько, прежде всего, с точки зрения исторической.

¹⁰ Цитировано из сочинения Бентама «Traites de legislation civile et penale», t. I, p. 307.

¹¹ Термин «утилитаристы» (utilitaristes), которым обозначаются в «Изложении» последователи Бентама, введен сен-симонистами. Сами ученики Бентама во Франции называли себя еще за несколько лет до 1829 г. «utilitaires». По этому поводу см. Elie H a l è v u. «La formation du radicalisme philosophique», t. II, p. 300, 376.

Лекция девятая

¹ Вольней — французский историк и лингвист конца XVIII и начала XIX в. В 1793 г. он издал «Катехизис французского гражданина, или физические принципы морали».

Лекция десятая

¹ Признание чувства единственным двигателем человеческих действий роднит сен-симонистов с Мабли, протестовавшим против рационализма физиократов и утверждавшим, что «страсти, а не логическая очевидность — наш повелитель»; оно роднит сен-симонистов вообще с оппозицией рационализму XVIII века, в том числе и с реакционерами.

Лекция одиннадцатая

¹ Сен-симонисты имеют здесь в виду статью VI «Декларации прав человека и гражданина», гласящую: «Все граждане... в равной степени допускаются ко

всем общественным должностям в соответствии с их способностями и без других различий, кроме различия добродетелей и талантов».

² Объявляя себя противниками изучения древних классических языков, сен-симонисты в данном случае строго следуют своему учителю.

Лекция

двенадцатая

¹ Этот институт английского происхождения был введен во Франции после падения старого режима. Сен-Симон не был так строг к суду присяжных, как его ученики.

² «Изложение учения Сен-Симона» воспроизводит далее дословно идею, ранее развитую Сен-Симоном. См. сочинение Сен-Симона «L'Industrie», ч. II, гл. V, § 11 и всю гл. VII.

³ Согласно закону 1791 г. любой гражданин имел право быть присяжным. Списки составлялись главным прокурором (procureur-syndic) департамента. По списку тянули жребий.

Лекция

тринадцатая

¹ По поводу этой лекции Анфантен писал 19 июня 1829 г. Аглае Сен-Гилер: «В прошлую среду мы не юсчитались с общественным мнением, откровенно и решительно приступили к рассмотрению вопроса о религии. Аудитория, казалось, была поражена, ошеломлена...».

² Имеется в виду философия религии, принципы которой были изложены Б. Констаном в его работе «De la Religion considered dans ses developpements». Первые три тома этого труда появились в свет в 1824, 1825 и 1827 гг.

³ Такую высокую оценку Лейбниц получает у де Местра в его письме к графу de Bray от 16–28 января 1815 г., а также в его произведении «Examen de la philosophic de Bacon» (т. II, гл. VIII).

Однако письмо графу de Bray в 1829 г. не было еще опубликовано, а «Examen etc.» появилось лишь в 1836 г. Согласно утверждению С. Bougie и E. Halevy в комментариях к «Изложению», им нигде не удалось обнаружить в работах де Местра, опубликованных до 1826 г., оценки Лейбница в подобных выражениях.

⁴ Имеются в виду последние работы в области геологии, в частности работы Гютона (Hutton), главы плутонической школы, Вернера, возглавлявшего непутическую школу, и других.

⁶ Надо полагать, что авторы «Изложения» в данном случае имеют в виду экономиста Дюшателя, труд которого в чисто мальтузианском духе появился в 1829 г. под названием «De la charite dans ses rapports avec l'etat moral et le bien-etre des classes inferieures de la societe».

⁶ Первое употребление слова «буржуа» в произведениях сен-симонистов.

⁷ Такую мысль выражает де Местр в своих «Soirees de Saint-Petersbourg», 1821, t. II, p. 308, 317, 324. Е. Родриг в одном из своих «Писем о религии и политике» писал: «Я снова призываю вас прочитать и поразмыслить над произведениями де Местра, особенно рекомендую вашему вниманию «Soirees de Saint-Petersbourg» и прилагаемое к нему «Разъяснение относительно жертв». Сочинение представляет собой капитальный труд».

Лекция

четырнадцатая

¹ См. «Memoire sur la science de l'Homme, deuxieme livraison. Septieme pensee. Socrate a ses eleves». (Сен-Симон и Анфантен. Сочинения, т. XL, стр. 252 и сл.).

² Подчеркнув последние три слова, сен-симонисты хотят этим сказать, что они заняты разработкой догмата, который подробно изложен во II части «Изложения».

³ По-французски devotion, devouement, devoir.

⁴ Имеется в виду О. Конт, автор «Позитивной философии», ученик Сен-Симона, разошедший ее школой, между прочим, и в вопросе о религии. Polemike e ним посвящена следующая, пятнадцатая лекция.

⁵ Анфантен писал Балланшу в апреле 1829 г.: «В ближайшее время вновь появляется «Le Producteur», и одна из наших первых забот будет состоять в том, чтобы показать, какое впечатление произвела палингенезия на учеников Сен-Симона... Я беру на себя смелость утверждать, что ученики Сен-Симона — почти единственные из лиц, занимающихся серьезными идеями, которые поймут творческую роль идеи палингенезии и сочувственно к ней относятся».

⁶ Возражения исходили, очевидно, от сторонников Конта (см. ниже, лекцию пятнадцатую).

Лекция пятнадцатая

¹ Первые две тетради «Катехизиса промышленников» принадлежали перу Сен-Симона, третья — «Система позитивной политики» — была написана О. Контом.

² Сен-симонисты совершенно точно формулируют здесь основное расхождение между сен-симонизмом и контизмом; сухая рассудочность контизма составляет резкий контраст с религиозным энтузиазмом сен-симонизма и со свойственной ему апологией чувства.

³ Почти дословное заимствование из произведения О. Конта «Система позитивной политики».

Лекция шестнадцатая

¹ Речь идет не о брате по крови, а о единомышленнике, именно о докторе Прюнелле, находящемся в тесной связи с лионскими сен-симонийцами.

² Сен-симонисты, в числе первых приверженцев которых был ряд учеников Политехнической школы,

в том числе сам Анфантен, пытались завербовать сторонников из числа учеников школы. В «L'Organisateur» опубликованы речи, с которыми сен-симонисты выступали в Политехнической школе (о религии, о боге, о человеке, о наследовании). Эти речи были переизданы в томе «О сен-симонистской религии», посвященном «ученикам Политехнической школы» (изд. 1830 г.).

³ Сен-симонисты часто употребляют слово «Бгп-tiers», да и у Сен-Симона встречается это слово. См., например, его «Memoire sur la science de l'Homme», изд. 1813 г.

⁴ Имеются в виду французские философы XVIII в. — Гельвеций и Гольбах.

⁵ Счастлив тот, кто сумел познать причины вещей.
⁶ После смерти — ничего.

⁷ Тебя, свободу, превозносим — параллель к Те Deum laudamus, Тебя, бога, превозносим.

⁸ Жак-Антуан Дюлор (1755—1835), инженер, член Конвента и Совета пятисот, друг Дюпюи, автор «Происхождения культов», — произведения, которое в данном случае имеет в виду Анфантен. В 1825 г. Дюлор опубликовал «Краткую историю культов».

⁹ Блаженный Августин, Epietola, CXVIII, edition de Benedictins, 1836, t. II, p. 498.

¹⁰ Тальма (1769—1828) — знаменитый трагик периода французской буржуазной революции конца XVIII в., в годы Реставрации бывший очень популярным среди членов оппозиционных партий. Известны его предсмертные слова: «Вольтер... как Вольтер», означавшие отказ от исповеди. Похороны Тальма превратились в народную манифестацию.

¹¹ «Мир хижинам, война дворцам» — девиз лионской Временной комиссии, одобренный Конвентом.

¹² Сен-симонисты имеют в виду в данном случае прежде всего Б. Констан, который в опубликованной им в 1817 г. брошюре «О предстоящих выборах» сам назвал партию, от имени которой выступал, партией независимых. В другой брошюре, опубликованной им в связи с выборами 1818 г., Б. Констан заявляет: «Людей, которые хотят сделать неприкосновенной лич-

ную свободу, я назову конституционалистами, или независимыми».

¹³ Нигде отрицание борьбы и насилия как средства создания нового общества не высказывается сенсимонистами более отчетливо, чем в данной лекции. Интересна и форма изложения этой мысли. Для выражения настроения религиозного энтузиазма, которым сенсимонисты стремятся заразить, они оставляют обычный лекционный стиль. Лекция шестнадцатая — как бы лирическое отступление, формально нарушающее структуру курса, повторяющее в иной форме сказанное ранее. Это повторение становится понятным в связи с началом следующей лекции с жалобами на неуспех религиозной стороны учения.

Лекция

шестнадцатая

¹ Этот термин появляется здесь впервые в произведениях сенсимонистов.

² Эта теория впервые появилась у Сен-Симона в его «Introduction aux travaux scientifiques du XIX siècle», появившемся в 1808 г. Более углубленно она изложена Сен-Симоном в позднейшей его работе «Traavail sur la gravitation universelle», вышедшей в свет в 1813 г.

³ Латинский *pietas* (отсюда франц. *piete* — благочестие) первоначально означало привязанность, любовь (к родителям, детям, родным, отечеству и т. п.).

⁴ В появившемся позднее полном собрании сочинений Сен-Симона и Анфантена, куда вошло также «Изложение учения Сен-Симона», Анфантен заявляет в одном из примечаний: «Было бы неправильно принять за абсолютное осуждение то, что на деле является лишь относительной оценкой молитвы и преобладающей роли, которую она играет в христианском культе и тем более в католическом культе. Дальнейшее развитие нашего учения, раскрывая теоретический смысл, практическую ценность и религиозное назначение

этого высшего выражения жизни человеческой, покажет, что молитва не только не осуждена на исчезновение, но, напротив, будет все более возрастать, хотя и сдерживаемая в границах, которые укажет ей новый догмат» (Сочинения Сен-Симона и Анфантена, том XLII, стр. 141).

⁵ Подробное изложение сенсимонистской религиозной доктрины дается во второй части «Изложения».

ЛИТЕРАТУРА О СЕН-СИМОНИЗМЕ

1. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., т. 3. М. 1955.
2. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV. М — Л., 1931.
3. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М., 1940.
4. Аннекштейн А. (Арк. А-н). Анри де Сен-Симон, его жизнь и учение. М. — Л., 1926.
5. Виппер. Р. Социальная философия сенсимонизма. «Мир божий», 1901, № 12.
6. Волгин В. П. Сен-Симон и сенсимонизм. М., 1925.
7. Иванов И. Сен-Симон и сенсимонизм. М., 1901. (Уч. зап. Моск. ун-та. отд. Ист.-филол. фак-та, вып. 30).
8. Плеханов Г. В. Сен-Симон и сенсимонизм. «Французский утопический социализм». Соч., т. XVIII. М. — Л., 1925.
9. Чичерин Б. Н. Сен-Симон и его школа. «Вопросы философии и психологии», 1901, XI—XII.
10. Allemagne. H.-R. d'. Les samt-simoniens. 1827—1837. Pref. de S. Charlety. Paris, 1930.
11. Allemagne H.-R. d'. Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIX siecle. Pref. de M. Malapert. Paris, 1935.
12. Booth. A. J. Saint-Simon and saint-simonism; a chapter in the history of socialism in France. London, 1871, IX.

13. Bouglé C. Chez les prophetes socialistes, Paris, 1918 (6).
14. Broue P. Un saint-simonien dans la regne politique. Laurent de l'Ardeche. Lyon. «Carriers d'histoire». 1957, t. II, № 1.
15. Castille H. Le pere Enfantin. Paris, 1859 (Portrait's historiques).
16. Carnot H. Doctrine saint-simonienne. Resume general de l'exposition faite en 1829 et 1830. 3-me ed. (Paris). 1831 [2] (Extrait de la Revue Eftcyfepedime).
17. Charlety S. Enfantin. Paris, 1930" (Rlformate. urs sociaux Collection de textes).
18. Charlety S. Histoire " du saint-simonisme (1825-1864). Paris, 1931.
19. Cuvillier A. Hommes et ideologies de 1840. Paris, 1956.
20. Durkheim E. Le socialisme. Sa definition, ses debuts. La doctrine saint-simonienne. Ed. par M. Mauss. Paris, 1928, XI (Travaux de l'Annee sociologique).
21. Fournel H. Bibliographie saint-simonienne. De 1802 au 31 decembre 1832. Paris, 1833.
22. Grabowski I. E. Saint-Simon. Utopia filosofja industrialism. Warszawa. 1936.
23. Janet P. Saint-Simon et le saint-simonisme. Cours professe a l'Ecole des sciences politique*. Paris, 1878, VI.
24. Manuel F. E. The new world of Saint-Simon. Cambridge, Mass., 1956.
25. Muckle F. Henri de Saint-Simon. Die Persnlichkeit und ihr Werk. Jena, 1908, VI.
26. «Revue d'histoire economique et sociale», 1925, № 2. Numero special consacre a Saint-Simon.
27. Reybaud L. Etudes sur les reformateurs contemporains ou socialistes modernes. Paris, 1840, XI.
28. Ruppert J. Das sociale System Bazard's. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte des Socialismus Wflzburg, 1890.
29. Salomon G. Saint-Simon und der Socialismus, Berlin, 1919.
30. Shine, Hill. Carlyle and the samt-simonismus London, 1941.
31. Simon W. M. History for Utopia: Saint-Simon and the idea of progress. «Journal of the history of ideas». Lancaster, 1956, vol. 17, № 3.
32. Spiihler W. Der Saint-Simonismus. Lehre und Leben von Saint-Amand Bazard. Zurich, 1926, XII (Züricher volkswirtschaftliche Forschungen, Hft. 7).
33. Stein L. von Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. 2-er Bd. Munchen, 1921.
34. Warschauer O. Zur Entwicklungsgeschichte des Socialismus. Berlin, 1909, XVI.
35. Weill G. L'ecole saint-simonienne, son histoire, son influence jusqu'a nos jours. Paris, 1896, 6 (Bibliothèque d'histoire contemporaine).